

2

ИЮНЬ 1978

22 - 2

МОСКВА — ПЕРУСАЛИМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

(МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ)

Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

№ 2 ("Бет")

июнь 1978

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА—ПОЭЗИЯ:

- ИСААК ГИНДИС. Хроника местечка Чернополь
(повесть) 3
ВЛАДИМИР ГЛОЗМАН. Стихи. 97
МАРИНА БЕРГЕЛЬСОН. Стихи 100

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА:

- ААРОН АМИР. Меч и скрипка (повесть) 103

ЗА И ПРОТИВ:

- ГИЛЛЕЛЬ ГАЛКИН. Письма американскому
другу-еврею 126
Где наша Земля Обетованная?
МАЙЯ КАГАНСКАЯ. Возвращение к себе. 138
НИНА ВОРОНЕЛЬ. У каждого свой дом 148
АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ. В мире нет "центра" 157

ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ:

- АВРААМ Б. ИОШУА. Размышления об израильской
левой в дождливый день 166

РОССИЯ И ЕВРЕЙСТВО:

- ВИКТОР БОГУСЛАВСКИЙ. Отцы и дети русской алии . . . 175
АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Будущее русской алии. 182

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ:

- ВАЛЕНТИН ТУРЧИН. Религиозный характер русского
диссидентства 194
ВЛАДИМИР ЛАЗАРИС. Ироническая песенка 198

СУДЬБЫ ИДЕЙ:

- МИХАИЛ АГУРСКИЙ. Самоубийство Луиса
Мерсьера Веги 209

ВЧЕРАШНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ:

- Яков Цигельман. Здравствуй, Довид Кнут!. 219

ИСКУССТВО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ:

ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН. Ярмарка искусств 238

СРЕДИ КНИГ:

(рецензии на книги М. Шамира, А. Мегеда,
Э. Севеллы) 247

ПИСЬМА:

ДАВИД ДАР. О книге Э. Севеллы и рецензии
Б. Камянова 253

*На последней странице обложки:
Давид Шарир. Летний сад*

ПРОЗА—ПОЭЗИЯ

ИСААК ГИНДИС

ХРОНИКА МЕСТЕЧКА ЧЕРНОПОЛЬ

Моей жене Нине

ПРОЛОГ

ФРОЙКА

ФУРМАНЫ

1. Местечко
2. Пришельцы
3. Ноях
4. Погром
5. Гайдамаки
6. Набат
7. Миша-командир
8. Янкеле
9. Симхе

ГУЛЬБИЩЕ

1. Крещение
2. Кино

ГЕТТО

1. "Экспроприация"
2. Бабка Горпына
3. Голем

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

1. В "секрете"
2. Сын атамана
3. Селекция

ЭПИЛОГ

ПРОЛОГ

Весной семьдесят шестого года я решил съездить на родину, на день, может, на два, не больше, сказал я дома.

В Хмельницком я пересел на автобус, идущий в Чернополь. Было раннее утро. Машины смывали с асфальта вчерашнюю пыль. На резных балкончиках старушки поливали цветы. В раскрытых дверях парикмахерской стояли девушки в белых халатах в ожидании первых клиентов. На пышных темнозеленых каштанах в прозрачном утреннем воздухе четко выделялись большие розовые свечки.

В раннем автобусе народу было мало. Сидели две женщины с широкими крестьянскими лицами, сложив на коленях кошельки, от которых душисто пахло свежесыпеченным хлебом. На заднем сиденье, обнявши связку обоев, дремал парень. Маленькая девочка, кучерявая и белая, с большими круглыми глазами ходила по автобусу, качаясь на нетвердых, пухлых ножках, сообщала всем, что ее зовут Олеся, и предлагала облизанную конфету. "Цукерочка!" — говорила Олеся, играя глазками и улыбаясь перемазанным шоколадом ртом.

Автобус шел без остановок. Длинные утренние тени от придорожных тополей однообразно ложились на распаханную землю. Мимо плыли длинные села с высокими журавлями, белыми мазанками под соломенными крышами, с окнами и углами, обведенными коричневой глиной. Лениво ползли возы, груженные сеном с сидящими на самом верш селянами в соломенных брылях. Женщины с весильными^{1/} караваями в белых рушниках гуськом тянулись по тропинке. Знакомые с детства картины.

За Ивановцами стали все чаще попадаться небольшие перелески и рощицы, наконец, зазеленел густой лес, со всех сторон обступавший Чернополь. За лесом мелькнуло пастбище со стадом коров, поле изумрудной озими, МТС, из ворот которой выходил трак-

^{1/} свадебными (укр.)

тор. Показалось знакомое старое гусарское кладбище с высокими мраморными офицерскими обелисками. Потом предместье с белыми и голубыми, в белых садах, мазанками и церковью на пригорке. Здесь автобус затормозил, стал медленно спускаться к Бугу, и вдруг из-за холма передо мной сразу открылся весь Чернополь.

Как и тридцать лет назад, на мосту мальчишки удили рыбу, на леваде паслись стреноженные лошади; у запруды белой пеной бурлила вода, вертевшая турбину электростанции; из длинной трубы пекарни, как и тогда, струился легкий дымок, и весь огромный холм был по-прежнему густо усеян домами местечка. Но старый замок князей Пшимойских был наполовину разрушен, рядом с ним виднелись руины костела, разбитого снарядом, а древней крепостной синагоги, возвышавшейся над еврейскими кварталами, не было совсем.

Возле автобусной остановки, подымая пыль, несколько пацанов играли в чехарду. Я перекинул рюкзак через плечо и по узкой пыльной дороге стал подыматься в гору. Пацаны увязались за мной: приезжие, видно, были им в новинку; к тому же моя борода и мягкий чешский берет чуть было не ввели их в заблуждение.

— Це хто, кубинець?

— А може, поляк?

— Да ни, то жьд!

И они стали передразнивать мой предполагаемый акцент. Я обернулся. Пацаны смотрели весело и нагло. Я цыкнул на них, и они с ухмылочками отстали.

Срезая углы, хорошо знакомой тропинкой, я быстро поднялся на главную улицу, некогда Еврейскую, а теперь заселенную украинцами, миновал чайную, возле которой стояло несколько мотоциклов и по случаю продажи пива толкались люди, и по пыльному кривому переулку стал спускаться к реке.

Здесь начиналось еврейское кладбище. Его ограда во многих местах была разобрана, в проломах виднелся серый сухостой. Я прошел внутрь через один из проломов. Везде валялись кучи мусора, пахло пылью и сухим человеческим калом. Древние маццебы почти ушли в землю, обросли мхом, многие были выкорчеваны, перевернуты и расколоты. Навес над могилой рабби Самуила был снесен, и кто-то поставил на его место простой деревянный столб, на котором черной краской было написано несколько слов на иврите. Я поискал глазами когда-то бывшую рядом табличку знаменитого остряка Менделе Острогорского, но от нее

не осталось и следа. У моих ног на тропинке валялась перевернутая маццеба. Я наклонился и палочкой прочистил забитые землей буквы: Натан-бен-Ицхак иешива бахур (ученик ешивы) лежал под этим камнем, который кто-то хотел докатить до своего леха, но, видно, передумав, бросил по пути.

Еще ниже, возле самой реки, когда-то находилось гетто. Теперь на его месте остались редкие дома. Запруда, возле которой проходила ограда гетто, поросла лозняком. На топком берегу валялись ржавые консервные банки, рваные чоботы, втоптаный в землю детский башмачок.

Отсюда я вышел на Подгорную улицу. Возле школы, где я учился до войны, стоял грузовик с откинутым капотом, под которым, погрузившись вполовину, копался шофер. Сразу же за грузовиком я увидел знакомый дом, окруженный низкой изгородью. В огороде старик в соломенной шляпе сажал картошку, — это был Вайнер. Я вошел во двор. Старая рыжая дворняга вылезла из конуры и, разминая спину, лениво тявкнула.

— Шалом! — сказал я.

Вайнер медленно разогнулся. Он сильно постарел, стал ниже ростом, пожелтел и сморщился. Прежде, чем подать мне руку, он вытер ее платком.

— Алейхем шалом! — он улыбнулся. Он получил мое письмо. Он очень рад. Не пройдет ли гость в дом, а нет, так гость может и здесь посидеть: остался совсем маленький кусочек работы. Он закашлялся от одышки.

— Вы устали, давайте я попробую.

— Попробуйте.

Он отдал мне лопату, но подумав, тут же ее отобрал.

— Я знаю, как вы умеете копать, — проворчал он, — вкривь, вкось. Вы мне весь огород испортите. Вы видите мои ряды? Как по линейке. Идите лучше в дом, полежите, отдохните, я все сделаю сам.

Я пошел в дом. В маленькой комнате стояла низкая кушетка. Сквозь пыльное окно тускло светило солнце. Я лег на кушетку и сразу заснул как убитый.

..Проснулся я так же мгновенно. Вайнер сидел за столом и молился. Лицо его было неподвижно, глаза закрыты. Он молился беззвучно. Потом медленно разматывал ремешки на левой руке, снял ремешки с головы, снял таллит, аккуратно свернул вдвое, вчетверо и еще раз сложил. Некоторое время он не шевелился,

как будто устал. Затем поцеловал цицит, убрал таллит и тфилн в мешочек, захлопнул молитвенник и, придвинув к себе тарелку, стал неторопливо хлебать.

Я сел на кушетке.

— А, проснувшись, — сказал Вайнер, — так садитесь кушать.

Он встал и, прихрамывая, вышел на кухню, откуда вернулся с новой тарелкой.

Я спросил, как пройти на Попов Яр. Там что-нибудь осталось?

— Увидите. Я вас провожу. Но сначала покушайте. Вы любите холодный борщ?

ФРОЙКА

Три холма — вот и все, что осталось от большого и шумного еврейского местечка Чернополь. Поросшие травой, редкой, неухоженной, пожелтевшей. Ветер сдувал с них желтую пыль.

— Надо бы хоть памятник поставить.

— А что памятник...

Он трет глаза, покрасневшие от пыли и старости; сморщенное лицо его похоже на ветхий молитвенник.

— Прочтите кадиш.

Желтые табачные пальцы мусолят затасканный молитвенник с морщинистыми строками, на безымянном пальце золотое кольцо.

— ИСГАДАЛ ВЕЙСКАДАШ ШМЕЙ РАБО БЕОЛМО ДИВРО ХИРУСЕЙ...^{1/}

Пожелтевшая книга мелко дрожала в его неверных руках. Дрожали нервные руки матери, пришивающие желтую звезду.

— ВЕЯМ ЛИХ МАЛХУСЕЙ ВЕЯЦМАХ ПУРКОНЕЙ...^{2/}

Нервные руки матери старательно пришивали желтую звезду, желтыми нитками, желтое на желтом — зачем? спрашивал я. Эся вырезала, звезды падали, мать пришивала — зачем? спрашивал я. А затем, чтобы выделиться, — отрезала мама. Раньше она говорила наоборот: не выделяться. Она была самой красивой в Чернополе, но никогда не "выделялась". Она была самой красивой, а теперь выменяла янтарные серьги на яблоки. Я вонзил зубы в теплую мякоть. Старик Ямпольский не отрывал от меня жадных

^{1/} Да возвеличится и освятится великое имя Его в мире, созданном по воле Его... (иврит)

^{2/} Да утвердит Он царствие Свое... (иврит)

глаз, стало неловко, и я дал ему яблоко, хотя давать не хотелось. Он впился в него распухшими руками, надкусил и так застыл с яблоком в зубах.

— ... ВЕИМРУ ОМЕЙН^{1/}

С яблоком в зубах... Ну что ж, мы все умрем, говорил Мойше Вайнер. Но сам он не хотел умирать. Каждый день он ходил к бургомистру Яблонскому на доклад, а потом приносил в гетто слухи и новости. Вчера в Бердичеве побили евреев... А завтра нас? Не может быть!.. И завтра наступало "завтра", и опять им кричали : ""жыдивська банда арбайт!" А "арбайт" — значит жить.

Но когда наступали ночи, они не спали, не раздевались и спрашивали друг друга: — Что слышно? — Что может быть слышно? В Гайсине побили. — Не может быть...

Я-то спал, я был ребенок, "идиш кинд", как говорила мама. Сама она никогда не спала; каждый раз, просыпаясь, я видел усталую улыбку: "Ты ребенок, тебе нужно спать". Она улыбалась, глаза мои тяжелели, и я снова проваливался в сонную теплоту.

И в эту, последнюю, ночь я спал, как апостолы в Масличном саду, и мне снилась гора хлебов, больших и теплых, которыми наелась тысяча человек, и другие чудеса. Я спал, хотя это был Судный день, но ведь я не знал, что ночь последняя. Я спал крепко и вдруг проснулся от шума: кто-то стучал в дверь, и плачущий голос Вайнера кричал: "Евреи, молитесь и выходите на расстрел!" Он стучал и кричал, он не хотел умирать; он стучал в каждый дом, всех будил, он не хотел умирать; и вдруг лицо его стало багровым, а потом синим, как баклажан, он грохнулся на землю, подергался немного и затих.

И тут в гетто вошел бургомистр Яблонский и сказал, что "арбайт" больше не будет. Толпа ахнула и зашелестела, как на последней молитве, а кто-то злобно ругнулся:

— Я говорил, что надо бежать!

— А куда?

Я убежал бы — туда, где над короткой зарей взлетало последнее осеннее солнце, но когда меня и маленькую Риву Вулис (она крепко вцепилась в мою руку), и Фимку-Черногуба, и Левку-Боксера, в общем всех нас стали сажать на грузовики, мама ничего не сказала, а только улыбнулась потухшими глазами, и я подумал, что никакого расстрела не будет. А у грузовика, крытого брезен-

^{1/} скажем: аминь (иврит)

том, спокойно курил шофер Швачка, наш бывший сосед, и опять я подумал, что расстрела не будет.

– ЛЕЭЙЛО МИН КОЛ БИРХОСО ВЕШИРОСО...^{1/}

Грузовик долго не заводился, а потом зарычал и тронулся. Закричало сразу много женских голосов.

– ВЕИМРУ ОМЕЙН.^{2/}

Лязг, лязг, лязг! Это были не выстрелы, а стук железа о железо. Человек держал в руке две лопаты и бил-бил в них, как при пожаре. Со лба смотрел на меня огромный шрам.

– Кто это?

– Фройка Вулис, – сказал старик.

– Вулис? Так он же убит!

– Это другой Вулис, однофамилец.

– Брат, а брат, – сказал Вулис и взял меня сильной рукой за плечо.

– А, не обращайтесь на него внимания, – выдавил из себя вместе с кашлем старик, – он мешугге.

– Сумасшедший?

– Ну да. Кто же еще будет искать живых среди мертвых?

Он стряхивает пыль с морщинистых строк молитвенника, закрывает его и уходит. И я ухожу вслед за ним, а Фройка остается среди трех холмов, и ветер сдувает с них желтую пыль нам вдогонку. Старик ковыляет по пыльной дороге и упорно молчит, как будто захлопнул свой рот вместе с молитвенником.

– А знаете, – вдруг снова закашлял старик, – этому Фройке Вулису на фронте прострелили голову (видели рубец?). И когда он вернулся через десять лет, то был совсем малоумный, словом, а нар ви а кинд^{3/}. И стал говорить, будто слышит голоса из ямы. Понимаете, го-ло-са! И вот он каждый божий день все ходит сюда и копает. Он всем мешает, везде стучится и зовет копать. Он уже раз лежал в психбольнице... Цурес,^{4/} – добавил старик, и его рот скривился от горечи и паралича.

– А зачем ему две лопаты?

– Одну для себя, другую "для брата", так он говорит. Его и зовут все Фройка-Брат, или просто Брат.

^{1/}Он выше всех гимнов, возвеличений (иврит).

^{2/}Скажем: аминь (иврит).

^{3/}Глупый как ребенок (идиш):

^{4/}беда (идиш).

— А где же он живет?

— Ну, конечно, не под забором. У меня, я опекун.

Он капризно замолкает и, сильно припадая на левую ногу, медленно бредет по улицам бывшего гетто. Посеревшие от пыли мазанки и редкие дома. У дома Вайнера стоит знакомый грузовик, крытый брезентом, и несколько раскидистых яблонь. Возле сарая ухоженные грядки, на которых лежит лопата и куча навоза. Вайнер сразу берет лопату и начинает копать огород. Я захожу в дом. В маленькой комнате у окна стоит стол, а над ним — часы-ходики, зеркало и пожелтевшие семейные фотографии. Сквозь пыльные окна я вижу, как Вайнер, согнувшись над землей, берет картофелины из ведерка и аккуратно кладет их в лунки. Он работает до самого вечера. Потом спускается в лех и приносит оттуда целую корзину яблоч.

— Кушайте, пожалуйста, — он ставит корзину на стол. — Кушайте, сколько хотите.

Я беру янтарное яблоко, вытираю пыль о колено и вонзаю зубы в твердую мякоть. Старик Вайнер режет яблоки старым садовым ножом на маленькие ломтики, кладет их на редкие желтые зубы и пытается разжевать. Приходит Фройка-Брат, от него пахнет потом и землей, и тоже загребает руками-лопатами янтарное яблоко. Надкусил и вдруг застыл с яблоком в зубах.

— Ты слышишь, брат? — поворачивается он ко мне.

Я ничего не слышал, кроме рычания грузовика, который никак не заводился.

— Ты слышишь? Они кричат, Фаня кричит и Рива кричит.

— Тебе мерещится, Фройка, — привычно и лениво разъясняет Вайнер. — Уколы тебе нужны.

Он кладет новый ломтик на редкие зубы и, прикрыв глаза, пытается разжевать.

— Вайнер, их выкопать надо! — Фройка тянет старика за рукав. — У них земля во рту.

— Это го-ло-са, понятно? — Вайнер начинает раздражаться.

— Нет у меня голосов, — фыркает Фройка, отступая на кухню. — Это Фаня и Рива. Не нужны мне ваши уколы.

— Устал я от этих голосов, — морщится Вайнер, глотая последний кусок.

Он шарит рукой за пыльным зеркалом.

— Вы помните его дочку Риву?

— Риву? Конечно! Этого “барашка”, кучерявую, черную и глу-

пую, с толстыми губами; она скакала вприпрыжку и бляла барашком, раз уж все равно ее так прозвали; у нее были большие круглые глаза цвета весеннего листа; в грузовике она продолжала крепко-крепко цепляться за мою руку. Теперь эта пожелтевшая Рива дрожала в руках старика, и снова предо мной всплыли руки матери, пришивающие желтую звезду...

— ...из Гайсина.

— Что?

— Я говорю: эту карточку делал Пиня-фотограф из Гайсина.

Он замолчал и нахохлился, и скоро захромал к себе в комнату, откуда еще долго слышалось частое чирканье спичек.

В пыльном зеркале все ниже оседал пыльный рыжий закат. Быстро темнело, и Фройка-Брат устало повалился на кровать животом вниз, свесив на пол длинные руки. В темноте лицо его белело, и на глазах отбеливался, линял и расплывался шрам на лбу, и снова передо мной был прежний Фройка Вулис, известный всему Чернополю заводила и весельчак, главарь похитителей яблок, осенних и летних, красных и желтых, которые он потом раздавал девчонкам, Фройка Вулис с черными кольцами волос, как у молодого Саула. Его голос звучит кротко, просительно:

— Брат, а брат...

— Что, Фройка?

— Брат, пойдём.

— Куда пойдём?

— Туда — три холма, три лопаты, три зуба...

— Три зуба? Так ведь это старик. И он тоже?

Желтый глаз хитровато подмигивает.

— Конечно, и у него лопата. Ну, идем, откопаем.

— Иду.

Я открываю глаза и хочу встать. В темноте надо мной чье-то лицо.

— Брат, а брат...

— А, это вы, Эфраим.

Желтые голубиные глаза закрываются, и Фройка тянется шрамом к лунному окну.

— Ты слышишь? Они кричат, Рива кричит, Фаня кричит. — Он вдруг с силой сует мне в руки тяжелую палку. — Возьми лопату. Это лопата. Вставай, брат.

Сильной рукой он крепко вцепляется в мое одеяло и пытается

стянуть. Я упираюсь. На шум приходит старик, включает свет и щурится.

— Что, он и к вам пристал? Не дает спать? Ну, вот еще новости. Иди к себе, Фройка.

И Фройка-Брат уходит, уходит, ворчит, но уходит в угол, садится там на корточки и прислушивается.

— И так каждую ночь, — зеваает старик. — Он хочет, чтобы все не спали вместе с ним и копали. — Вайнер смотрит на палку и на меня. — А знаете, он мог бы вас ударить.

— Да неужели? Такой добрый?

— Ну, это мы с вами добрые. А этот мешугге вчера замахнулся на нашего соседа, шофера. Морда, говорит, полицейская... Цурес... придется опять везти его в психбольницу.

ФУРМАНЫ

1. МЕСТЕЧКО

Чернополь — местечко на Буге. Здесь я родился, здесь я жил до девяти лет.

В четырнадцатом веке на высоком глинистом холме над Бугом литовцы, захватившие этот край, поставили маленькую рубленую крепость Прибуж (при Екатерине I), по тогдашней эллинофильской моде, переименованную в Чернополь). Крепостца, стоявшая на Черном шляху, не могла выдержать сильной осады со стороны татар, и когда Чернополь, отошедший вместе со всей Подолией к Польше, стал владением энергичного князя Пшимойского, новый хозяин построил на месте уже полусгнивших к тому времени деревянных стен неприступную каменную фортецию.

Замок князей Пшимойских известен своей причудливой архитектурой. Одно время им владели турки, которые оставили после себя многоугольные затейливые башенки, мавританские зубцы на парапете, полукруглые арки и стройные колонетки во внутреннем дворе. Когда же князю Стефану Пшимойскому, выступившему на стороне мятежного Чарторыйского, пришлось бежать из России, и замок перешел в военное ведомство, разместившее там гусар-

ский полк, усилиями какого-то генерала была пристроена нарядная башенка в псевдорусском стиле. Впрочем, фотографии чернопольского замка есть в любом старом путеводителе по Подолии.

К замку со всех сторон примыкали еврейские кварталы; на окраинах (по склонам холма и в низине, вдоль берега реки) тянулись украинские, или, как говорили раньше, мещанские улицы. Под замком мещанские улицы обрывались; там начиналась большая прибрежная лавада, где всегда паслись стреноженные лошади, а на другой стороне реки — предместье с белыми и голубыми мазанками, крытыми соломой и гонтом, с вишнячками, церковью, мельницей и длинными конюшнями конного завода. (С тех пор, как в бывших манежах и конюшнях гусарского полка открыли завод, выведивший новую породу кавалерийских лошадей, Чернополь не знал безработицы. Лавочники, разоренные революцией, пошли в счетоводы, кожушники — в шорники, петлюровские и буденовские конники — в жокеи. Весь Чернополь кормился “от коня”).

На холме с крутым облезлым боком было старое еврейское кладбище. На кладбище — тагара, домик, где когда-то погребальное братство обмывало трупы, а теперь с утра до вечера сидел Аврум Тылым-зогер, псаломщик, он же сторож, человек с трясущейся от старости головой; он вел вечную тяжбу со своим соседом Шмыгой, который по ночам тайком копал глину на горшки, отчего один угол кладбища уже начал заваливаться. Аврум писал на Шмыгу жалобы в райисполком, а дети горшечника в отместку швыряли за ограду дохлых кошек и ворон. Если не считать этой падали, все остальное на кладбище было вполне благопристойно, точно в былые времена: как и прежде, на воротах висела кружка для пожертвований (впрочем, почти всегда пустая), дорожки прилежно выметены, и до самой осени могилы утопали в густой сочной траве (косить траву на еврейском кладбище не положено). В самом центре кладбища среди кустарника издалека был виден высокий навес над могилой великого каббалиста рабби Самуила Лурье, имя которого известно каждому верующему еврею^{1/}; рядом лежали его ученики, их с почтением окружали

^{1/} Когда в 1703 году гайдамацкие загоны Палея, поощряемые Мазепой, двинулись к Чернополью и испуганные евреи укрылись за стенами крепостной синагоги, рабби Самуил, высокий и суровый старец, своим посохом заключил синагогу в круг, обойдя ее со словами: “Кодеш, кодеш, кодеш, адонай цебаот!” (Свят, Свят, Свят Господь

“отцы города” — раввины и ламданы, а дальше множество обывателей, приложившихся к роду своему. Серые узкие каменные плиты, мащобы, стояли ровными рядами, спина к спине, мужчины справа, женщины — слева, и на каждой мащобе написано: иш — муж, хашув — почтенный, или ишша — жена, хашува — почтенная, — все как положено.

От кладбища подымалась вверх узкая и пыльная дорога, тесно зажата между кладбищем и косогором; у дома Фурманов она делала резкий поворот, — он назывался “Свинячий загиб”, — на улицу Шалом-Алейхема, тоже пыльную и немощеную. Вымощена у нас только одна, главная улица (ранее Еврейская, а теперь Карла Маркса), соединявшая замок с местечковой площадью. На площади множество магазинов и магазинчиков, райисполком, аптека, винный погребок, милиция и гостиница. В стороне от площади, в переулке, стояла высокая, плотно сбитая старая синагога, с толстыми мощными стенами, бойницами и контрфорсами, больше похожая на крепостную башню, чем на храм, служившая когда-то убежищем в случае татарских, а затем казацких набегов. Здесь хозяйничал синагогальный староста Модхе Фурман, по прозвищу “рыжий габбай”, про которого мой отец говорил, что он посажен в синагоге “заместо овчарки”.

Когда однажды летом, за год до войны, я захотел зайти в синагогу, Фурман просто выставил меня за дверь.

— Еврей должен иметь шапку! — гавкнул Фурман и выпер меня толстым животом.

Я никогда раньше не был в синагоге и не проявлял к ней никакого интереса, но тут из чистого упрямства я побежал домой, надел шапку и вернулся обратно. Фурман стоял на паперти с двумя стариками и кричал, размахивая руками от возбуждения:

— Этот Ривкин — шарлатан! Одесский шарлатан!
— Кинешно, — шамкали старики.
— Лекарства! Зачем мне его лекарства?! У меня дома больше лекарств, чем в аптеке. Он лечит?! Я сам умею так лечить! У

Саваоф!), — и гайдамаки, так и не начав штурма, вдруг сняли осаду и бежали, охваченные непонятым смятением (это событие, так называемый “Чернопольский Пурим”, ежегодно отмечалось в нашей синагоге). Местные предания говорят, что во время похорон рабби Самуила украинские улицы, по которым несли гроб, горели огнем. В это верят и сами украинцы и, показывая в сторону еврейского кладбища, говорят: “Отам лижыть жывивський бог” (Прим. автора).

него диплом! А гройсе хохме! Зуг "а", зуг "бэ"^{1/}. На тебе рецепт, на ему рецепт. А шмайхл^{2/}. "Разболтай, выпей, не будет ничего". А маке? Зугт эр: нишкуше. Меридн? — "сыз ойхет нишкуше"^{3/}.

— Вос арт эс им?^{4/} — вздыхали старики. — У него же не болит.
— Меридн сыз нишкуше, — шумел Фурман, — бай йенем ин тохес!^{5/}

Увидев меня, он зашипел:

— Смотрите, он опять пришел, этот шейгец!^{6/}

— У меня шапка, — сказал я.

— Ну, вижу, шапка. Так что?

— Я хочу посмотреть.

— Смотреть? Тогда иди в кино.

— Мне надо Вайнера, — соврал я.

— Его нет.

— А он придет?

— Придет в шесть часов.

— Это обязательно?

Он выпучил глаза:

— "Обязательно"? Сейчас ничего нет "обязательно". Если бы за это давали зарплату, тогда было бы обязательно. Захочет — придет, не захочет — не придет. Эрт нор а майсе?^{7/} — повернулся он к старикам. — "Обязательно"... — шипел он, но все-таки пропустил.

В сенях стоял умывальник, и какой-то высокий парень, с виду деревенский, не выпуская из-под мышек таллита, мыл руки перед молитвой. Сбоку была ярко освещенная маленькая молельня, где висели часы-ходики (было без четверти шесть), календарь, молитва за правительство СССР и объявление: "ПРОСЯТ НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ. РАЗГОВАРИВАЮЩИЕ БУДУТ ИМЕТЬ НЕПРИЯТНОСТИ!" У шкафа сидел шамес Зяма, когда-то силач-вышибала, а теперь подслеповатая и тощая развалина, и выдавал приходящим талес-саки (мешочки с таллит-тфилн) и молитвенники. Маленькие, горбатенькие старички в поношенных

1/ Подумаешь, большая наука! Скажи "а", скажи "бэ" (идиш).

2/ Улыбочка (идиш).

3/ Чирей? Он говорит: "это ничего". Геморрой! "Это тоже ничего" (идиш).

4/ А что ему? (идиш).

5/ Геморрой — это ничего, когда он у другого в заднице (идиш).

6/ нееврейский мальчик (идиш).

7/ Вы слышали сказки? (идиш)

пиджачках брали мешочки и часто шлепая ногами и постукивая палочками по каменному полу уходили в большую молельню. Там было полутемно, оттого, что на весь зал горела только одна свеча и поднятые почти под самый потолок узкие окна с пыльными стеклами почти не пропускали света. Служба еще не началась, но справа от аналоя в кресле с узкой и высокой деревянной спинкой уже дремал одряхлевший раввин Корецкий. На скамейках сидели двадцать-тридцать старых евреев; они были так же взбудоражены как и старики на паперти, и ругали все того же доктора Ривкина, который не может вылечить у человека обыкновенный геморрой.

Но вот вошел Бума Тойбер, глухой старый сапожник, работающий в артели инвалидов, а по вечерам прилуживающий в синагоге, и с длинной палкой, на конце которой горела свеча, пошел по залу, зажигая лампадки, и постепенно стали видны редкие женские лица на галереях, золотые звезды на высоком голубом куполе, арфы и скрипки на ивах возле вавилонских рек и бесчисленные орнаменты, а как только Бума зажег медный семисвечник над алтарем, вспыхнула алая завеса кивота с двумя рыжими львами, охраняющими свитки Торы.

Тотчас раввин Корецкий проснулся и, зевая, раскрыл молитвенник. Откуда-то сбоку на амвон выкатился Фурман, важный и надутый, в черной шелковой ермолке, поднялся по ступеням к кивоту, открыл темные резные дверцы, пыхтя, вынул тяжелую Тору и, пыхтя и тяжело ступая по ступенькам, понес ее на аналой. Там ее раздели, сняли корону, вишневою бархатную рубашечку с желтой шестиугольной звездой, развязали шнурок и раскатали. Вышел хаззан. Снял кепку, под которой оказалась ермолка, сунул кепку под аналой, подвязал пиджак черным пояском с кистями и по-старушечьи спрятался под таллит, накинув его на голову, как шаль, и придерживая рукой у шеи. Встал спиной ко всем. Попробовал свой голос, надавив пальцем на кадык, и вдруг, неожиданно высоким и гортанным голосом и сильно раскачиваясь, начал петь.

Старики на передних скамейках открыли молитвенники и зашелестели вслед за хаззаном, но на задних рядах волнение все еще не улеглось: старики в небрежно намотанных на голову и плечи таллитах, похожие на баб в полосатых серых платках, не могли усидеть на месте, ходили взад и вперед, перебрасываясь на ходу:

- Ривкин — дрек!
- Шарлатан...
- Меридн — идише кранк.
- Идише цурес.
- Ме даф эсн меерн — цимес ба меридн...
- Ди фурст ин Винниц?
- Йо.
- Морген?
- Нейн, иберморген...
- Зи от гекойфт хрен?
- Аводе^{1/}.

Но как только хаззан возглашал: “унамор омейн” (скажем аминь!) все они, как один, поворачивались лицом к алтарю и хором повторяли: “омейн!”

Наконец служба кончилась. Тору опять закатали, связали красным шнурком, натянули вишневую рубашечку, надели корону, и все тот же Фурман с вытаращенными глазами и выпирающим животом, пыхтя и отдуваясь, обняв короткими руками тяжелую Тору, пошел с ней вокруг анаоя, и люди с первого ряда прикладывались пальцами к Торе, а после, вытянув губы хоботком, целовали кончики пальцев, а Фурман снова поставил Тору в кивот и задернул завесу...

Через месяц я опять забрел в синагогу. В зале сидело десять-двенадцать, не больше стариков. Зяма-шамес и член “двадцатки” Борух Перцель в маленькой молельне считали деньги, а рядом сидел Фурман, сильно похудевший, с пожелтевшим лицом и раздраженно ворчал, что синагога не может больше оплачивать такие высокие налоги, что никого не осталось, и скоро нельзя будет даже собрать миньян.

- Аза йорн... шварце йорн...^{2/} — поддакивал Перцель.

В самом деле, скоро случилось прежде совершенно невозможное: на субботнюю молитву в синагогу собралось только восемь человек. Не было миньяна. Шамес выбежал на улицу и нашел како-го-то праздношатающего старичка. Не хватало десятого. Шамес жалобно зазывал прохожих, но все отмахивались. Наконец возле гостиницы он набрел на молодого еврея с толстым портфелем,

^{1/} Ривкин — говно! — Геморрой — еврейская болезнь. — Еврейская беда — Надо есть морковницу при геморрое — Ты едешь в Винницу? — Да. — Завтра? — Нет, послезавтра... Она купила хрен? — Конечно... (идиш).

^{2/} Такие годы... черные годы (идиш).

командированного не то из Винницы, не то из Каменец-Подольска, и начал упрасивать его зайти на несколько минут в синагогу, потому что хотя он и понимает, что у такого большого начальника нет времени, но ведь он еврей, а когда это было, чтобы один еврей не помог другому еврею, и разве он не знает, что нельзя читать молитву в синагоге, если собралось меньше десяти человек. Командированному еще ни разу не приходилось бывать в синагоге, и он согласился. В начале его развлекали рисунки на стенах и особенно забавные телодвижения кантора, но скоро ему это надоело, он стал поглядывать на часы, ерзать на стуле и вдруг встал и пошел, сказав, что опаздывает на автобус.

Этот случай решил судьбу синагоги. Собрание еврейских трудящихся конного завода "Червоный кавалерист" единогласно постановило: "закреть последний очаг темноты и невежества и передать пустующее здание под рабочий клуб". Ликвидационная комиссия (все пятеро — "еврейские трудящиеся") явилась в сопровождении милиционера на случай беспорядков. Но никаких беспорядков не произошло. Старики терпеливо ждали, пока комиссия подпишет акт и повесит на дверях синагоги замок. Тора, рукомойник и богослужебные книги еще вчера были перенесены к Фурману, где на той половине, на которой когда-то находился шинок, им разрешили открыть молитвенный дом. Сам Фурман уже целую неделю не мог подняться с постели. Его рвало желчью (все местечко говорило, что у него печень гниет и выходит кусками), от боли он так громко кричал, что женщины и дети в доме сжимались и плакали от страха. Под Йом-Кипур Фурман умер.

Он лежал на полу, завернутый в таллит. По бокам в простых поллитровых банках горело шесть свечей по числу детей и внуков. На полу же сидела седая женщина, с босыми ногами, жена Фурмана. Все кровати в доме были перевернуты, зеркала завешены. Над телом Аврум Тылымзогер читал Псалтырь.

На похороны съехались все Фурманы, все с глазами навыкате, плотные, маленькие, с брюшками, рыжие и черные. Два внука Фурмана стояли возле бочки перед водосточной трубой и никого к бочке не подпускали. Весь двор и узкая улочка перед ним была запружена народом, сбежались даже продавцы и парикмахеры в белых халатах. Стояла кучка украинцев из предместья, они по очереди подходили к окнам и отходили, презрительно поджимая губы.

- А ни музыки, ни квитков, ни його не кажутъ...
 - Ну, вже така ихня нацяя...
 - Татаре, так вони сиднем сажують.
 - У кожної нації своє...
 - Вин гадав, що в його геморрой, а насправди-то був рак.
 - Ось тобі и геморрой! Раз, и чоловіка немає.
 - Хочодним менше...
 - Бач, бач, той, пузатый, — його брат, прыхав з Бердичеву.
- А цей — його швагер...
- Багато их...
 - Так, багатенько.

Українці явно подразжали Фурманов, и, сердито вращая глазами, Фурманы просили их отойти от окон. Брат Мордхе, который приехал из Бердичева, стоял на перекрестке и все кого-то высматривал.

— Рабина ждуть, — говорили украинцы.

Наконец появился раввин Корецкий. Внуки подняли бочку и выплеснули воду как можно дальше от дома. Свечи в доме потушили, тело подняли на носилки и понесли. За носилками двинулось много народу, но только мужчины, а впереди внуки Фурмана наводили порядок и кричали: "Закрывайте окна! Женщины, уходите! Нельзя смотреть!" Они кричали то, что было положено, но никто окон не закрывал, и женщины стояли возле домов и глядели.

На кладбище расстелили чистую наволочку, бросили в нее несколько засохших комочков палестинской земли, которую Фурман хранил для погребения, тело опустили и закопали. Потом шамес отрезал у каждого Фурмана пуговицу на пиджаке, и сын Мордхе, как положено, прочитал кадиш.

2. ПРИШЕЛЬЦЫ

Недалеко от замка стоит уже сильно потемневший от времени дом с высоким готическим аттиком — "каменица", какие ставили богатые люди в семнадцатом веке. Это дом арендатора Хотинского, — единственное, что сохранилось от первых еврейских

переселенцев в Чернополе. Судьба этих переселенцев такова.

В 1596 году князь Пшимойский сдал Чернополь в аренду "славному пану Абраму, жиду Хотинскому, со всеми селами, слободами, ставами, гаями, пашнями, сенокосами, огородами, мельницами, пасеками, с людьми тяглыми и нетяглыми, данями, оброками, со всеми пенями малыми и великими, что на них", как об этом говорится в сохранившемся контракте.

Пока Пшимойский в Кракове танцевал на балах и заседал в сейме, Хотинский в одежде шляхтича — в жупане и с саблей на боку — вместе с урядником объезжал княжеские владения и выколачивал из его людей налоги и подати. Он рубил для князя лес на поташ, деготь и клепку, сгонял для него на польские ярмарки сотни волов с тучных подольских пастбищ, гнал водку из ржаного зерна и продавал ее в панские корчмы. Были у него и собственные дела: он держал лавки в Каменец-Подольске, где приезжим купцам продавали подольский воск; его агенты пробирались побочными дорогами в Москву и Калугу и сбывали запрещенный для продажи в России табак. При случае он ссужал деньгами.

Скоро вокруг высокого, поставленного у самого замка каменного дома Хотинского выросли дома выписанных им из родного Люблина евреев, их лавки, ятки, рундуки. В течение многих лет теснимые в Люблине польскими мешанами-конкурентами, загнанные ими в грязные, вонючие, тесные улицы гетто, отгороженные от прочего города высокой стеной, избиваемые школярами, напуганные наветами ксендзов, они в Чернополе вздохнули наконец с облегчением под покровительством могущественного магната Пшимойского и всесильного парнеса Хотинского. Здесь от них не требовали, чтобы они носили отличительные знаки, им разрешили носить оружие и дали равные с местным населением права.

Среди них были портные и шапошники, обшивавшие замок, предместье и соседние села. Были ювелиры и столяры. Но главным их занятием стала кожа. Они скупали у мясников кожу-сырец еще "на живом товаре" и давали ее в долг украинцам — сапожникам и кожушникам, а готовые кожухи, сапоги и постолы сбывали на базаре селянам — и тоже обычно в долг. Этот сложный, неразматывающийся клубок отношений приводил к постоянной взаимной подозрительности, судебным тяжбам и прямым столкновениям. Судебные книги того времени сохранили многочислен-

ные суплики (жалобы) и украинцев, и евреев: украинцы жалуются, что евреи вытесняют их на окраины местечка, что арендатор Хотинский, "не имея ниякой жалости к христианским слезам", разоряет селян, измышляет все новые оброки и мыта; в свою очередь, евреи без конца жалуются на украинцев, что те врываются в их лавки и силой вымогают обратно свои заклады и товары, что они нападают на еврейские винокурни, поджигают корчмы.

Когда же полстолетия спустя до Чернополья дошли слухи о приближении казацких загонов Хмельницкого, украинцы из предместья и окрестных сел немедленно восстали. "Показачившись" (разделившись на сотни и поставив над собой есаулов), они смяли заставы и вдруг показали в местечке.

Многие евреи, — среди них был и состарившийся Хотинский, — успели спрятаться в синагоге. Прочие кинулись к замку, но подъемные ворота уже были закрыты. Евреи метались перед воротами, хватались за спущенные сверху веревки и пытались вскарабкаться на стены, но это никому не удалось: подоспевшие украинцы перестреляли всех.

Воставшие разделились на две части. Одни в ожидании Хмельницкого обложили замок, где заперся польский гарнизон и княжеская челядь, забрасывали рвы хворостом и насыпали валы. Другие штурмовали синагогу. Десяток мушкетов, которые были у евреев, стрелявших из бойниц, ничем не могли им помочь. Прикатив огромное бревно, украинцы стали раскачивать его и бить в толстые железные двери синагоги. "Ось, жыды, — кричали они в перерывах между ударами, — прыйшла ваша година!" Внутри запели псалом, и мерное буханье бревна, и выстрелы, и набатный звон, и дикующие крики нападавших смешались с молитвами евреев, отпевавших самих себя.

Наконец дверь поддалась. Украинцы ворвались в синагогу и начали резать. Хотинского выволокли на улицу, в один миг сорвали с него богатый жупан с серебряным поясом, все его шляхетские одежды, и тут же, на глазах у толпы содрали с него кожу. Злоба их была так велика, что они продолжали терзать тело даже мертвого врага: привязали труп к конскому хвосту, проволокли по местечку, затем, отрубив голову и насадив ее на палку, выставили на майдане.

Погибли все евреи. На месте сожженных еврейских жилищ остались торчать одни печные трубы. Лишь две семьи, случайно

оказавшиеся в день восстания в соседних местечках, успели бежать вместе с польскими войсками и добраться до Люблина, где у них оставались родные.

Разгром общины был настолько полный и ужасный, что, казалось, евреям больше в Чернополе никогда не бывать. Но уже через несколько лет, когда между Речью Посполитой и Хмельницким был заключен мир, обе семьи, нашедшие приют в Люблине, после долгих колебаний все же вернулись обратно. За ними потянулись и другие люблинские евреи, которые в поисках пропитания для своих многочисленных детей вынуждены были усадить их на колымаги и двинуться на Восток, в Подолию.

3. НОЯХ

По переписи 1897 года в Чернополе жителей 8.164, среди коих 6.040 евреев.

Из путеводителя

Фурманы появились в Чернополе с этой второй волной еврейских переселенцев из Польши. Здесь люблинский лавочник Аврум-Шмиэль Фурман нашел “доброе порица” князя Пшимойского и арендовал у него корчму на выезде из местечка.

От Аврум-Шмиэля пошли все подольские Фурманы — мелкие арендаторы, шинкари, лавочники, коммивояжеры, — которые широко рассыпались по губернии, впрочем, никогда не теряя связи внутри “мишпохе”^{1/}. В своем стремлении пробиться они вели дела с большой жизненной цепкостью, и время от времени то одному, то другому из них удавалось подняться выше своего сословия. В конце прошлого века какой-то Фурман даже сумел, будучи приказчиком у знаменитого Бродского, приобрести под Винницей собственный сахарный завод. Вскоре он пожелал увидеть родные могилы. Он въехал в Чернополь на паре рысаков, важный, как майор, с расфуфыренной супругой, у которой зо-

^{1/} род (идиш).

лотые кольца висели везде, разве только не в носу, и поразил всех невиданным ранее в местечке граммофоном "Микадо" и фантастически огромным взносом на ремонт синагоги, где когда-то молился основатель рода. Этот случай был триумфом Фурманов и источником их постоянного наивного бахвальства. "Это же Фурман! Фурманская голова!" — говорили в мишпохе.

Отец "рыжего габбая" Ноях унаследовал фамильную корчму. Там в душном, заплеванном зале стояла бочка с горилкой и длинный стол, за которым загулявший сапожник из предместья пил до тех пор, пока в его кожухе еще оставались деньги. После этого он снимал с себя кожух; Ноях брал кожух и запирали его в коморе (не брезговал он и более мелкими закладами: сапожным ножом, медной кастрюлей). Когда все бывало пропито, сапожник начинал обычные пьяные речи:

— О так нашего брата жиды шахрають (обманывают!) То ж моя кровавица (имелся в виду пропитый кожух)... Нашу ж горилку и тею не бачым... Ну, налей хоч чарочку...

— Ничего, Серко, — лениво отзывался из-за стойки Фурман, — день не попьешь — не умрешь.

Тогда слезливость сменялась волной гайдамацкого гнева:

— Юды! Антыхрысты! — кричал казак. — Жироиды! Жыдова! Высосали з нас всю кров! З Хрыста глузовали (издевались), так зараз прыехали з нас глузоваты?!.. Треба сюды Мазепу, щоб вин вас всих переризав!

При слове "Мазепа" Ноях брал пьяного за шиворот и пинком вышибал за дверь.

По воскресеньям в местечко наезжали селяне. После торгов, отслушав обедню, они подавались "до жида Нояха". Во дворе корчмы собирался целый табор возов; крепко пахло дегтем и конской мочой. Селяне пили горилку, курили трубки, пели песни и дрались. Фурман, плотно сбитый, краснолицый, с крепким апоплектическим затылком (о таких говорят: "флейш мит блут" — мясо с кровью), крепко расставив короткие толстые ноги, вышался над всеми за высокой стойкой и ни на секунду не спускал с них глаз: он был убежден, что "Эйсав-гонев" (Исав-вор) всегда ждет случая, чтобы что-нибудь стянуть.

— Эйсав-гонев, Эйсав-шикер (Исав-вор, пьяница), — непрерывно бормотал он про себя, с отвращением глядя на их толстые, похожие на задницы лица.

— Гиб а кук аф им, — говорил он сыновьям, пользуясь тем,

что селяне не понимают по-еврейски. — А гой, а хазэр. Сыз ныт а менш, сыз а бежейме. Эр фрэст, эр фарцт, эр от ныт гот ин арц^{1/}.

Он усвоил это чувство брезгливого превосходства от своего деда и отца, хотя и они, и он сам мало чем отличались от мужиков: на нем была такая же грязная свитка, он бранился вместе с ними в "батьку и в мать", а когда начинались драки, соскакивал со своего высокого табурета и разнимал дерущихся, пуская в ход кулаки.

За фурмановским шинком еврейская сторона кончалась, и начинались дома украинских сапожников и кожушников. Ближайшим соседом Фурмана был сапожник Хома Яблонский (дед будущего бургомистра), ненавидевший Фурманов-шинкарей, а вместе с ним и всех евреев, застарелой традиционной ненавистью, что живет и до сих пор на Украине с тех времен, когда право курить вино и шинковать было отнято польскими панями у мещан и вольного казачества и передано пришельцам-евреям, которые, как жалуются старинные украинские народные песни

Все шляхи козацьки заорандовалы.

На одний мили

Да по три шинки становылы

и спаивали бедного хлопа в долг, чтобы после отнять у него за долги и хату, и скотину, и грунт, а еще брали в аренду церкви, так что если родится дитя, то

Иди до жыда-рандаря да полож шостак,

Чтобы позволыв церкву отчыныты,

Ту дытыну охрестыты.

Хома никогда не упускал случая "подрочить жида". Одной из его любимых забав было потихоньку запустить в субботу через щель в заборе свинью на огородные грядки Фурмана, а после с наслаждением наблюдать, как шинкарь и его сыновья, позабыв о святости субботнего покоя, выгоняют кочергой за ворота нечистую для них скотину. Или же покуражиться над каким-нибудь щуплым еврейчиком в пейсиках и длиннополом капоте, каких немало приезжало в Чернополь на могилу рабби Самуила. Подвыпив в шинке, Хома садился на завалинку своего дома перед самым еврейским кладбищем и, завидев такого богомольца, выходил на дорогу и преграждал ему путь.

— Землячок, а землячок, — с ласковой угрозой начинал он

^{1/} Посмотри на него. Гой, свинья. Он же не человек, он скот. Он жрет и тут же пердит. У него нет Бога в сердце (идиш).

разговор. — Ди быст а ид? Их либ о-оле идн^{1/}. Я очень люблю эвреев. Их кэн рэдн идиш^{2/}. И я хочу говорить с тобой ви а мон мит а мон^{3/}. Ты понял? — говорил он, подмигивая и братски обнимая трепещущего паломника. — Я за тобой давно наблюдаю. Зачем ты приехал сюда? А?.. Я знаю, отам, — он показывал в сторону навеса над могилой рабби, — лижыть эврейский бог. В его могиле багато золота. Ты хочешь выкопать золото и разделить на весь кагал. А хочешь — я тебе помогу? Хочешь? Мы этой ночью вместе будем копать. Мы сделаем большой парнусе, хандель-вандель. А? Ты приходи ко мне в гости. Сегодня шобес^{4/}. Зробым халу, штрудель, кугль, цимес мит компот. Придешь? — продолжал он, заглядывая богомольцу в лицо и пытаюсь поймать его взгляд. — Ты придешь ко мне? А?

Так он приставал к испуганному еврею до тех пор, пока в воротах кладбища не показывалась огромная фигура сторожа Аврума с палкой в руке.

Хотя при шинке Фурмана был рундук, где по низкой цене продавались платки и фуражки, и табак стоил здесь дешевле, чем в магазине, даже простые "базарные" евреи брезговали заходить в "христианский кабак", разве что раз в год за "пейсаховой водкой", а для евреев почтенных шинкарь-арендарь, как и деревенский еврей, был человеком второго сорта. Но Фурманы умели заставить уважать себя, даже будучи шинкарями, и когда в пятницу вечером, закрыв шинок и сменив грязную свитку на великолепную капоту до самых пят, и поскрипывая новыми лакированными ботинками, Фурман с достоинством занимал свое наследственное место в синагоге всего за десять рядов до восточной стены, даже самые почтенные евреи считали своим долгом отвечать на его поклоны. А почему бы им не кланяться ему? "Слава Богу, — говорил Фурман, — в нашей мишпохе^{5/} не было ни одного мешумеда^{6/}". И в самом деле, семья Фурманов была семья вполне благопристойная. Все женщины в доме Фурманов ходили в париках, а мальчики носили арбаканфоты. Сам Ноях был необычайно благочестив. Он никогда, даже в шинке, не снимал талескотн, а

1/ Ты еврей? Я люблю всех евреев (идиш).

2/ Я могу говорить по-еврейски (идиш).

3/ Как мужчина с мужчиной (идиш).

4/ Суббота (идиш).

5/ род (идиш).

6/ выкрест (идиш).

в субботу не прикасался к монете; если к нему в этот день приходили за делом, он лишь указывал место, куда можно положить деньги или откуда можно их взять; в крайнем случае, он позволял положить деньги себе в карман.

В девяностых годах, когда шинки стали повсеместно закрывать и вводить монопольную торговлю вином, Ноях, как и большинство других шинкарей, немедленно разорился. Младшего сына Нахмана ему удалось кое-как пристроить кассиром на мельнице. Средний, Симхе, стал подмастерьем у портного. Старший же сын, Мордхе, нашел в Гайсине девицу, правда, перезрелую, и некрасивую, но с хорошим приданым и скоро в арендованном доме на главной улице недалеко от замка появилась вывеска:

ФОТОГРАФИЯ М. ФУРМАНА

Снимки печатаются и ретушируются в Виннице в мастерской господина Тираспольского, удостоенного медалей Его импер. Величества и почетных признательностей. На лучшей меловой непромокаемой бумаге!
В зимнее время со вспышкой!

Мордхе выставил у дверей витрину с головками чернопольской красавицы Софочки Шаргородской, а в "павильоне" (так он почему-то называл свою мастерскую) — пейзаж с видом на чернопольский замок, над которым развевался огромный, во все небо андреевский флаг.

Это была первая фотография в местечке, и все сразу повалили к нему: сначала поглазеть, а после и сниматься. Приходили даже гусары из местного гарнизона, и Фурман с удовольствием командовал важными офицерами: "правее... нет, левее... голову выше, вправо... спокойно, не дышите... я буду делать негатив". Вообще он любил щегольнуть сногшибательными терминами "негатив", "позитив", "экспозиция", "гидрохинон", "диафрагма", и все слушали его, разинув рот. Мой отец, который терпеть не мог Мордхе, говорил, что Мордхе "готов быть хоть нарывом на носу, лишь бы его отовсюду было видно".

Как бы то ни было, но скоро он стал заметной фигурой в местечке. Сначала он стал появляться на аукционе по продаже си-нагогальных почестей и откупил сразу на несколько суббот подряд право чтения Торы. И каждую субботу, когда кантор зычным голосом всенародно объявлял: "Яхамойд га-рав Мордехай бен-

Ноях лей-Тойре!” (Да взойдет господин Мордехай сын Ноя к Торе!) — Мордхе с покрасневшей от самодовольства шеей, в самом деле, в о с х о д и л к Торе. Надо сказать, что вид его — к тридцати пяти годам у него уже стало появляться брюшко, туго перетянутое пояском с кистями, к тому же всегда на этот случай он надевал яркий галстук, подаренный господином Тираспольским, — что вид его, действительно, был импозантным.

Затем ему удалось приобрести у разорившегося ювелира место у самой восточной стены, и, перескочив сразу через несколько ступенек местечковой иерархии, он неожиданно оказался среди “отцов города”. Скоро к решительному голосу Мордхе стали прислушиваться на “раввинском дворе”, и ни одно важное дело общины — складка на погорельцев, ремонт талмуд-торы, устройство сирот — не могло уже обойтись без Мордхе, а во время осенних праздников, когда Чернополь густо наполнялся богомольцами, Мордхе вместе с Зямой-вышибалой твердой рукой наводил порядок в синагоге. Да он и в будни не спускал глаз с молящихся; стоило ему увидеть, что какой-нибудь мальчишка вошел в синагогу без шапки, Мордхе хватал его за ухо и тащил к родителям. Короче, он стал одним из тех ревнителей благочестия, которыми наполнен любой храм.

4. ПОГРОМ

Гей, братци, гоdyнoчка дорога,
Требажь нам начинаты.
Вид Нухема до Боруха
Всем головы стынаты.

Гайдамацкая песня.

Вскоре после манифеста пятого года фельдшер Владимир Хейфец, выкрест, встретив на базаре Мордхе Фурмана, под большим секретом, с просьбой не выдавать его, рассказал, что на ближайшую воскресную ярмарку, до которой осталось всего два дня, мещане готовят погром.

По его словам, уже целую неделю зачинщики собираются в предместье в доме колушника Рябины, пьют варенуху, читают какие-то прокламации и совещаются. Рябина, недавно вернувшийся из Киева, рассказывает мещанам, что в Киеве после манифеста жида совсем обнаглели: на улицах митингуют, целуются, носят своего депутата Ратнера верхом на табурете, нахально кричат, что он скоро будет президентом Украины и заставляют прохожих украинцев снимать перед ним шапки. Иван Грыздуб, потерявший руку под Мукденом, уверяет, что генерал Стессель — жид, что жида продали армию японцам, и показывает всем свою культу. У третьего же зачинщика Овсия Яблонского (отца будущего бургомистра) все евреи олицетворялись в лице Фурманов. Он ненавидел их красные жирные рожи, их выпученные жабы глаза, их наглость; все евреи Украины казались ему такими же жирными, лупоглазыми и наглými, и с чего бы он ни начинал разговор, все для него сводилось к одному: к жидам, а потом к Фурманам. Как же это так получается, рассуждал Яблонский, Бог дал каждому народу свой предел, а жида пришли на Украину, жируют и плодятся здесь, как кролики; обсели жида густо все местечки и села, вся кожа в их руках, "так треба фугануть все фурманское кодро — нехай уезжають куды хотять, хоч к своему батьке Дизраэлю, а то и зовсим знычтожить".

Тогда многие мещане заговорили: "а вдруг войска?" Но Рябина продолжал агитировать их и уверял, что "православным людям" войска нигде не препятствовали, а в Одессе даже помогали, потому что от русского царя вышла "Золотая грамота" бить жидов. В конце концов, мещане решили: "а, мабуть, ничего не буде".

— Я сказал это именно вам, Мордхе Нояхович, — закончил Хейфец, — потому что Яблонский похваляется, что вы и ваше семейство "топчете эту землю последние два дня".

Вскоре появились первые признаки приближающегося погрома. Сначала несколько мещан-сапожников зашли в винный погребок Гольденберга, взяли штоф водки и распили его, пошучивая: "Козак не на то пье, що е, а на то, що будэ". После набрали пирожных и конфект, ни за что не заплатили и ушли. Затем хлопчики стали бить на еврейском кладбище маццебы, а старики смотрели и приговаривали: "Пускай потешатся, не дило жыдам в украинской земле лежать". Наконец приехал сильно помятый и смертельно напуганный швагер Мордхе Фурмана из Бердичева

и рассказал, что в Бердичеве дикий погром, евреи берут с бою вагоны и бегут кто куда, на всех станциях ходят мужики в вывороченных кожах, так что и выйти страшно, и кажется, вся Украина поднялась на избиение евреев.

Тут вся еврейская сторона пришла в сильное смятение. Одни предлагали молебен на могиле рабби Самуила, другие — телеграмму губернатору. В колебаниях прошла вся пятница. Напрасно Мордхе Фурман убеждал всех вызвать войска. Наступила суббота, а еще ничего не было решено. Тогда Фурман начал действовать самостоятельно.

Сначала он кинулся к доктору Эпштейну, который часто бывал в доме генерала, но доктор был в отъезде. Тут неожиданная и ловкая мысль пришла Фурману в голову. По субботам еврей-владелец магазина "Диамант" всегда отправлял с денщиком генерала Фофанова свежий сыр и коньяк. Сам Фурман, как большинство местечковых евреев, плохо говорил по-русски, но он уговорил аптекаря Гурвица и вместе с ним, сунув денщику взятку, проник в замок к генералу, который неожиданно обещал евреям полное содействие и твердо заявил, что он беспорядков не потерпит.

Вечером в субботу раввин Корецкий объявил пост, и трубили в шофар. Ночью прошел дождь с холодным ветром. Утром много людей спряталось в старой крепостной синагоге; ставни во всех еврейских домах были закрыты.

Около полудня на Подгорной улице показалась долговязая фигура Яблонского. Видимо, он провел ночь в предместье у Рябины, где зачинщики держали последний совет. Вид у него был самый решительный. С ним были однорукий Грызодуб и сапожник Мачула, лет сорока, в новом бархатном картузике, изрядно пьяный, с красным лицом, который непонятно для чего нес в руках длинную двухаршинную палку с колокольчиками и красными ленточками на верхушке. Сквозь ставни евреи видели, как Яблонский, обогнув Свинячий загиб, поднялся к дому Фурмана и вошел во двор. Но окна и двери были заколочены досками. Яблонский сбил доски и вошел в дом. Дом был пуст. Яблонский зашел к соседу Фурманов выкресту Владимиру Хейфецу и узнал от него, что Фурманы еще вчера вечером уехали неизвестно куда. Яблонский сразу помрачнел.

Тем временем все семейство Фурмана, включая одряхлевшего Нѣяха и мальчиков Мишу и Файвуша, пряталось в спальне у Хей-

феца, а Мордхе, приперев дверь стулом, подглядывал в замочную скважину. Сначала он видел, как Хейфец, выставив в окнах иконы, усердно кланялся проходящим мимо него мещанам и угощал их папиросками, потом — как вошел Яблонский и стал говорить с Хейфецом. О чем шла речь, он не слышал, но было ясно, что Яблонский как будто нажимал на Хейфеца, а тот как будто увивался. Тут зашли еще двое, и стало слышно звяканье колокольчиков. У Фурмана технуло сердце. Хейфец криво улыбался, совал гостям в руки папироски, а сам все поглядывал на дверь спальни. Потом чье-то тело закрыло скважину, и дверь с силой встряхнули. Тогда Фурманы через окно осторожно вылезли в сад и спрятались в лехе.

Между тем Яблонский все продолжал напирать, чтобы выкrest Хейфец показал свою спальню, но Хейфец уверял, что там нет и не может быть никаких Фурманов, впрочем, если ему не верят, он готов, но (он все шарил по карманам) он никак не может найти ключей.

— Эх, нема тепер ни в ком правды, хiba в Богови та в мене трошки, — печально сказал пьяный и вместе с одноруким налег на дверь. Шпингалеты вмиг вылетели вон, и замок раскрылся. Осмотрели все, заглянули в шкаф, откинули перины; в спальне действительно не было никого. Хейфец стоял белый, как стена.

— Ну, край! — швырнул Яблонский. — Нема часу! — и вышел, хлопнув дверью с такой злобой, что на веранде посыпались стекла. По дороге он с досады расколотил чей-то магазин, но не взял ничего, а только плюнул на портрет жидовского лорда Дизраэли, а ветеран японской войны зачем-то захватил с собой безмен.

Когда они явились на базарную площадь, там было уже очень много народу. Селяне, отслушав обедню, без дела сидели на возах: торговля не шла; все лавки, магазины и питейные заведения — и монопольные, и еврейские — по непонятной причине были закрыты; селяне надевали капелюхи, бранили жидов и хотели уезжать. Бабы в белых и красных хустынках собирались кучками и гомонили, что из-за жидов они уедут ни с чем. Несколько агитаторов из мещан уговаривали селян не уезжать и рассказывали про “золотую царскую грамоту”. Девочка лет семи с тугими жиденькими косичками, босоногая, шныряла между возами и спрашивала, будет ли погром; она объясняла всем, что она из Русановцев и что ее послала бабушка: “иди, говорит, в городе

будут бить жидов, так пойдн туда и набери в лавке побольше платочков”.

Базарные ряды были пусты, и только в самом углу, ближе к синагоге, одиноко стоял Йосиф Зельнер, или просто Йоселе, огромный детина, иешувник, деревенский еврей, из тех, кто пишет слово “Ной” с семью ошибками. Он привез на ярмарку веники, молоко и одноглазую лошадь. Но “парнусе” не было. Кругом ходили мещане, ничего не покупали, толкали его плечом, хмыкали и шушукались. Евреев нигде не было видно. Йоселе ничего не понимал. Наконец подошел первый покупатель; это был сын Рябины Панько.

— Вус эрцех?^{1/} — спросил Панько.

— Киняка, — ответил Йоселе.

Панько отвернул лошади гнойное веко и поморщился.

— Это не товар... Вус нох?^{2/}

— Веники.

Сын Рябины взял веник и почистил им сапоги.

— Добра метла, — сказал он и кому-то подмигнул.

— Ну, что вы все чипляете? — заворчал Йоселе. — Хотите, так берите, а нет — так нет...

— А ось побачым да почуем, а може шо и купым, — сказал Панько и опять подмигнул.

Тем временем пацаны, которым подмигивал Панько, за спиной Йоселе опрокинули бидон с молоком и с грохотом покатали. Йоселе бросил веники и стал лупить пацанов.

— Хлопцы, наших бьют! — закричал Панько.

Мещане кинулись к рядам, селяне соскочили с возов, и все сразу смешалось... Люди хотели схватить Йоселе, но тот выхватил из воза оглоблю и кинулся на толпу. Тогда Панько, изловчившись, сзади накинул на него вожжи. Йоселе упал, на него навалились и стали избивать.

В это время мимо проходил молодой священник отец Никодим, недавно закончивший семинарию и начавший служить в предместной церкви. Он стал уговаривать толпу разойтись и не губить свои души. Все оставили Йоселе и начали слушать.

— Страшно впасть в руки Бога живого, — говорил Никодим. Люди колебались и чесали затылки.

— То так... мабуть и насправди розийтысь?.. — говорили в толпе.

1/ Что слышно? (идиш)

2/ Что еще? (идиш)

Несколько селян в самом деле пошли к возам, стали снимать с дышл мешки с овсом и отвязывать лошадей.

— Миленькие вы мои, — говорил Никодим, — голубчики мои, вот я смотрю на ваши простые добрые лица и всех вас люблю...

— И мы вас любим, пан-отец, — говорили люди и крестились. Мужик в мережаной рубаше и сползающих штанах с растегнутой ширинкой смотрел на Никодима со слезами пьяного умиления.

Никодим продолжал:

— Не обижайте евреев. Бог всех нас заключил в одно сердце, для него все одинаковы, все близки, все мы дети Божьи, и потому евреи — наши братья...

— Тю! Найшов братьов! — сказал пьяный с колокольчиками. — Як наш батька горив, то их батька грився.

— Воны давят нас як мух, а вы нам читаете Евангелию, — подержал другой.

— Доки нам бидоваты?

— Життя вид ных немає... Мы вси у них в долгах...

— Воны над нами гору взяли...

— Правда, правда, — заговорили со всех сторон. — Вы, батюшка, ще их не знаете, вы тут чоловік новий.

— Молода собачка, тай ще не быта, — брякнул пьяный с колокольчиками.

— Красномовный поп! — добавил кто-то

В толпе несмело хихикнули.

— Чекайте, — сказал однорукий ветеран с безменом, — да вин, здається, и сам из жыдов?

— Дурак! — перебил его Яблонский. — Найшов жыда. То ж наш Паламарчук з Проскурору, його батька був регент у церкве. То ж наш чоловік.

— Наш, наш чоловік, — заговорили в толпе.

— Треба батюшку уважить, — сказал Яблонский.

— Уважить, — с прежним умилением повторил пьяный мужик в мережаной рубашке.

— Ковер ему подстелить, — сказал Яблонский.

— А як же, у него вся риза в грязюке.

— А ну, Юрко, — повелительно сказал Яблонский, — сбегай в лавку, принеси ковер.

— Нехорошо воровать... Грех, — тихо сказал отец Никодим, поворачиваясь к Яблонскому.

— Жыдивське — можна! — отрезал Яблонский.

— А що? Хиба це грих? Хиба мы крадемо? — заговорили все разом. — Мы ж свое отбираемо...

— Жыды надурили з нас...

— Нажыдъся с нашой праці тай панують...

— Жыдивськое — можна! — согласились в толпе.

Юрко быстро сбежал до разбитого магазина, принес красный бухарский ковер и с почтением расстелил его перед Никодимом.

— Вшанувалы, вшанувалы (уважили, уважили)! — говорили кругом.

В эту минуту сзади что-то грохнуло: группа мещан взломала винный погребок Гольденберга и с улюлюканьем и гиканьем выкачала на площадь одну за другой три бочки с вином. Все сразу повернулись туда.

— Хлопцы! — крикнул Яблонский. — Гайда! Пей! Гуляй! — и быстро пошел к бочкам.

Все закричали "ура!" и бросились за ним. Отец Никодим пытался остановить бегущих, но его злобно оттолкнули:

— Геть його! — кричали они. — Не хочемо слухаты! Нехай соби в церкве агитируе!

Около Никодима осталось всего с десяток селян, да и те были в нерешительности.

— Ну що, жыдивський батька? — злорадно сказал однорукий и замахнулся безменом. — Убью! Разом з жыдами убью!

Никодим, побледнев, отшатнулся, шляпа с его головы слетела. Селяне отобрали безмен и оттащили ветерана. Все больше бледнея, Никодим сдернул с шеи наперстный крест и упал перед толпой на колени, но не на ковер, а прямо в грязь.

— Люди, — дрожащим голосом сказал он, — опомнитесь! Что вы делаете? Ведь вы же христиане... Может, евреи и виноваты перед вами, все равно, простите им. Сказано: не убий... Вот мой крест... — и он заплакал от бессилия, не находя больше слов.

— Ну, що вы, що вы, батюшка, — заговорили в толпе селяне, — успокойтесь, идите, идите домой. Здесь вам не место. Ваше дело парафия, — и кто-то из селян пошел проводить плачущего священника до предместья.

Между тем днища из бочек вышибли, и пошел знакомый винный дух. Пили все — мужчины, женщины и даже дети; вино черпали чем попало — кувшинами, мисками и просто пригоршнями. От бочек растекались темнокрасные струйки вина, и некоторые, встав на четвереньки, лакали его прямо с земли. Сын Рябины с ев-

рейской длиннополой капотой в руках залез на крышу.

— Гуляйте, хлопьята! — весело кричал он сверху, размахивая капотой в воздухе, как флагом.

В это время толпа сапожников и козушников разбивала кожаные лавки. Они хватали кожу, шкуры, рвали торговые книги и долговые расписки, ломали вывески.

Другая толпа взламывала большой магазин. Одни ломом выворачивали двери со двора, другие, проникнув в магазин через вывороченные железные жалюзи и разбитые окна, напирали изнутри.

— О-о-так! О-о-так! — дружно повторяли они, пока тяжелые, окованные железом двери не поддались напору и не распахнулись. Толпа хлынула в магазин. Мужики выбрасывали на улицу штуки ситца, и бабы нагружали их на подводы. Некоторые тут же надевали кафтаны и сапоги, а калоши совали по карманам. Девочка из Русановцев никак не могла пробиться в магазин, и сколько она ни пыталась прошмыгнуть между бегающими потными людьми, ее все время отталкивали, потому что она путалась под ногами и всем мешала; она смогла только подобрать с земли кусок душистого господского мыла и теперь плаксиво просила: “Дядю, тетю, вынеси платочков...” — но никто не обращал на нее внимания.

Через полчаса все еврейские лавки и магазины на площади были разбиты и разграблены. Кругом валялись сломанные и согнутые вывески, клочья бумаги, осколки стекла.

Народу все прибывало. Пришли козушники из предместья с дрючками и кольями; многие держали колья на плечах, как ружья. Подошло несколько мужиков с чугунки. Принесли хоругви, а с ними появился Рябина. Все перекрестились на хоругви. В местечковой церкви ударили в набат.

Вдруг Панько, сын Рябины, который стоял на крыше, закричал:

— Москали идут! Гуртуйтесь! — и спрыгнул вниз.

Все побросали дела, и, когда из-за угла показались солдаты в серых шинелях, люди, рассыпанные по площади, уже сбились в одну большую плотную массу. На какое-то мгновение все затихло. От солдат отделился молоденький поручик и вежливо попросил всех разойтись, а товары вернуть на место. Толпа молча подалась вперед. Лица у всех были хмурые. Пахло потом и вином.

— Гаспада, — повторил поручик, по-московски сильно нажимая на “а”. — не принуждайте меня применять насилие.

Толпа еще подалась вперед. Солдаты сомкнутым строем медленно двинулись ей навстречу, перегораживая всю площадь.

— Р-разайдись! — крикнул поручик. Он начал начальственным басом, но под конец его голос неожиданно сорвался на мальчишеский фальцет, а сам поручик даже подпрыгнул.

— Бач, якый горобчык!^{1/} — удивился пьяный с колокольчиками.

— Що, що? Не дочуваю, — приставив ладонь к уху, с ухмылочкой спросил Панько.

— Я кажу: горобчык, — ответил пьяный и пропел под колокольчик:

Пийшов жыд у танець,
А за ним — горобець.
Выкрутасом — выхвалясом,
Молодець горобець!

Толпа повеселела. Мужики с чугулки засвистали в сигнальные рожки.

— Вы что, очумели? — побагровел поручик. — Бунтовать?! По домам, сволочи!

— Ух, якый сердытый! — еще больше удивился пьяный и с веселой ухмылкой произвел сочный постыдный звук.

— Чта-а-а?! — расสวิрепел поручик. — Я вас всех усмирю! — и он вынул шашку. — Я вас... усмирю!

— Чаво усмирать? — лениво сказал Рябина. — Давай подсоблять. Слышь, православные!

Но солдаты стояли молча, с деревянными лицами.

— Я буду стрелять! — крикнул поручик. — Ружья к бою!

— Чуеш, Петро? "Стрелять"... — озадаченно сказал кто-то в толпе. — А казали: "ничого не буде"...

— Не бойсь, дурачок, це вин шуткуе...

— Га-а-товсь!

Солдаты щелкнули затворами.

— Я в последний раз предлагаю разойтись.

В ответ звякнули колокольчики.

— Я считаю: раз!..

— Пять пальцев тоби в глаз! — передразнил пьяный.

Толпа хохотнула.

— Два!..

Все затихли.

— Пли!

^{1/} воробей (укр.).

Солдаты, быстро вскинув ружья, выстрелили в воздух. Толпа весело вздохнула.

— Ишь ты, пужають!

— А я що казав?

Раздались хохот, гам и озорные ругательства.

— Ну и горобець!

— Иван-Побиван!

— Ну и дернул!

— Как в лужу перднул!

— Як жаба в кашу!

— Иди-ка ты на х..!

— Ось тобі й пшик!

— Господин горобець! — надрывался пьяный с колокольчиками. — А ты из сраци ще раз не можешь так пальнуть?

Хохотали все, но у солдат лица оставались деревянными. Яблонский выступил вперед.

— Солдатики! Соколики! — сказал Яблонский. — Ну, что вы такие скучные? Идемте с нами жыдов бить!

И подняв с земли камень, швырнул его в окно синагоги. Стекло развалилось с треском, и внутри кто-то испуганно охнул.

— Рушайте, хлопьята! — злобно крикнул Яблонский.

— Валяй на мясо! — кричали в толпе и кидали камни в окна синагоги.

Но тут открылись ворота замка, и эскадрон гусар врезался в толпу. Гусары топтали людей и били нагайками. Яблонский, Рябина и однорукий были схвачены и скручены. Мещане, лишившись ватажков, разбежались, побросав хоругви. Селяне кинулись было к подводам, но гусары, тыча нагайками в лошадиные морды, заставили их повернуть назад и снести назад награбленные товары.

— От, бисовы москали, — ворчали крестьяне, — а казали: нычого не буде.

По приказу генерала солдаты принесли скамью и розги, и тут же на площади всем троим коноводам закатали рубашки, спустили штаны и дали по двести ударов, после чего, к великому ликование ю евреев, отдали под суд.

До позднего вечера на еврейских улицах ставни и двери оставались закрытыми, и никто не выходил из домов. Но говорили, будто бы Мордхе Фурман и еще кто-то из осмелевших евреев присутствовали три экзекуции, злорадно говорили: "Ну что, Серко, сейчас тебя драть будут!" — и при этом смеялись.

Когда через семь лет, незадолго до мировой войны, генерал Фофанов умер, все евреи местечка вышли на его похороны. У старой синагоги навстречу гробу вынесли свитки Торы и хаззан прочел "Эль-молей-рахамим". Такой почет мог быть оказан только самому высокому раввину раз в сто лет.

5. ГАЙДАМАКИ

Ой, на батьку Мусиенку
Прыгодонька стала,
Цо у середу, та по обиди
Його чека забрала.

*Украинская народная песня,
записанная в Подолии.*

Незадолго до конца мировой войны портной Симхе Фурман получил письмо:

"Многоуважаемый господин Фурман! Спешу уведомить вас, что ваш сын Михаил при встрече с превосходящим неприятельским отрядом бросился в штыки, увлек за собой других, разбил врага и захватил германское знамя. В другой раз, взяв на голову пироксилиновую шашку, подплыл к мосту и взорвал мост. За проявленное мужество он представлен к Георгиевскому кресту 4-й степени. Гордитесь своим сыном.

Капитан Чижевский".

Скоро георгиевский кавалер вернулся домой. Отсидев положенное число дней за столом, покрытым праздничной цветастой скатертью, не один раз рассказав сначала красному от гордости отцу, а потом и всем Фурманам обычные фронтовые истории, Миша снял мундир и вернулся в портновскую мастерскую, где работал до войны. Может быть, так и пришлось бы Мише до конца жизни кроить штаны, если бы не Мусиенко.

Опанас Мусиенко был племянником Овсия Яблонского, сестра

которого вышла замуж за русановского селянина. При Петлюре Опанас командовал гайдамацким полком и был одним из самых безжалостных атаманов Директории. Он известен тем, что устроил знаменитую "коржинскую баню". Перед вступлением в город Коржин на Винничине Мусиенко выстроил свой полк перед знаменем и взял с гайдамаков торжественную клятву, что ради спасения Украины они вырежут всех евреев в городе Коржине, но жидовского добра брать не будут, так как грабеж не достоин казака.

Под марш полкового оркестра медленно двинулся полк по оцепеневшим от ужаса еврейским улицам Коржина. Впереди под желто-голубым прапором, покуривая люльку, насупившись, ехал Мусиенко. За ним в синих жупанах и широких шароварах, в смушковых шапках, с которых свисали ярко-малиновые шлыки с золотыми кистями, на рослых сытых конях (каждая сотня своей масти), по два в ряд, чинно трюхали гайдамаки. На главной площади все сошли с коней и рассыпались по городу. Евреев, попрятавшихся по чердакам и подвалам, вытаскивали и рубили с криками "Хай живе вильна Украина!" Многие женщины, схватив детей на руки, бросались перед гайдамаками на колени, умоляя о пощаде и предлагая выкуп деньгами и даже золотом. "Не треба нам ваших денег, — отвечали гайдамаки, — вырыжым таки всих до одного". Всего за несколько часов, без единого выстрела, как было условлено, они убили пятьсот человек.

Под вечер раздался условный звук трубы. "Ну, що, сынки, — сказал Мусиенко, — трохи пощипалы жыдив?" Вычистив в снегу окровавленные шашки, гайдамаки сели на коней и опять под музыку покинули город. "Вин найкращий сын Украйны, — заявил Петлюра, когда какие-то демократы в правительстве Директории потребовали суда над Мусиенко. — Дайте мени сто таких Мусиенко, и наша армия буде непереможна!"

С концом Директории осенью девятнадцатого года Мусиенко вернулся в родное село Русановцы и собрал там небольшой партизанский загон. Первым делом атамана был разгром еврейской земледельческой колонии "Новый Майдан" недалеко от Чернополя. Это случилось в Йом-Кипур, в день поста. В тот момент, когда первые верховые проскакали по улице, мужчины сидели босиком на полу и молились. Очень немногие успели сообразить, в чем дело, и спрятаться в кукурузе или убежать в лес. Колонистов согнали в синагогу. Раввина заставили раздеться догола и

высекли, совали ему в рот сало, ворочали саблей зубы, наконец отрезали бороду и убили. Хаззана и габбая перед смертью заставили сесть друг друга по задницам, а потом целовать сеченые места. Всех остальных ставили одного за другим на колени и рубили. Сразу вслед за гайдамаками явились селяне из окрестных сел и увезли за собой плуги, сеялки, бороны, добро из хат, увели скот; опоздавшие раздевали трупы.

Когда евреи из чернопольского погребального братства приехали хоронить убитых, над колонией кружились тучи ворон. На площади перед синагогой стоял стол, за которым сидела мертвая женщина; кто-то шуточки ради поставил перед ней миску каши и воткнул ей в рот цветок. В синагоге вповалку лежали трупы, все стены почти до потолка были забрызганы кровью. Алтарь был зажатен человеческим калом, и здесь же валялась разорванная Тора.

Советская власть в округе была еще непрочной, а стоявший в городе гарнизон слишком невелик, чтобы контролировать всю волость. Не было никакой надежды, что против Мусиенко могут прислать отряд красноармейцев, и наверняка Чернополь ожидала судьба Коржина и Нового Майдана, если бы Миша Фурман не организовал самооборону.

Миша взял с собой единственного в Чернополье комсомольца Сульмана и поехал с ним к председателю укома Румянцеву.

— Дайте мне, — сказал Миша, — сто винтовок и три тысячи патронов, и Мусиенко не сунет носа в Чернополь. У нас есть крепкие еврейские парни, многие из них успели побывать на фронте. Они не очень хотят, я мобилизую их принудительно. Кто не пойдет — высеку.

Ему дали оружие и печать с серпом и молотом при условии, что он будет изымать у крестьян хлеб по продразверстке и отправлять его на станцию Дежарню. Миша разделил оборонцев на две роты. Караульная рота заняла все выезды из местечка. Рота продотрядчиков конвоировала обозы с зерном. Помощником командира стал Сульман.

Скоро во всей округе вынуждены были считаться с властью "чернопольской чеки". Ее боялись. Чернопольские мещане не только не решились выступить на стороне Мусиенко, но временами среди них самих проползали слухи о готовящемся ответном погроме, и они начинали прятаться, закрывали ставни, запирали засовы.

В течение пяти месяцев Миша-командир был полным хозяином Чернополя и даже осмеливался на карательные вылазки в соседние хутора, поддерживавшие гайдамаков. Мусиенко, не решаясь напасть на Чернополь, устраивал засады по дороге на Дежарню и пытался отбить у охранников обозы с крестьянским зерном. Иногда это ему удавалось; захваченным евреям-продотрядчикам вырезали носы, языки, выкалывали глаза, распоров живот, насыпали вместо кишок пшеницу и прикалывали записку: "РАЗВЕРСТКА ВЫПОЛНЕНА!" В свою очередь, редко кто из взятых в плен гайдамаков доходил до чека. Обычно туда доставляли только рапорт о "попытке к бегству".

Весной Мише-командиру удалось выследить хутор, в котором ночевали гайдамаки, и сильно потрепать загон Мусиенко; самому атаману едва удалось уйти. Сразу же после боя охранники прикладами согнали хуторян за околицу, облили дома керосином и подожгли. Бабы голосили, глядя, как гибнет их добро, и слыша крики горящих животных, запертых в хлевах. Охранники ушли только тогда, когда весь хутор сгорел дотла.

После этого Мусиенко исчез. По слухам, он пытался пробиться к румынской границе, но столкнулся с отрядом красноармейцев и погиб.

Но однажды в Чернополь прибежал еврейский мальчик, совершенно обезумевший от страха. Когда его удалось привести в себя, он рассказал следующее. Вместе со своей тетей и ее трехлетней дочкой он шел из местечка Мосты в Чернополь. По дороге через русановский лес мальчик отстал по нужде. Когда он стал догонять, то вдруг увидел, что тетю схватили трое мужчин, в одном из которых он узнал Мусиенко. Спрятавшись в кустах, мальчик видел, как гайдамаки заткнули женщине и девочке рты кляпами, столкнули в бывшую здесь глубокую яму и закопали живьем.

В тот же день в селе Русановцы ударили в набат, созывая людей на сход. Посреди площади на пулеметной тачанке сидел Миша-командир. Как только все собрались, охранники, щелкая затворами, окружили толпу. Сульман вытащил из гущи людей испуганную жену Мусиенко и его отца, полусумасшедшего старика.

— Я знаю, м.....и, — сказал Миша, окидывая селян тяжелым беспокойным взглядом, — вы прячете бандита Мусиенко. Если через полчаса я его не увижу, я спалю все село. А этих, — он показал нагайкой на родных Мусиенко, — повешу на майдане.

Через полчаса он приказал поджечь колодезный журавль на

площади. Тогда из толпы вышел заять Мусиенко Охрим. Он повел охранников к своему дому. В тишине конюшни всхрапывала, фыркала и перебирала ногами потревоженная лошадь.

— Панасе, — осторожно позвал Охрим.

Наверху зашуршало сено и глухо спросили:

— Ну що, ушли жыды?

— Ушли, — ответил Охрим. — Выходь, Панасе.

Как только Мусиенко спустился, его скрутили и повели в русановский лес. Толпа на площади провожала их угрюмым молчанием.

В лесу мальчик показал место. Яму разрыли и трупы вынули.

— Прыгай! — вдруг коротко приказал Миша.

— Не дури. В чека надо, — тронул его за рукав Сульман.

— А я говорю: прыгай, сволочь! — оттолкнув Сульмана, заорал Миша, наливаясь кровью и выкатывая глаза.

Мусиенко осенил себя широким крестом и стал шептать молитву. Вдруг, позвериному нагнув голову, он кинулся на охранников, пытаясь прорвать их цепь. Его тут же сбили с ног, пинками свалили в яму и начали быстро забрасывать землей.

Через месяц еврейская секция укома мобилизовала охранников на фронт и в продотряды. Перед отъездом Миша-командир провел давно задуманный расчет "голова за голову". Он заперся с Сульманом в штабе самообороны и вынул тетрадь: в колонии Новый Майдан вырезано 150 евреев, убито гайдамаков 130. Корявым солдатским почерком Миша вписал в тетрадь 20 фамилий самых ненадежных и озлобленных русановцев, включая Охрима. Они были взяты ночью, усажены на подводы с привязанными к перекладинам руками, отвезены в уездную ЧК и там расстреляны.

Наутро Миша-командир зашел к своим соседям Яблонским. Рано одряхлевший Овсий, зябко укрывшись до подбородка ватным одеялом, кашлял на кровати. Его сын Артемон насаживал на колодки сапоги. С ненавистью глядя на длинное узкое лицо Артемона, Миша сказал, играя нагайкой:

— Что-то ты скучно живешь, Артем. Отец твой повеселее был. И посмей... Затаился? Прячешься?.. Но смотри: если моих тронет кто-нибудь, я вернусь — ты один за всех заплатишь. Веревку на тебя тратить жалко. Будешь с братом гнить в одной яме. Ты понял, сука?

6. НАБАТ

Виновные в созыве населения набатным звоном, тревожными гудками, рассылкой гонцов и т. п. способами с контрреволюционными целями предаются революционному трибуналу.

*Декрет Совета Народных
Комиссаров от 2 августа
1918 г.*

Во время гражданской войны Миша был комиссаром в дивизии Якира. После возвращения в Чернополь он некоторое время служил начальником милиции. Вместе с финагентом он опечатывал лавки, не выдержавшие тяжести налогов, сажал в ардом шпану, а по ночам, высмотрев дома, из труб которых курился дымок, как коршун налетал на эти дома и отбирал дрожжи, ведра с сахаром и самогонные аппараты.

Потом его перебросили на "безбожный фронт", и здесь он с такой же энергией и бесшабашной решительностью закрывал хедеры и синагоги, снимал колокола, изымал церковные ценности, был общественным обвинителем над меламедами — содержателями тайных хедеров.

В двадцать втором году чернопольский уком (местечко к тому времени стало уже уездным) получил "разнарядку" на закрытие одной из церквей. Выбор укома пал на небольшую одноглавую церковь на Мещанской улице недалеко от Буга. Однако прихожане в течение нескольких месяцев упорно отказывались подписать резолюцию о закрытии храма. Тогда Миша решил действовать штурмом. Он добился решения уисполкома и вместе с отрядом милиционеров и ликвидкомиссией направился к церкви. Но еще за несколько улиц они вдруг услышали набат, который становился все громче и громче, а когда они спустились к церкви, там уже собралась огромная толпа, закрывшая вход в церковную ограду. Ободряя друг друга, люди, "подбунтованные" священником и церковным старостой, заранее дознавшимися о решении исполкома, кричали:

— Геть! Не дадим невирам закрываты церкву Божу!

— Вируючи, що ж ви стоите? Хиба ви не бачите: жиды знуцаються (издеваются) з нашого Хрыста?

Слышались и антисоветские выкрики:

— Церкву закрывають, а хліба і кожи не дають!

— Забирають золото с образов на галифе жыдам-комиссарам!

— Москалей годуваты! (кормить)

Впрочем, никто из мужиков не решался открыто оказать сопротивление властям, предпочитая от милиции держаться на безопасном расстоянии. Миша-командир в кожане, в кожаной фуражке, в галифе, подшитом хромом, в сапогах с высокими кавалерийскими голенищами, плотно охватывавшими его короткие полные ноги, стоял, криво усмехаясь. Его усмешка раздражала толпу.

— Ах ты, жабъячи твои очи! — орали бабы, приступая к Мише. — Чтэ ты баньки (глаза) вылупыв? Що ты зубы шкирыш? Жыд! Тварюка! Щоб тоби пэс сраку вылизав! Щоб ты особачыся!..

Среди членов ликвидкомиссии были две женщины — Хана Рудерман и Катя Луценко. Бабы из толпы кричали:

— Вон те, стриженые, в красных платках, — комсомолки и жидовки! Бей их!

Они плевали женщинам в лицо, швыряли в них комьями земли, пытались вцепиться им в волосы и содрать красные косынки.

Милиционеры с наганами в руках заставили толпу расступиться и вошли во двор. Только позавчера прошли Зеленые Свята, и все окна, и дверь церкви, и икона над дверью были украшены свежими березовыми ветками, а паперть усыпана зеленой травой. На церковной двери, уцепившись за огромный замок, висела и раскачивалась местечковая юродивая Одарочка, карлица, как всегда грязная, в лохмотьях, с крестом на шее, и причитала:

— На замке вишу, на замке и умру! Постоим, православные, за веру христианскую!..

Милиционеры сняли дурочку и сбили замок, но войти в церковь сразу не удалось: двери были забиты и забаррикадированы изнутри. Притащили лом и взломали дверь. Внутри было пусто и сумрачно, сильно пахло березовыми ветками и мятой. Между тем набат не смолкал. Колокол продолжал бить с такой силой, что казалось, его язык раскачивают сразу несколько человек. Но когда милиционеры с наганами наготове поднялись на звонницу, там оказался только один старый церковный сторож, которого начальник милиции Василь Чорный вместе со священником и церковным старостой увел в ГПУ.

Пока ликвидкомиссия описывала церковное имущество, Миша-командир вместе с двумя милиционерами взобрался на крышу. Большой железный, окованный золотом крест подпилили и зарканили веревкой, концы которой сбросили вниз. Снизу потянули; веревки громко заскрипели по железному, покрытому синей краской куполу; крест, надламываясь, с тягучим скрежетом все более и более наклонялся и наконец с грохотом упал на крышу. Милиционеры, подойдя к кресту, с усилием спихнули его вниз, но, зацепившись за карниз, он повис в воздухе. Тогда Миша-командир, с опаской спустившись к самому краю крутой крыши, сапогом толкнул крест на землю, а потом вместе с милиционерами водрузил на куполе красный флаг.

7. МИША-КОМАНДИР

Враги народа Линенко и его подручные задались подлой целью подорвать оборонную мощь нашей страны, вернуть Украину в темноту, к петлюровским порядкам. Петлюровское охвостье, мазепинцы, самостийники сеяли заразу, хотели погубить наших боевых коней. Они знали, что такое конь, что именно красная конница сокрушила наших врагов.

Но их карта бита! Наши славные чекисты выловили бешеную свору. Мы требуем, чтобы суд вынес бандитам высшую меру — расстрел.

Мы знаем: враги разоблачены еще не все. Они притаились. Но мы заверяем товарища Сталина и нашего железного наркома товарища Ежова, что мы всегда будем помогать органам НКВД. Все, как один, станем добровольцами НКВД!

Из резолюции митинга трудящихся чернопольского

*конного завода "Червоный кавалерист"
15 мая 1937 года.*

Несмотря на то, что Миша Фурман неоднократно проявлял так называемые "левые загибы" и, как говорили тогда, "перекручивания партлинии", и в райкоме, и в обкоме знали, что Миша выполнит любое порученное ему дело, и потому его время от времени только снисходительно "поправляли", но продолжали неизменно выдвигать, и, когда в Чернополе в тридцатом году решили открыть конный завод "Червоный кавалерист", Мишу-командира назначили его директором.

Весной тридцать седьмого года на заводе началась эпидемия сапа. Вскоре органы НКВД арестовали четырех работников завода. Короткая статья в областной газете "Бильшовицька правда" сообщила, что "ветфельдшер Линенко, в прошлом служивший в петлюровской армии, а затем примазавшийся к партии, и его сообщники фуражир Ганчар и ездовые Теслюк и Варченко, будучи связаны с недавно раскрытым в Киеве украинским националистическим центром, получали от агентов иностранных держав пробирки с микробами и заражали лошадей сапом".

Прошло полтора месяца, и, хотя истекли все сроки карантина, и ветеринарами завода как будто были приняты все меры, случаи сапа не прекращались. На завод уже приезжала комиссия из военного округа. НКВД передпросило всех рабочих. Новых вредителей найти не могли.

В конце мая парторга завода Сульмана (после гражданской войны он закончил в Харькове институт и теперь заведовал ветлечебницей) вызвали на инструктаж по борьбе с вредительством. На другой день после его отъезда в кабинет директора вошел конюх Маслак и, не говоря ни слова, положил на стол заявление: еще в самом разгаре эпидемии, месяца два тому назад, будучи в деннике элитного жеребца Казака, он, Маслак, случайно услышал, как Сульман приказывал Линенко, ныне арестованному, пристрелить под видом "подозрительных на сап" десять совершенно здоровых лошадей. Когда же Линенко стал жалеть лошадей, Сульман сказал: "Ничего, скоро у нас вместо лошадей будут танки". В это время Маслак кашлянул, и Сульман тут же заглянул в денник, но не сказал ничего и ушел. Теперь же Сульман вся-

чески к нему придирается и стремится выжить с завода. Внизу стояла подпись: "доброволец НКВД Маслак".

Миша дочитал до конца и медленно поднял тяжелые глаза.

— Ты говно, — спокойно сказал Миша. — Если Сульман тебя выживает, значит, ты лодырь и пьяница. Сульман... Сульман за советскую власть свою кровь проливал, он пять раз раненый был. А ты? Где ты был в это время?.. Может, прятался в лесах с Мусяенко? А?.. Мы еще проверим, кто ты есть.

— Проверить всякого можно, — глумливо согласился доброволец. — А на вас, товарищ директор, я буду жаловаться.

Миша бешено сверкнул глазами, на глазах у конюха порвал завлечение и швырнул его в корзину.

Как только Маслак вышел, Миша вызвал своего заместителя Сойфера (немолодой, опытный заместитель был прислан на завод из Винницы три года тому назад) и дал волю своему гневу.

— Наглец! Хамло! — выкатывая глаза, кричал Миша. — Он пойдет на меня "жаловаться"?! Пусть жалуетса вот этой лампочке! Вот! — он показал кукиш в сторону двери, через которую вышел Маслак. — Сульмана ты у меня не получишь! Руки коротки!

Бурно жестикулируя, он ходил по кабинету, пока не остыл. Тогда он позвонил, вызвал начальника отдела кадров и попросил личное дело Маслака.

— Ты понял, что он хочет, этот гайдамака? — повернулся он к Сойферу, как только они остались снова одни. — Он хочет посадить Сульмана. Но для чего этой гадине нужно повести следствие по ложному руслу? Чтобы кого-нибудь спрятать. Но кого?.. Может, самого себя? Сам заражал, а свалить хочет на Сульмана?!

— Ну, это еще надо доказать, — отозвался осторожный Сойфер.

— И докажем! Меня не проведешь! — злобно сказал Миша. — Ты бы видел, как он зашел, расселся, будто у себя дома. Какой-то конюх!.. А рожа? Какая у него была рожа! Это же бандит! А жена его Параска?.. Мы тут в двадцать втором одну церковь закрывали, а мещане возьми и устрой бунт. Так она больше всех орала. Ведь она из Яблонских, дочь Овсия. Ее и выдали за Маслака только для того, чтобы она не попала в "лишенцы"... Семейка та еще! Посчитаем: отец — погромщик, брат — петлюровский атаман, племянник Мыкола в тюрьме за агитацию. И что же? Живет Маслак в такой семейке и любит советскую власть? Нет, не любит. Смотри: ни одно собрание не пройдет, чтобы он не выступил, а я ему не верю. Не верю.

— ...Ну, что там? — нетерпеливо спросил Миша, когда Сойфер просмотрел личное дело.

— Да в общем — ничего.

— Так-таки и ничего? — недоверчиво прищурив глаз, ухмыльнулся Миша.

— Ну, формально ничего, — пожал плечами Сойфер.

— А ну-ка, дай сюда!

Миша быстрым и цепким глазом пробежал папку. Пантелеймон Маслак был сыном крестьянина-бедняка, в белых армиях не служил, состоял членом профсоюза, МОПРа, Осовиахима, словом, ничем не отличался от среднего советского человека.

— Смотри! А это что? — вдруг вскричал Миша, с силой отгибая всей ладонью бумаги, чтобы можно было прочесть полузакрытую скоросшивателем маленькую бумажонку. На бумажонке этой, подписанной еще шесть лет тому назад шорником Маламудом, тот жаловался директору, что Маслак пристает к евреям-подмастерьям, заставляя их повторять за ним слово “кукуруза”, а однажды сказал, показывая на окно конторы: “Бачте, ось сыдять соби тепер начальником жыдок”.

Фурман и Сойфер переглянулись. Миша вынул бумажонку и стал ее разглядывать со всех сторон. В левом углу наискосок стояла его собственная размашистая резолюция: “В МК. Тов. Ищенко. Примите меры!” На полях с другой стороны добросовестный Ищенко отметил: “Разобран на профгруппе. Сделано замечание”.

— Да, пожалели гада себе на шею, — сказал Миша. — Ну, что я тебе говорил? Теперь ты видишь, что это за тип?

Сойфер кивнул.

— Вот такую контру мы в гражданку и пускали в расход, — сказал Миша, продолжая рассматривать папку. — Теперь гляди дальше: заявление Маслака, где он просит разрешить ему на май-месяц только ночные смены. Май! Когда Линенко уже нет! Я спрашиваю: а зачем ему ночные смены? Как зачем? Ночью он один. Взял пробирку с микробами, налил в кормушку и — все. Так или не так?

Сойфер немного подумал. Ну, в принципе может быть и так, конечно. Но...

— Кстати, — перебил его Миша. — А где этот Маламуд?

— Уехал в прошлом году.

— Ну, ничего. И без Маламуда обойдемся...

В это время вошла секретарша и сказала, что директора срочно просят в ветлечебницу. Там со вчерашнего дня находился элитный жеребец Гранит, но сегодня признаки болезни, которые вчера еще были не ясны, проявились в полной мере. Рекордсмен, красавец, за которым конюхи ходили, как за собственным сыном, каждый день разбирали, прочищали и расчесывали деревянным гребнем волосы его гривы и хвоста, протирали его глаза и ноздри чистым платком, великолепный тонконогий конь теперь лежал, глядя на всех красными, большими глазами, сопя и тяжело дыша, с опухшей шеей; морда его была покрыта язвами, из носа текло.

— Смотрите, как бы он в лицо вам не фыркнул, — сказал ветфельдшер, когда Миша слишком близко нагнулся к коню, которого он тоже очень любил.

— Ну, что ж, будем его стрелять, — добавил фельдшер, провожая директора до дверей.

Миша вздохнул, махнул рукой и вышел. По дороге в контору он столкнулся с Маслаком. "Ну, погоди, петлюра, я до тебя доберусь!" — с холодной злобой пробормотал Миша. Он хотел немедленно вызвать кадровика, но рабочее время уже кончилось.

На следующее утро, как только он вошел в кабинет, ему доложили о двух новых случаях сапа. Теперь у него уже не было никаких сомнений, что это дело вражеских рук Маслака. Он вызвал кадровика и показал ему заявление Маламуда.

— Снимите копию и немедленно передайте в НКВД, — сказал Миша. — Ну, что, хорош гусь?

— Да-а, — отозвался кадровик, так и впиваясь острым взглядом в бумажку.

— Теперь садитесь и пишите, — сказал Миша. — Конюх Маслак систематически разжигает на заводе национальную рознь, — он встал и прошелся по комнате. — Так. Написали? Дальше. Во время контрреволюционного бунта в 1922 году при закрытии Успенской церкви жена Маслака, являясь... или, лучше, будучи дочерью черносотенца и погромщика Овсия Яблонского, выбрасывала вражеские лозунги, а Маслак, при этом находясь...

И далее были подробно обоснованы все доказательства вредительской деятельности Маслака.

Это был очень нервный и напряженный день. Только закончили с кадровиком, как по звонку секретаря райкома Засядько пришлось засесть за срочный отчет по идеологической работе в связи с вредительством на заводе. ("Занят", "не велел принимать",

“с утра рвет и мечет”... — отвечала всем секретарша) . Потом Мишу вызвали на совещание в райком, где говорили, что в коневодстве области засели враги, что в Гайсине они умерщвляли коней негодными кормами. Из райкома он поспешил опять на завод: на послезавтра ожидалась новая комиссия из военного округа, и Миша вместе с Сойфером обошли все конюшни и манежи, осмотрели склады, перелистали документацию.

Он вернулся домой в полном изнеможении. Хотя ему было только за сорок, два года назад после какой-то взбучки в обкоме у него уже был сердечный приступ; сейчас у него так же сильно сжималось сердце. Он лег.

— Прими валидол, — посоветовал отец.

Миша выпил мятную жидкость, сердце отпустило, и он заснул. Когда он открыл глаза, он услышал знакомый бас начальника милиции Василя Чорного, который разговаривал с отцом.

— Ну, что, устал? — участливо спросил Чорный, подсаживаясь к Мише и похлопывая его по колену. — Давай поедем к брату в деревню, брат давно ведь нас зовет. А сегодня там наловили рыбки. А? Давай! Там переночуем, а завтра на работу привезу тебя прямо к заводу свеженького. Ну, вставай, вставай, слышишь? — и он почти насильно увел Мишу из дома.

Перед домом стояла милицейская машина, дверца которой была раскрыта и изнутри выглядывало молодое, свежее лицо редактора районной газеты Зинченко. Зинченко был человек приятный, свойский. Миша перемигнулся с ним и плюхнулся на сиденье. Он снова чувствовал себя свежим и бодрым. Шофер сел за руль, и они двинулись.

Деревня Попивка, где жил брат Чорного, была за пять километров от Чернополя, дом стоял у самого Буга, огородом выходя к реке. В саду накрыли стол с жареной рыбой и водкой. Весь ужин брат Чорного рассказывал анекдоты, и все весело хохотали, но как-то незаметно разговор (как все разговоры в то лето) перешел на вредителей. Зинченко, только вчера приехавший из Гайсина, начал рассказывать о гайсинском процессе, о котором сегодня как раз шла речь в райкоме. Больше всего Зинченко поразило, как проходил показательный суд: судили всенародно, в клубе, и всем хотелось попасть, но мест не хватило; тогда выставили на улице громкоговорители; вся площадь перед клубом была плотно забита людьми, стояли даже в переулках. Говорили, что сошлось пять тысяч городских да еще около тысячи съехалось

из сел. Секретаря райкома Блехмана и председателя исполкома Игнатовича приговорили к расстрелу.

Миша согласно кивал. Единственное, чего он не мог понять, — зачем было Блехману связываться с петлюровцами? Еврей-петлюровец? Это не укладывалось у него в голове.

На рассвете он проснулся оттого, что кто-то легонечко трогал его за плечо. Это был Чорный, который глазами указывал ему на дверь. Миша осторожно, стараясь не разбудить Зинченко, оделся и на цыпочках прошел к выходу. Чорный ждал его, укрывшись за углом дома.

— Что случилось? — ежась от утреннего холода, спросил Миша у Чорного, когда тот отманил его подальше от дома, к реке.

— У тебя был Маслак? — тихим голосом спросил Чорный.

— Был. А что?

— Он подавал тебе какое-то заявление?

— Подавал.

— А где оно?

— Разорвал и в корзинку бросил.

— Вот именно, что в "корзинку"... — укоризненно вздохнул Чорный. — Ты знаешь: на вас с Сульманом заведено дело.

У Миши сперло дыхание.

— Слухай, Миша, — продолжал Чорный. — Ты зараз тикай. Домой не заходи. В местечке не появляйся. Тикай подальше — аж до Ташкенту. Потом, может, затихнет, — вернешься. Понял? — и сочувственно похлопав Мишу по плечу, ушел в дом.

Миша остался стоять в оцепенении, машинально глядя на окурок, брошенный Чорным в воду. Потом сел на мостки, закурил и задумался. Он дал маху. Надо было взять заявление, обещать, что передаст куда надо, а тем временем смять подлеца. Ну хорошо, не успел, и этот осел Ищук (начальник районного НКВД) поверил Маслаку. Но кто поверит Маслаку в обкоме? Кто такой Маслак? Ноль без палочки. Нужно только поехать к Румянцеву — поехать немедленно! — и рассказать все как было. Ведь это же нелепо! Это же вздор!

Он встал, поднял воротник пиджака и по мокрой от утренней росы леваде пошел на большак. Чем дальше он уходил от села, тем шаги его становились энергичней и решительней, а когда он подходил к МТС, к нему уже вернулась его обычная уверенность. Он миновал гусарское кладбище, прошел через спящее предместье и подошел к воротам конного завода. Было пять часов утра. В

окошке проходной виднелся дремлющий сторож. При стуке он вскочил и, неожиданно узнав грозного директора, суетливо кинулся открывать.

— Одни турботы^{1/} вам с нами, — повторял он с льстивыми улыбочками.

Миша, холодно кивнув, прошел мимо него в контору, поднялся по лестнице и отпер дверь своего кабинета. Здесь лежали мягкие дорожки, стояли кожаные кресла, покрытые светлыми чехлами, и тяжелый резной стол, изъятый у местного помещика.

Он достал из сейфа заявление Маламуда и положил в карман. Потом вынул толстую папку, в которой лежали все его почетные грамоты, начиная с гражданской войны: от девятнадцатого года — от губнаркомпрода, от двадцать второго года — от губпомгола, от двадцать девятого — от областного Совета безбожников и далее множество грамот за выведение новой породы кавалерийских лошадей. Он перелистал их, подумал и снова положил папку на место. Оставил секретарше записку, что будет только завтра. Он хотел было все же зайти домой, но, посмотрев на часы и рассчитав, что тогда он опоздает на первый автобус, а следующий будет только после обеда, и он не успеет на прием к Румянцеву, Миша направился к автобусной станции.

В автобусе, утомленный длинной дорогой и недосыпанием, Миша прислонился головой к окну и провалился в тяжелый сон. Он открыл глаза, когда автобус, скрипя и дребезжа от дряхлости, уже двигался по главной улице города.

Несмотря на утренний час (было без пятнадцати девять, когда шофер высадил директора возле обкома партии), солнце уже сильно разогрело воздух. Миша отыскал в сквере напротив обкома скамейку в тени, сел и закурил. Через дорогу у ворот обкома, прячась от солнца под навесом, стоял дежурный милиционер. Миша видел, как одна за другой стали подъезжать и исчезать в воротах обкома тупоносые черные "эмки", как вскоре во всем огромном здании стали открывать окна; наконец медленно проплыла мимо знакомая машина второго секретаря Румянцева с задернутыми изнутри кремовыми занавесками и нырнула во двор.

Выждав немного, выкурив еще одну папиросу, Миша поднялся в приемную. Коротко стриженная секретарша в вышитой белой

^{1/} заботы (укр.).

кофточке, припав к маленькому зеркальцу, подводила брови. При виде Миши, которого здесь хорошо знали и к которому Румянцев еще со времени самообороны относился по-приятельски, круглое лицо секретарши просияло. Она встала немедленно доложить и, взяв со стола папку с бумагами, исчезла за обитой черным дермантином звуконепроницаемой дверью.

День был приемный, и очень скоро комната стала наполняться людьми, густо обсевшими все стулья. Многие знали Мишу и здоровались с ним, он машинально кивал, пожимал руки, но вступать в разговор ему ни с кем не хотелось. Прошло полчаса. Секретарша не появлялась. Миша сидел, нетерпеливо барабаня пальцами по колену. Вдруг в приемную вошел какой-то неизвестный и без стука зашел прямо к Румянцеву. Тотчас звуконепроницаемая дверь открылась и появилась секретарша. Не взглянув на Мишу, она уселась за стол и начала печатать. Миша подошел к ней.

— Что это за тип? — хмуро спросил он. — Долго он намерен там сидеть?

— Не знаю, — сухо ответила секретарша, не поднимая глаз от работы.

— Но вы доложили обо мне? — раздраженно спросил Миша.

— Иван Степанович не может вас принять, — непривычно официальным тоном ответила секретарша.

— То есть как не может?

— Он просил передать вам, чтобы вы ехали домой и занимались своей работой, — с неожиданной наглостью объяснила секретарша.

“Сволочь! За дверью прячется! Гадина!..” — злобно бормотал Миша, выходя из приемной. Он поехал в клуб, где проводился инструктаж партторгов, но там шли лекции. Дождавшись перерыва, когда распаренные духотой партийцы вышли в фойе, Миша стал искать глазами Сульмана, но не нашел; разыскав старосту группы, Миша узнал от него, что Сульман вчера на лекции был, а сегодня почему-то не явился, не было его этой ночью и в гостинице, может быть, он уехал домой.

Миша сел на автобус, доехал до телеграфа и срочно заказал Чернополь. Он пытался соединиться с квартирой Сульмана, но квартира не отвечала. Позвонил на завод Сойферу — не было на месте. Тогда он попросил ветлечебницу.

— Как дела? — спросил Миша.

— Все нормально. Новых случаев сапа нет, — ответил фельд-

шер каким-то глухим, показалось Мише, голосом. — Только Сульман...

— Что Сульман? — спросил Миша, у которого сразу стукнуло сердце.

— Сульман... — неуверенно повторил голос.

— Ну что же, е.....ь?! — зарычал Миша в трубку. — Х.. ты молчишь?!

— Его арестовали...

Миша почувствовал, как кровь бросилась ему в голову. Теперь у него в запасе оставался только Якир. Миша вспомнил, что поезд прибывает в Киев вечером, но подумал, что бывший командир не откажется принять его дома. Бывая в Киеве, Миша как-то видел двухэтажный особняк командарма, перед которым стоял его голубой "бьюик". О том, что несколько дней назад по дороге в Москву Якир снят с поезда и арестован, Миша не знал.

Он вышел. На улице стояла страшная жара. Солнце палило нестерпимо, и на расплавленном асфальте виднелись следы подковок и каблучков. Миша приехал на вокзал и взял билет до Киева. Отойдя от кассы, он сел на скамейку, втиснувшись между какими-то узлами. Он чувствовал сильную усталость, ему хотелось отдохнуть, но в зале ожидания было нестерпимо душно, к тому же пахло лежалой колбасой из чемоданов; мимо сновали люди, у соседнего киоска, где продавали ситро, неприятно звякала мелочь, в зале стоял непрерывный гул голосов.

Он вышел на перрон, но и здесь была такая же раздражающая суета: бегали с чемоданами, катили почту на автокаре, ходили и пели парни с балалайками, пассажиры из проходящего поезда бегали в пижамах и тапочках на босу ногу, торопливо покупали газеты, бутылки с лимонадом, бутерброды.

Вдруг острое, мучительное сожаление сжало ему сердце: зачем он все же хоть на минуту не зашел домой; вспомнился сын, его смех и острые мелкие зубки, и как он тычет пальчиком себе в рот и повторяет: "З-зубки, з-зубки!" Ему стало нехорошо, он нашел скамейку и сел на край.

Проходящий поезд стоял на первом пути; большой круглый паровоз, пыхтя и отдуваясь, подошел задом к составу и толкнул его, так что все вагоны вздрогнули; потом, тяжело дыша, шипя, часто-часто задвигал челюстями, лязгнул колесами и пошел. Проплыли мимо общие вагоны, где в окнах виднелось много детей, баб в хустынках и курящих мужиков; потом мягкие, с

кремовыми занавесками, потом еще быстрее — плацкартные, опять общие, и платформа опустела. Открылся другой поезд, ожидавший отправления на Киев.

Нужно было встать и идти на посадку, но он чувствовал, что теряет силы; у него сжималось сердце, голова гудела, жгло затылок, все сильнее подташнивало. Только тут он заметил, что сел рядом с густо заплеванной урной, к краю которой прилепились окурки, но у него не было сил отодвинуться.

Солнце палило все сильнее, сердце болело, он задыхался. Он снял пиджак и расстегнул рубашку, но ему все равно не хватало воздуха. Какой-то мужик сел рядом с ним, развернул пакет и стал жевать, опять остро запахло лежалой колбасой. Рот наполнился тошнотворной слюной, голову обнесло, все поплыло, и он потерял сознание.

Весь этот день и ночь, подобранный на перроне, Миша пролежал в городской больнице. Под утро его разбудила медсестра, сказав, что его хочет осмотреть дежурный врач. Они вместе прошли по длинному коридору, уставленному у стен кроватями, на которых еще спали больные, спустились на первый этаж, тоже переполненный коридорными больными, и остановились перед стеклянной, выкрашенной изнутри белой краской дверью с надписью "ординаторская". Там, сидя за столом, его уже дожидались двое военных в наброшенных на плечи куцых медицинских халатах.

8. ЯНКЕЛЕ

После того, как суд приговорил Мишу-командира к расстрелу, его отец Симхе сразу надломился. Хотя он давно уже был на пенсии, но мощный мотор, сидевший в каждом из Фурманов, продолжал работать в нем с неослабевающей силой. Что бы ни происходило вокруг, начиная от новой речи Сталина (Симхе всегда читал и комментировал газеты вслух, всей семье) и кончая пережаренной рыбой, — на все он отзывался бурно, с шумными жестами, с вытаращиванием глаз и даже с битьем посуды. До всего, что происходило в местечке, ему было дело, и все это про-

исходящее в местечке, как ему казалось, вертелось вокруг одного — вокруг его бен-йохид^{1/}, Миши, вокруг него и благодаря ему: “Миша спас евреев”, “Миша открыл конный завод”, “Миша дал всем работу”, “Румянцев приезжал только ради Миши”... Со смертью сына он как-то сразу стих. Он лежал целыми днями на диване; маленький внук, сын Миши, Янкеле, смеясь и показывая свои реденькие зубки, ползал по его огромному животу. С каждым годом, подрастая, внук все больше становился похожим на маленького Мишу, — такой же рыженький, с множеством веснушек на лице, — и глядя на внука, Симхе вспоминал, как он с притворной строгостью говорил когда-то сыну:

— Вот я позову песика, и он вылизет все твои веснушки.

— Не надо, не надо песика! — плакал Миша, и Симхе, чтобы утешить мальчика, давал ему конфету.

— А кэцэлэ... а цигэлэ...^{2/} — нежно бормотал Симхе, не сводя глаз с внука.

С тех пор как в годы “бури и натиска” Миша-командир после какого-то очередного антирелигиозного митинга приказал комсомольскому духовому оркестру дуть во всю мощь “Интернационал” перед окнами синагоги во время пасхальной молитвы, и разъяренный, точно кагальный бык, “рыжий габбай” Мордхе Фурман, выскочив из синагоги, налетел на племянника — “апикойроса”^{3/} и пытался надрать ему уши, а Миша в ответ совершенно хладнокровно предложил милиционеру выписать на дядю штрафную квитанцию, Мордхе перестал бывать у брата Симхе. Но после смерти Миши он опять стал приходить. При жизни они с Мишей враждовали, теперь он смотрел на Мишу теми же глазами, что и его отец: вся жизнь Миши-командира со времен самообороны была для них обоих высшим взлетом чернопольских Фурманов.

Фурманы, оба коротенькие, распустив подтяжки и расслабив пояса на толстых животах, расстегнув от жары сорочки на груди, откуда вылезали целые копны седых волос, сидели друг против друга в холодке спальни. Оба они постарели, из ушей, из носов торчали жесткие волосы, над большими круглыми головами реял редкий пушок.

Они вспоминали время, когда на главной Еврейской улице

1/ единственного сына (идиш).

2/ котеночек... козленочек... (идиш).

3/ безбожник (идиш).

с окончанием субботы зажигались разноцветные огни, у каждой двери сидели старички в картузиках, в узких проемах между домами играли дети, из городского сада доносилась веселая музыка полкового оркестра, на пешеходах прогуливались нарядные евреи, гуляли еврейские девочки парами и тройками, и гусары угощали их зельтерской водой. Вспоминалась синагога в Рош-Гашана, вся сияющая от сотен свечей, от белых таллитов, когда кантор, тоже в белом с золотой каймой таллите громовым голосом возглашал молитвы. Все куда-то уходило, не было прежнего местечка. Не было Миши.

Каждый год 25-го июля, в день смерти Миши, устраивали йорцайт. В доме Симхе собирались все Фурманы. Приходил брат Нахман с дочерьми Цилей и Фаней и сын Мордхе Файфуш с сыновьями и со своей женой, молодой, с большим ртом и необъятной грудью, так что кофточка еле сходилась у нее на груди. Она приводила с собой глубокого старика, брата Нояха, у которого пальцы постоянно шевелились, точно он скатывал пилюли.

Файвуш долгое время заведовал снабжением конного завода, но после суда над двоюродным братом новый директор стал его затирать и наконец выжил в счетоводы какой-то "шарашкиной конторы". Файфуш был мрачен и озлоблен. Засунув руки в карманы, заломив кепку на затылок, недовольно выпятив нижнюю губу, он расхаживал по комнате и рассказывал последние новости про Маслака.

— Строит себе новый дом, — пыхтел Файфуш. — Я спрашиваю: откуда у конюха может быть так много денег? — говорил он, обводя всех намекающим взглядом.

— Миши нет, а этот негодяй себе спокойненько живет. И процветает.

— Не говорите мне про него, — отзывалась жена Симхе, Бася из другой комнаты, где она накрывала на стол. — Зол зей оле пэйгерн!^{1/}

Мордхе, сев на подушечку, которую он всегда носил с собой, жаловался на геморрой:

— Ви кэн мэн зайн гезунт ба за мин шварце йорн?^{2/}

Симхе стоял у окна с внуком на руках; он ни на минуту не оставлял его: он был уверен, что невестка не умеет управляться

1/ чтоб они все передохли! (идиш)

2/ как можно быть здоровым в такие черные годы? (идиш)

с малышом. Жена Миши сидела в стороне, бледная, у нее постоянно дрожали губы, казалось, она вот-вот заплачет.

Приходил хаззан; поцеловав цицит, он набрасывал таллит на плечи и читал эль-молей-рахамим сначала за Мишу — Михаэль бен-Симхе, потом за деда — Нояха бен-Мордхе, потом за его жену — Хоне — Риве бас-Мойше... Муж Эйди Фурман (к нему, как и к жене Миши, — ко всему некровному, нефурманскому, — в семье относились пренебрежительно) робко просил, чтобы помянули и его мать.

— Как зовут вашу мать? — оборачиваясь к нему, спрашивал хаззан.

Тут сын Мордхе взрывался и начинал ходить по комнате.

— Хватит! Хватит! — сердито пыхтел он. — Не положено! При чем здесь она? Нельзя же сделать йор-цайт за весь свет!

Потом садились за стол, где на длинном блюде лежала огромная фаршированная щука, стояла бутылка вина и на отдельной тарелке — специально приготовленный для Мордхе меерн-цимес^{1/}, помогающий при геморрое. Жена Файвуша, с трудом усадив скованного паркинсонизмом старика на стул, брала рыбу и, вынув из нее кости, начинала его кормить, но у того голова сильно тряслась и требовалось терпение, чтобы попасть ему в рот.

...За год до войны умер брат Мордхе. Потом жена Миши с маленьким Янкеле уехала к родителям в Волочиск. Старики остались одни. После того, как внука увезли, для Симхе порвалась его последняя живая связь с Мишей. Наступила зима. Симхе все чаще запирался в своей спальне, где всегда были закрыты ставни. Но весной, когда воздух на улице прогревался солнцем, Симхе стал иногда покидать свою спальню. Он проходил через застекленную, увитую хмелем веранду и по бетонированной дорожке, мимо цветочных клумб, обложенных красным с белым кирпичом (и дорожка, и клумбы были сделаны еще при Мише рабочими его завода), открывал калитку и садился на лавочку. Невдалеке от лавочки была насыпана куча песка, на которой копошились дети. Среди них был один бойкий рыженький мальчик, немного похожий на внука, но Симхе, как и все Фурманы, был безразличен к чужим детям.

Вскоре началась война. Немцы наступали с такой стремительностью, что уже через десять дней приблизились к Подолии. Вско-

^{1/} морковница (идиш).

ре в местечке стали появляться дезертиры — “тикачи”. Почти в каждый украинский дом возвращались мужчины. Вернулся и кое-кто из евреев, в их числе и доктор Лернер, бежавший вместе с развалившейся фронт украинской армией.

Началась эвакуация. Пятого июля выехали на восток отработники и партийцы, эвакуировали лошадей завода “Червоний кавалерист”. Шестого стали выезжать простые евреи.

Тем временем Симхе блуждал где-то в транспортном хаосе первых дней войны. Как только заговорили об эвакуации, первая его мысль была о внуке. Он считал, что невестка по своей непрактичности и нерасторопности не сумеет увести внука в тыл, да и кто даст эвакуационный лист жене врага народа? К Симхе сразу же вернулась фурмановская энергия. Не слушая ворчания Баси, он бросился на попутной подводе в Дежарню, а там на поезд, идущий на запад. Но через несколько станций от Проскурова поезд остановился. Дальше линия была разбита. С огромным трудом Симхе напорился в санитарную машину, но уехать далеко опять не удалось: начинался фронт, и Волочиск был уже взят немцами.

Он двинулся обратно. Было уже седьмое июля.

Когда он вошел в дом, Бася сидела на полу среди разбросанных вещей в полной растерянности, не зная, то ли паковать их, то ли относить на место. Симхе только теперь впервые за эти три дня почувствовал сильную усталость и лег; им овладело прежнее оцепенение.

— Ах, Симхе, — плача повторяла Бася, — неужели ты не можешь встать и помочь мне?.. Ну, скажи хоть слово, Симхе...

Она пошла к Нахману. Нахман, который дожидался брата и не хотел уезжать без него (Файвуш с семьей еще вчера уехал), нашел возчика-украинца, сунул ему деньги, всей семьей погрузился и подъехал за Симхе и Басей.

— Кончайте ахать, давайте ехать! — энергично говорил Нахман и запихивал вещи в мешок.

Они сели на подводу и двинулись к Дежарне. Но на подъезде к станции стали слышны взрывы снарядов. Посреди дороги стояла военная машина; оттуда крикнули:

— Куда вы прете? Не видите: окружение. Езжайте назад!

Они повернули назад, но дорога, по которой они только что ехали, уже простреливалась самолетами; пришлось сделать крюк через Ивановцы. Навстречу им брели нестройные группы отступа-

вших красноармейцев, стали все чаще попадаться воронки от бомб. Возле дороги лежал труп красноармейца, и два сельянина раздевали его; один, держа гимнастерку в руках, шарил по карманам, другой стаскивал с убитого сапоги.

Фурманы уныло проехали через предместье, миновали мост и стали подыматься к замку. Улицы местечка были пустынные. Евреи, как при всяком безвластии, опасаясь погромов, сидели взаперти. Мещане прятались в лехах от налетов; днем они выползали из лехов, разбили магазины на площади, растащили товары и снова попрятались.

К вечеру в Чернополь вошли немецкие войска.

9. СИМХЕ

Через две недели после прихода немцев поздно вечером из дома своего отца-горшечника под самым еврейским кладбищем вышел полицай Шмыга. На нем была кепка-мазепинка и мундир с желто-голубой ленточкой на рукаве. Месяц тому назад Шмыгу вырвали из дому, оторвали от девчонок, которых он весело прижимал в темных углах, и послали воевать; воевать, а тем более умирать за "московську владу" ему не хотелось, и потому, как только немецкие самолеты стали сбрасывать листовки о том, что этой владе конец, Шмыга в суматохе очередного отступления тиканул домой; и теперь снова начался "жарт" с девчонками и все та же привычная веселая жизнь.

На Подгорной улице он захватил с собой восемнадцатилетнего Лучко, который лишь вчера надел форму и сегодня первый раз шел "на дело", и вместе с ним поднялся на Еврейскую улицу. Там они подняли с постели маленького носатого старичка Боруха Перцеля из юденрата и направились в сторону замка. Всю дорогу Лучко дрожал от холода и мокрого ветра. Шмыга его подбадривал и напевал веселую старую песенку:

Тикай, Борух, бо я бижу,
Маю ножык, то заряджу!

Шмыга настаивал, чтобы Перцель повторял за ним припев, и

притом обязательно с забавными канторскими переливами и ужимками, и Перцель повторял:

Аз ох ун вэй, вэй!

Аз ох ун вэй, вэй!

Возле костела, напротив которого стоял дом Симхе Фурмана, или, как его называли в местечке, "директорский дом", Шмыга повернул на пешеход. Вечер был настолько темный, что даже беленую изгородь едва можно было рассмотреть, сам же дом внутри ограды совершенно растворился в темноте. Шмыга нашарил калитку и осторожно двинулся по бетонированной дорожке. Постучали в окно: здесь не спали и ждали. Бася, бледная, расплывшаяся старуха, вынесла в коридор керосиновую лампу и, с трудом передвигая огромные, распухшие от тромбофлебита ноги, провела гостей в спальню.

Старый Симхе лежал на постели в майке и смотрел на вошедших. Напротив постели на стене висели две большие фотографии Миши-командира (на одной, солдатской, — еще почти мальчишка, с молодцевато задранным кверху подбородком, с георгиевским крестом на груди; на другой Миша снят в группе комиссаров дивизии Якира), которые после ареста сына вопреки всем разумным советам старик упорно отказывался снимать.

— Здравствуй, Сема, — приветливо сказал Шмыга.

— Ну, здравствуй, — неохотно отозвался Фурман.

Шмыга подтолкнул Боруха вперед.

— А гит шобес^{1/}, — сказал Борух.

Фурман спросил, что им надо.

— А так... надо, — сказал Борух. — Ты, Симхе, пошел бы с нами.

— А за каким делом я должен с вами идти? — хмуро спросил Фурман.

Шмыга опять незаметно подтолкнул Боруха.

— Я знаю?.. Заседание... Комендант велел... Дело... — промямлил Борух.

Фурман настороженно молчал.

— Э-хе-хе, — с обидой покачал головой Шмыга. — Який же ты, Сема, недоვიрок. Але я не розумію. Що тобі? Яки тобі турботы?^{2/} Треба йти до управи тай годи. Там все зібрались, ждуть тебе.

— Да... ждуть... — поддакнул Борух.

— Глухого убили? — сказал Фурман.

^{1/} доброй субботы (идиш).

^{2/} заботы (укр.).

— Ну. Але ж вин дурень. Бывся, кусався. Ты ж не будеш кусаться? Га?.. Чи будеш?.. Чому ты мовчыш?

Фурман не отвечал.

Тогда Лучко вдруг вытащил пистолет и ткнул им Фурману в лицо. Фурман поморщился, отвернул лицо, но не сдвинулся с места; его лысина налилась кровью.

— Ах ты, жыдюга! — закричал Лучко. — Лижыть соби як пес на груби^{1/}! А ну, вставай! Зараз мы влада! Ну!

Фурман сел и стал медленно одеваться. Шмыга его обхаживал, а когда Фурман не мог найти второго носка, даже полез под кровать и нашарил там носок. Потом принес с вешалки пиджак, посплюнявил ладонь и заботливо стер с рукава белое пятно.

— Да калоши не забудь, — напомнил Шмыга, — мокрота на улице.

Бася, рыдая, припала к плечу мужа.

— От скажена жинка! — удивился Шмыга. — Чоловик ще не вмэр, а вона вже йому вичну память спивае.

— Але ты, Сема, ее не слухай, — добавил он уже на крыльце, дружески подхватывая Фурмана под локоток. — Вона ж дурка. Бо видкиля може бути у жинки розум? Жинка — вона жинка и е. Га, Борух?

— Да-а, дурка, — поддакнул Борух.

Как потом рассказывал Борух Перцель, Симхе Фурмана привели на леваду возле Буга. Там его уже ждали бургомистр Яблонский и сын атамана Мусиенко, Тарас. Как только Симхе приблизился, Яблонский и Мусиенко молча набросились на него, сбили с ног и топтали до тех пор, пока он не умер.

^{1/} на печи (укр.).

ГУЛЬБИЩЕ

1. КРЕЩЕНИЕ

Утром 13 июля 1941 года, в воскресенье, на башне чернопольского замка рядом с немецким флагом весело затрепыхался на ветру жовто-блакитный прапор, и на двухэтажном здании райисполкома, где теперь должна была разместиться управа, на месте классиков марксизма-ленинизма уже висели портреты гетманов, украшенные цветами, а над ними огромный, до самой крыши, позолоченный тризуб.

В тот же день на площади перед управой собрался митинг по случаю скорого объявления всей Украины самостийной и независимой державой, и как только окончились речи активиста, приехавшего из Галиции, и немецкого коменданта, и чернопольского священника, и выбрали бургомистра (им стал Артемон Яблонский), в предместной церкви весело зазвонил колокол, единственный, непонятным чудом уцелевший в Чернополе, приглашая народ на благодарственный молебен, и священник в праздничной ризе на сугубой ектении подал возглас за освобождение Украины, и после молебна пошли крестным ходом с хоругвями и крестами, а затем шумно разбрелись по всему местечку кто куда, но большая часть народу, особенно молодого, потянулась в городской сад, где намечалось большое праздничное гуляние.

Когда Яблонский, Пистоля (еще неделю назад начальник охраны конного завода, а теперь начальник полиции) и его помощник Шмыга поднялись от предместной церкви, где проходил крестный ход, к местечку, на мостовой уже ходило много пьяного народу, а на обрыве напротив замка среди кустов гуляли парни с девушками.

Стоить гора высокая,
Попид горою гай,
Зеленый гай, густесенький,

Неначе справди рай,
А пид горою ричинька...

- ладно и протяжно пели девчата.
- А що, чи не гульнуть и нам? — спросил Пистоля.
- Чому ни? — согласился Яблонский.

Пистоля вынул из кармана бутылку самогона. Все сразу повеселели. Они двинулись по главной, Еврейской улице; двери и ставни здесь везде были закрыты. Высокий, седоватый Яблонский, как всегда насупленный, шел чуть впереди; все прохожие приветливо и весело кланялись бургомистру. Толстый благодушный Шмыга вперевалочку шел рядом с ним. Следом цокал подковками сапог по булыжнику Пистоля, поджарый, несмотря на свои пятьдесят лет; его узкие глаза и подвижное лицо все в мелких живых морщинках так и шарили по сторонам в поисках чего бы посмешнее. Вдруг он повернул на пешеход.

— Ты куда? — удивился Шмыга.

— Не сгинете вы, хлопци, коло мене, — подмигнул Пистоля и стал открывать калитку.

В этом доме жил дамский портной Нухем Шор, или, как называл его весь Чернополь, просто дядя Нема. Пистоля постучал. Через некоторое время клапан дверной щели, куда почтальоны бросают газеты, нерешительно открылся изнутри, и в щели показались два боязливых зрачка; потом стало слышно, как откинули крюк; дверь долго вздрагивала (видимо, она была заложена поленом) и наконец открылась. В дверях стоял маленький человек с сантиметром на шее.

— Здравствуй, балабуст^{1/}, — сказал Пистоля и мимо дяди Немы первым прошел в дом.

Посреди комнаты стоял большой круглый стол на одной ноге, на котором были разложены выкройки. Дядя Нема, засуетившись, торопливо бросился их убирать.

— Дер шнайдер нейт... Парнуса..^{2/} — снисходительно сказал Пистоля, который, как и многие местечковые украинцы, хорошо говорил по-еврейски. — А чому ты робыш в праздник? Це не дило.

Он расхаживал по комнате, разглядывая обстановку и оставляя грязные следы на светлых дорожках. Проверил прочность стульев, погладил лакировку на буфете, заглянул в спальню, где

1/ хозяин (идиш).

2/ Портной шьет... заработки (идиш).

стоял широкий фикус в кадке и на двуспальной кровати с большими никелированными шарами лежала жена дяди Немы, уже много лет скованная тяжелым ревматизмом, изуродовавшим ее суставы.

— Ничего живешь, — одобрил Пистоля, — Бебехов у тебя много. А гостей принимать будешь? — и выставил на стол бутылку.

Дядя Нема сходил на кухню и принес сала, холодной картошки и домашнюю булку.

— Широ дяку емо, — проговорил Пистоля, садясь к столу.

— Аж пидскакуемо, — добавил Шмыга.

— А огиркив не мае? А? Ласкаво просымо.

— Зараз.

Дядя Нема сбежал в лех и принес соленых огурцов.

— А капуста?

— Може, и цыбули разом?

— Ни, цыбули нам не треба. Та швыдче! Швыдче! Не барысь!

Дядя Нема опять сбежал в лех.

— Аз ох ун вей, — скорбно вздохнул Пистоля, — але де ж цыбуля?

— Цыбуля?

— Ось тоби раз! Так мы ж просылы!

— Шуткуете, панове, — почти плача проговорил дядя Нема.

— Ни, мы зовсим не шуткуем.

Они расселись и стали угощаться. Шмыга сдирал с картошки шкуру и длинным разбойничьим ножом резал каждую картофелину на четыре части. Пистоля разливал самогон. Яблонский сидел молча, отодвинув свой стул в сторону от общего стола; прежде чем приняться за еду, он перекрестился.

— Наш перший козацький тост, — торжественно провозгласил Пистоля, — нехай сгнуть уся наши вороги!

Выпили, хрустнули огурцами и принялись за сало. Было слышно, как на улице зашумел дождь. Дядя Нема стоял посреди комнаты, не решаясь ни уйти, ни присесть к столу. Пистоля, глядя на него, задумчиво погладил кончик носа.

— А все ж мы свини, хлопци, — вдруг покачал головой Пистоля с гримасой отвращения на лице. — Прыщлы в чужу хату, нанесли грязюки, надыхалы дыму. Аж сумно у хати... Погано... Свинота... А ты, що ты розсився з товстючим задом як пан який?! И курыш! Ну, годи, годи курыты! — прикрикнул он на Шмыгу, и тот с веселой готовностью погасил папиросу. — И хазяин у нас

тыхый и тверезый. А нам байдуже^{1/}. Це не дило. Так, Шмыга?

— А як же? И грих, и стыд. Сидайте, сидайте.

Дядя Нема продолжал стоять в нерешительности.

— Ни, хазяин е хазяин, — ласково сказал Шмыга, подвигаясь и усаживая дядю Нему подле себя. — Отак!.. Самогон... огирки... — он подал портному налитый стакан и закуску. — Ну! Бац!.. Не-хай здоров буде!

— А войлер ид!^{2/}

— Хозяйство у него доброе.

— Огирки смачные.

Дядя Нема вымученно улыбался.

— А хала? — Шмыга разломил кусок булки и, потянув носом воздух, изобразил на своем лице блаженство. — Жыдивська хала ду-уже смачна.

— А як же ий не буты смачной, колы вона з украинськой муки?

— З украинськой все смачно.

— Дядя Нема балабус что надо, — продолжал Пистоля. — Не то що Фурман.

— А, що Фурман? Пхе! Фурман величався як жаба не лысту.

— Дядя Нема чоловик свой, — задушевно повторил Пистоля. — Одна беда, що вин сив з Яблонским. А цей чоловик дуже вируночый хрыстыянин, николы з юдами за одын стол не сидав. Бо це не дило.

— Не дило, — согласился Шмыга. Он встал из-за стола, выпятил свой толстый живот, принял гордую осанку ("як отець Никодим", — разъяснил он) и замахал невидимым кадиллом.

— Перехрестысь! — важно сказал Шмыга.

У дяди Немы задержалось веко.

— Во имя Господа Иисуса Хрыста. Хрещается раб Божый... — Шмыга взял стакан с водой в левую руку, а правой осенил себя крестным знамением. — Отак, дывысь! — стакан раскачивался взад и вперед, зажатый между двумя пальцами. — Ну!

Дядя Нема перекрестился, и вдруг Шмыга плеснул ему водой в лицо. Дядя Нема побледнел.

— Га-а! — весело зареготали гайдамаки.

— Поеднались!

— Охрестылы!

— Из Ицыка в Грицыка!

^{1/} наплевать (укр.).

^{2/} хороший еврей (идиш).

— Из порося в карася!

Они пили за “новообращенного”, с хрустом жевали огурцы, подмигивали дяде Неме, уже как “своему”. Шмыга взял кусок булки, макнул в свой стакан с самогоном и ткнул дяде Неме прямо в лицо.

— Ось тобі прычастя! — сказал он.

Дядя Нема поморщился и весь передернулся.

— Га-а! — опять зареготали полицаи.

— Не всмак!

— Не любыть яг пес мыла!

— Не хочэ! — до слез смеясь, выдавил из себя Шмыга. — От закрутив носом, як бы хрину понюхав.

— Да що ты, ешь, дурню, бо то з маком!

— А шкода, — добавил Шмыга, — що вже Мордхе Фурмана немає, бо вин в такой велькый день зробыв бы з дяди Немы “негатив”.

— Дужа шкода^{1/}.

— Але чекай, — хрустнул Пистоля. — Якый-такый “дядя Нема”? Вин же не може буты зараз без хрыстыянського имени. Що це воно за имя таке — Ну-хэм!

— Ну, нехай буде Иван.

— Ни, це погано.

— А може, Грицько?

— О, це дило, — согласился Пистоля. Он подлил в стакан дяди Немы самогону и отчески пригладил его седеющую гривку.

— Ну, Грицько, — сказал он, кивая на Яблонского, — зараз у тебе такой хрестный батько, що тебе ни один козак не зачипае. И мени здається, що вин буде добрым хрыстыянином. А, бурмистер?

— Привыкла жеребя за возом бигты, то бижыть и за саньмы, — сказал Яблонский, снисходительно показавши зубы.

— Але цей хрест дуже важкый^{2/}, — вздохнул Шмыга. — Що там колысь^{3/} казав отець Никодим у церкве? Га?

— Що як тебе бьють по ливой щеке, пидставляй праву.

— От скажениый!

1/ жаль (укр.).

2/ тяжелый (укр.).

3/ когда-то (укр.).

— Ще казав поп, — продолжал Пистоля, — колы брать рубашку, виддай ее без жалю.

— А, щоб вин мав припадок!

— Чуеш, охрещенный? "Колы брать рубашку"...

На дяде Неме была новая шелковая рубашка. Шмыга двумя пальчиками легонечко приподнял ее за воротник.

— А ну, снимай.

— Рубашку?

— Ну, швидче, швидче!

Дядя Нема стянул рубашку, а потом стал для чего-то стягивать и майку.

— Ни, це барахло нам не треба. А треба нам... ось що! — и Шмыга показал на золотое обручальное кольцо. Кольцо было толстое, старинное, сильно врезалось в палец и никак не снималось. Тогда Шмыга пошел в кухню, принес мыло и поплевал на него. Палец намылили, и кольцо легко снялось.

— А де ж друга обручка? — спросил Шмыга и направился было в спальню.

Дядя Нема торопливо встал и опередил его.

— Я сам принесу... сам... — испуганно сказал он и вскоре вернулся с кольцом жены.

Шмыга подбросил оба кольца на ладони, помотал головой и отдал их — одно Яблонскому, другое Пистоле. Потом взял с тумбочки старую газету, завернул в нее рубашку и сунул пакет под мышку. Яблонский посмотрел на часы и постучал по циферблату, напоминая, что им пора идти. Было полдвенадцатого, а в двенадцать должен был, как предупреждал немец-комендант, приехать из Проскурова оператор для съемок кинохроники.

— Да-а, добра була у дяди Немы гостына^{1/}, — причмокнул Шмыга, вставая из-за стола. — Може, мы и завтра придем?

— А що, и придем, — согласился Пистоля. — Чуеш, мешумед?^{2/}

— Я не мешумед, — глухо отозвался дядя Нема.

— Ты, Грицько, от Хрыста не видрикайся, — наставительно погрозил пальцем Пистоля. — Бо як мы вас, жывидив, ризаты будем, вси воны, и жинка твоя, — он махнул рукой в сторону спальни, — пойдуть в пекло, а ты просто в рай. А за то, що мы тебе спаслы вид пекла, ты нам завтра зробиш халу.

1/ угощение (укр.).

2/ выкрест (идиш).

— А що, вин зробить, — поддержал Шмыга и, добродушно пощекотав у дяди Немы впалый живот, вперевалочку вышел вслед за Яблонским и Пистолей.

Как только хлопнула входная дверь, дядя Нема, подойдя к окну, осторожно, через щель между занавесками, проследил, как Яблонский и полицаи по мокрой от недавно закончившегося дождя дорожке быстро пересекли двор, открыли калитку и вышли на пешеход. Когда они скрылись из виду, он с облегчением вздохнул и направился в спальню к жене.

2. КИНО

Когда мать учителя Льва Исаича Сигала, у которого Лучко когда-то кончал четырехлетку, провела полиция в горницу, учитель сидел на корточках перед диваном и помогал жене одевать маленькую дочку, которая, вырываясь от избытка живости на свободу, весело колотила отца обеими ручками по лицу.

— Ах, ты разбойница! — смеясь, говорил Сигал и ловил маленькие ручки.

Увидев Лучко, он побледнел. Только вчера взяли десять молодых евреев "для ремонта дороги на Дежарню", и никто из них не вернулся домой. Он спросил, что взять с собой. Его ведут на работу? Нет, ответил Лучко, они ненадолго и тут рядом.

Они вышли и направились через площадь. Посреди площади на высоком помосте, оставшемся от недавнего митинга, у жовто-блакитного прапора, стояли на варте два юнака в казацкой одежде, при саблях. Кругом толпилось много молодежи с желто-голубыми стричками на блузах и мерезанках. Из соседнего городского сада доносился бойкий фокстрот, слышалось шарканье ног на танцплощадке, веселое взвизгивание.

На Еврейской улице, так же как и на площади, было празднично и многолюдно, ходило много пьяных. Настроение толпы было благодущное.

— Ось, вже одного пархатого ведуть! — говорили люди при виде Сигала, которого вел полицейский. — Куды ты його, бандюгу? — весело спрашивали в толпе.

- Военная тайна, — важничая, отвечал Лучко.
- Мабуть, золото ховав?
- Да видкиль у нього золото? Якись учитель!
- У кожного жйда золото пид матрасом е...

Лучко с Сигалом миновали чайную, костел и подошли к замку, где возле машины их уже ожидали немец-оператор, гестаповец, Пистоля и полицай Онищенко с лопатой в руке. Потом подошел Шмыга с Вайнером и хаззаном. Все вместе спустились к реке. После дождя на леваде остались большие лужи, от земли и воды тянуло холодной свежестью. Оператор расставил треножник и стал навинчивать камеру.

Вайнер, высокий холеный старик, еще сохранивший сочность лица и губ, одетый со старомодной аккуратностью, в жилете, из-под которого свисала цепочка от часов, стоял, опустив голову, медленно вкручивая резиновый наконечник трости в мокрую траву. Седоволосый полный хаззан нервно потирал руки. Оператор завел пружину до отказа.

— Ну, Лейба, мовчы, не дышы, — сказал Шмыга и расставил евреев по росту. — Внукам на память, — добавил он.

Оператор махнул рукой, гестаповец взял дощечку с надписью: "Унтерменшен"^{1/} и номером. Оператор отснял дощечку и сделал серию кадров.

— А зараз потанцюем, — сказал Шмыга, подбадривающе подмигнув евреям.

Вайнер и хаззан, переглядываясь, неуверенно переминались с ноги на ногу и тревожно вертели пуговицы на жилетах.

— У них сегодня день постный, — разъяснил Пистоля.

— День свячений, — уважительно согласился Шмыга. — Им не можна танцювать, треба им держать спокой. Треба им...

— Вас ист дорт? Нох ланге?^{2/} — нетерпеливо перебил его оператор. — Ун дизен вег!^{3/} — добавил он, показав на Сигала. — Нур ди альтен!^{4/}

— Яволь, — отозвался Пистоля, который был в австрийском плену и хорошо понимал по-немецки. — Ну, так что? — сдвинув брови, посмотрел он на стариков.

1/ Недочеловеки (нем.).

2/ Ну, что там? Долго еще? (нем.).

3/ А этого убрать! (нем.).

4/ Только стариков (нем.).

— Мы можем свадебную, — глухо проговорил хаззан, оглядываясь на Вайнера.

Вайнер кивнул.

— Ди хасене от гевейн ин казарме...^{1/} — неуверенно, надтреснутым старческим голосом начал хаззан, и они с Вайнером неловко затопали на месте.

— Эх, скучно, — широко зевнул Шмыга. — А ну, вжарь про Ицика! — и, вынув губную гармошку, заиграл веселый фрейлехс.

Ин Румынье
Из трактир.
Тринкен-минян
Махн мир.

Ай-та-тири-тири-дай!

Ай-та-тири-тири-дай!

Ицик немт
А глейзл вайн,
Ицик вылт
А шикер зайн.

Ай-та-тири-тири-дай!

Ай-та-тири-тири-дай!

В Румынии —
Трактир.
Там мы молимся
И пьем.

Ицик берет
Стаканчик вина,
Ицик хочет
Пьяным быть.

Старики прыгали, заложив под мышки пальцы, уцепившись за жилеты; подтяжки отстегнулись и тоже подпрыгивали.

— Дубль! — приказал оператор.

Гестаповец снова подставил дощечку с надписью и номером, оператор отснял ее, и опять старики стали плясать и петь про Ицика. Наконец Вайнер первым выбился из сил и остановился, захлебываясь от кашля. За ним остановился и хаззан. Оба тяжело дышали и ловили воздух ртом; рубашки взмокли и прилипли к телу, губы посинели, щеки обмякли.

— Лоз зай аусруен^{2/}, — сказал оператор. Длинным ногтем он поднял крышку аппарата; она не поддавалась. Тогда он достал из кармана маленький перламутровый ножичек, вскрыл камеру и вынул отснятую пленку.

В это время по дороге застучала подвода, за которой бежал привязанный гнедой однолеток.

^{1/} Свадьба была в казарме... (идиш).

^{2/} Пусть они отдохнут (нем.).

– Добрый день, панове! – крикнули с подводы.
– Добрый день, – отозвался Шмыга. – Звидкиля?
– Та ж з Летичеву.
– Що наторговалы?
– Тпру! – натянул вожжи крестьянин. Он слез с подводы и подошел поближе. – Да ось купив хомутов. А що у вас трапылося?

– А у нас жыды танцюють.
– Да ну?! – присвистнул крестьянин, но тут же осекся, заметив гестаповца.

Старики все еще дышали тяжело, со свистом.
– Употели, хухемы^{1/}, – сочувственно вздохнул Шмыга. – А з ох ун вей!

Он взял стариков за болтавшиеся подтяжки и подвел к луже.
– Будь ласка, ребе. Будемо тринкен^{2/}.

Он подтолкнул стариков за шею на четвереньки. Оператор снова зажжужал камерой. Крупный план: евреи пьют воду, при каждом глотке их бороды коротко дергаются.

– Ну и кино! – ухмыльнулся крестьянин.
Кончив пить, старики продолжали стоять на четвереньках, не зная, можно ли им встать. С их бород стекали струйки воды.

– Шнайден^{3/}! – приказал оператор, готовясь снова снимать.
Шмыга, подмигнув Пистолу, вынул из кармана большие овечьи ножницы и, приподняв Вайнера за бороду, отрезал ее лесенкой.

– Ха! – тяжело усмехнулся крестьянин.
Шмыга взял хаззана и точно так же лесенкой отрезал бороду.
– Ди брукке^{4/}! – скомандовал оператор.

Шмыга приказал всем евреям (он поманил к себе и Сигала) на четвереньках построиться в ряд посреди лужи и встал на спину крайнего, Вайнера; Лучко подал Шмыге руку и повел его, как водят человека, идущего по рельсам.

– Ту-ту-ту! – весело загудел Шмыга и подрыгал коленками, изображая паровоз.

Все рассмеялись. Даже оператор усмехнулся этой неожиданной выходке.

1/ мудрецы (идиш).
2/ пить (идиш).
3/ резать (нем.).
4/ мост (нем.).

— О, украишиер хумор^{1/}! — одобрительно воскликнул оператор.

Шмыга шутя прогулялся несколько раз по “мосту” взад и вперед и по знаку оператора с залихватским видом спрыгнул на землю. Оператор, довольный полученными кадрами, сворачивал съемку.

— Ну що? — сказал Пистоля, глядя на евреев, которые должны были стоять на четвереньках, — може, мы их отпустим до дому, к Хайкам? А, Шмыга?

— Нехай соби идуть, — добродушно махнул рукой Шмыга.

— Але я бачу, вони так напылыся, що ледве теплы. Може их довезты до дому? — сказал Пистоля, кивнув Шмыге на Сигала. — Гей, селюк! — крикнул он крестьянину. — Довезеш жыдив до дому?

— На що вони мени здалися? — отозвался крестьянин. — Кони присталы, а тут жыдив возыты! Да нехай вони соби тут подыхають!

— А ну, распрягай! — приказал, подходя к нему, Лучко.

— Да ты що, здуриив? — озлобился крестьянин, хватая вожжи и собираясь хлестнуть лошадь.

Шмыга и Лучко, грубо оттолкнув крестьянина, быстро распрягли лошадь. Селянин, бормоча ругательства, отошел в сторону, все еще не понимая, что они задумали, но предпочитая не связываться ни с полицией, ни с гестапо. Пистоля подошел к оператору и что-то ему сказал; тот сразу оживился и одобрительно закивал:

— О я, я! Натюрлих! Вундербар! Вайскопф!^{2/}

Пистоля поманил к себе Сигала, быстро обшарил своими веселыми глазами его тощую длинную фигуру, посеревшее худое лицо, очки на длинном носу, сутулую спину человека, привыкшего сидеть за письменным столом.

— Слушайте! — вдруг обрадовался Пистоля, обращаясь ко всем. — Да ось же у нас лошадь молодая, неуставшая! Добра жыдивська лошадь! Так нехай жыдив вона и везе!

Он подтолкнул Сигала к подводе, и Лучко запряг его между оглоблями. Шмыга подошел к Вайнеру и знаком приказал ему

^{1/} украинский юмор (нем.).

^{2/} О да, да! Разумеется! Превосходно! Мудрая голова! (нем.)

влезть на подводу; тот с трудом поднялся и взобрался на нее. Хаззан встал и поплелся вслед за Вайнером.

— А ты куда? — строго спросил Пистоля. — Тебе команда была? Ты здесь останешься, понял?

Хаззан повернулся, все больше бледнея.

— Ты плохо пел, — сузив глаза, продолжал Пистоля. — Копай себе могилу!

Хаззан взял у полиция лопату; руки у него сильно дрожали, и всего его знобило. Он начал копать, успокаивая себя тем, что это просто очередной трюк для кино.

— Эх, не умеешь ты копать, — покачал головой Пистоля — Сразу видно белоручку. А вы поезжайте, — обернулся он к подводе и помахал рукой. — Щасливой дороги!

Сигал поднатужился и двинулся. Лучко шел рядом с ним, точно вел его под уздцы. Машина с оператором медленно двигалась впереди. Селянин, боясь, что эти шутники куда-нибудь завезут его подводу, а потом бросят, шагал с разнузданной лошадей сзади, браня про себя и евреев, и полицейав.

Пока шла ровная дорога, у Сигала хватало сил везти подводу, но как только начался подъем к замку, учитель почувствовал, что начинает задыхаться. Он остановился передохнуть. Лучко, закипая злостью, приставил к его животу пистолет:

— Ну, Лейба! На гору не выедешь, то я тебе застрелю!

Сигал собрал все силы и, наклонившись всем корпусом вперед, натянул веревки, продетые у него под мышками; волосы падали ему на глаза, так что он видел перед собой только бульжик. Машина продолжала медленно ползти перед ним в нескольких шагах, и оператор все продолжал снимать.

Тем временем на обрыве возле замка, с которого хорошо была видна левада, их уже ожидала толпа гуляющих. Лучко с готовностью объяснял каждому, что здесь происходит. Понурая фигура сидевшего на подводе старого еврея, с обезображенными остатками бороды, с лицом и одеждой, забрызганными грязью, вызывала у толпы злорадную усмешку. (Когда-то, до революции, Вайнер владел огромными фруктовыми садами на окраинах местечка, и каждую осень до самых морозов шли на Дежарню обозы с его яблоками, и, хотя после этого при советской власти он был в "лишенцах" и время его богатства давно миновало, об этом богатстве все равно помнили.)

Был смешон и Сигал со своими сползающими на кончик носа

очками, которые он ежеминутно поправлял. Двое пацанов бежали за ним следом, распевая веселую дразнилку:

Ехал Фима
До Ерусалима.

Возок скрегоче,
Фима регоче.

Какой-то добродушный низенький мужичонка шел сбоку от учителя, заглядывая ему снизу в лицо и поддерживая его:

— Ну, що ты, Лейба? Давай! Давай!.. Ось уж полгоры осталось!.. Чого ты?

Когда же учитель останавливался, чтобы передохнуть, мужичонка вздыхал и махал рукой:

— Эх, ты слабак!.. Плохая лошадь!..

Сигал тянул изо всех сил, но после первого разворота дороги, огибающей замок, только еще начинался самый крутой подъем. Он все больше задыхался. У него подкашивались колени, дрожали ноги, грудная клетка разрывалась от боли, веревки впивались в плечи. Он думал о своей маленькой дочке, о жене, чувствовал, что не сможет дойти, и плакал. Слезы текли по его лицу. Наконец он совсем выдохся и остановился.

— Да ты що, Лейба?! Ты ж мужык! — подбадривал его мужичонка, заметив слезы.

В это время снизу раздался выстрел: убили хаззана. Сигал вздрогнул и сильно потянул, но он сумел пройти всего лишь несколько шагов; потом голова у него закружилась, и он упал. Сочувствующий мужичонка сбегал в соседний дом за ведром воды и окатил его. Сигал передернулся, поднялся на четвереньки и снова повалился. Лучко вынул пистолет, нагнулся к лежащему навзничь учителю, приставил пистолет к затылку и выстрелил. На булыжник потекли струйки крови.

Как только раздался выстрел, часть толпы точно водой смыло. Но остальные продолжали стоять, с безразличным любопытством разглядывая труп, как это бывает при дорожных авариях.

— А ну, Гриць, или как там тебя, — повелительно крикнул Лучко крестьянину, — распрягай свой фазтон!

Селянин помог освободить тело учителя от веревок и оттащить его в сторону.

— А ты чего расселся? Слезай, иди домой! — махнул полицей Вайнеру.

Вайнер сполз с подводы и стал подыматься в гору. Он шел еле-еле, согнувшись, покачиваясь; подтяжки болтались между ногами. Оператор, повернув камеру, стал снимать Вайнера.

Тем временем селянин, воспользовавшись тем, что на него никто не обращает внимания, быстро запряг лошадь и погнал ее прочь. Чтобы не столкнуться снова с полицией, он свернул на боковую дорогу и выехал из местечка с противоположной стороны.

ГЕТТО

1. "ЭКСПРОПРИАЦИЯ"

*(свидетельские показания Н. М. Шехтмана, счетовода,
1902 года рождения, жителя Чернополя)*

... 13 июля 1941 года, через пять дней после прихода немцев в Чернополь, состоялся митинг украинцев, на котором было решено евреев лишить всех прав и отнять у них имущество. В тот же день взяли трех евреев, заставили пить из лужи, как скот, и все это снимали для кино; потом им отрезали бороды, двух убили, а третьего отпустили домой с позором. Многие евреи, опасаясь погрома, в тот день сидели взаперти или прятались в кукурузе. Вечером я вышел посидеть на крыльце. Мимо шел Яблонский и сказал: "Тикайте, жыды! Бо Ферштейн^{1/} вам лекций бильше читать не буде".

На другой день первый приказ — евреям носить на спине и на груди "латы" — желтые шестиконечные звезды. Второй — всем мужчинам ходить на работы — ремонтировать шоссе. Стали брать заложников и требовать контрибуцию — полмиллиона. Потом приказ: выбрать сто человек молодых гнать обоз к фронту; евреи догадались, стали прятаться в кукурузу; кого полиция поймали — угнали, никто не вернулся.

^{1/} один из первых комсомольцев Чернополя (прим. автора) .

Стали приходиться в еврейские дома, кто хотел, оскорбляли и грабили. Взяли отца Ферштейна и заставили его съесть горшок кала из уборной. Могли убить, как убили Симхе Фурмана или глухого сапожника Буму Тойбера за то, что он не хотел сдавать по реквизиции свой велосипед. Это было такое время, когда каждый делал с нами что хотел. Поэтому, когда евреев заставили копать ямы, ставить столбы и тянуть проволоку для гетто, евреи делали это без сопротивления: они даже думали, что за оградой им будет спокойней.

12 сентября дали приказ: перейти в низину, где были худшие дома, а еврейские дома наверху заняли украинцы — это называлось "экспроприация". На сборы евреям дали всего два часа, так что мало что можно было унести с собой. Еврейские дома раздавались бесплатно, а если кто-нибудь хотел разобрать и перевезти дом, он должен был заплатить 300 марок. И многие украинцы приезжали, покупали, разбирали дома и настроили себе в селах свои. Также растаскивали плиты с еврейского кладбища себе на леги и дорожки, и заставили евреев разобрать старую синагогу, а камни ее продавали украинцам для их хозяйственных нужд.

Всеми делами в гетто заправляли полицаи, их было 120 человек. Каждое утро они приходили с резиновыми шлангами в гетто и собирали на работу. Немцев в местечке было четыре человека: комендант Кепке, комиссар по заготовке зерна и два солдата нестроевой службы. Когда, еще до гетто, юденрат пожаловался Кепке на грабежи и насилия, Кепке ответил, что он не хочет вмешиваться в старые счеты евреев и украинцев.

Гетто было расположено в районе Раковой улицы, рядом с базаром, и было видно через проволоку, как продавали яблоки, молоко, сметану. Евреи припадали к колючей проволоке и глотали слюну. Им давали только по сто грамм хлеба, а кто работал в карьере, еще добавляли похлебку из кукурузной муки. А старики и дети не получали ничего. Сначала украинцы из сел и предместья приносили на обмен продукты — брали за это золотые вещи, пуховые подушки, одежду. Когда вещи кончились, никто не приходил. Не было чем топить печку. Иногда полицаю можно было сунуть простыню или одеяло, и он мог пропустить сходить за дровами. Весной начался голодный тиф, ноги у всех были опухшие. Всю траву объели на территории гетто. Люди стали умирать...

Подпись: Шехтман.

2. БАБКА ГОРПЫНА

До войны я дружил с Тимко Волощуком. Он жил в предместье в голубой мазанке в три окна, с тощим отцом и тощей матерью, которые при мне всегда молчали, точно немые.

Зато их бабка Горпына, которую Волощук вместе с женой вывез откуда-то из-под Винницы, маленькая и шустрая, как воробей, была словоохотлива не в меру. Мягкая, певучая, украинская речь выливалась из нее без остановки, обращенная ко всему, что было перед ней: к людям, к животным, к неодушевленным предметам. Зимой ее обыкновенно почти не было видно: то она уезжала куда-нибудь на богомолье, то сидела у себя в уголке за печкой. Летом же бабка с утра до вечера копошилась в огороде, и однажды случайно я подглядел и подслушал целую огородную мистерию.

Бабка вприпрыжку притащила ящик с капустной рассадой, поставила его на грядку и стала креститься на церковь:

Дай же, Боже, день добрый!
Щоб моя капусточка приймалась
И в головочки складалась.

Она схватилась за голову, затем ударила себя по ляжкам и пропела:

Щоб моя капусточка
Была у корня коренистая,
А из листу головистая.

Приседая к земле:

Щоб не росла високо,
А росла широко,

Придавив землю коленом:

Щоб была туга
Як полено.

И, посадив рассаду, в конце грядки положила крашеное яичко, прикрыв его большим горшком.

За бабкой по пятам ходил внук лет пятнадцати, сын Волощука, брошенный его первой женой. Никто в местечке не звал его по имени, звали его просто "хлопец". "Хлопец" был умственно отсталым и страдал ночным недержанием мочи, и, чтобы избавить дом от зловонного запаха, Волощук летом выгонял "хлопца" спать в клюну. Бабка лечила его травами и заговорами и таскала в церковь на молебны в надежде, что это поможет. "Хлопец" охотно пил святую воду и съедал перевязанную ниткой колбасу, но, когда бабка принуждала его помочиться на забитый в землю возле ворот осиновый колышек, он нападал на бабку, колотил ее, а после падал на землю, бил себя кулаком в грудь и причитал: "Га-а-д я! Га-ад! На кого руку поднял? Кого ударил? Хоть бы меня кто-нибудь стукнул!" Так он причитал и бился до тех пор, пока не приходил отец и не хлопал его по затылку. Тогда его рыхлое лицо с тупым красным носом и косыми заплывшими глазками расплывалось в блаженной юродивой улыбке, и он засыпал.

Когда нас перевели в гетто, Волощуки переехали из предместья в один из еврейских домов. Бабку Горпыну они бросили в старой хате вместе с "хлопцем", вероятно, для того, чтобы избавиться от его зловонной мочи. Не знаю, где была бабка в последние месяцы; кто-то говорил, что она ездила в монастырь, чуть ли не в самую Почаевскую лавру лечить "хлопца". По крайней мере, мы увидели ее только ранней весной, когда она вдруг появилась у ограды гетто.

На ней было старое вытертое плюшевое пальтецо, из-под платка смотрел маленький остренький носик, посиневший от холода. В худеньких ручках она держала бутылку, заматанную почти до самого горлышка чистой белой тряпчочкой.

— Ой, жиденяточки, — быстро начала она своим певучим голоском, — да що це трапылося? Да ось вам бульбочка, да ось вам огирки, а це вам свята вода, — добавила она, разматавши тряпчочку, — бо яка буде хвороба, то немає ничего лучше.

К тому времени мы уже обменяли на продукты все, что у нас было, и никто из сел и местечка к нам больше не приходил. Начинался голод. Мы взяли и "бульбочку", и "огирки", взяли и святую воду, чтобы не обидеть бабку.

На следующий день она пришла вместе с "хлопцем". Бабка быстро семенила впереди, а за ней внук нес большую корзину. Так она стала приходить два-три раза в неделю. Вартовые полицейские смотрели на нее сквозь пальцы: в местечке бабку давно уже считали "божевильной"^{1/}, к тому же, она пользовалась своеобразным уважением, так как лечила травами и умела заговаривать грыжу.

Но вскоре об этих посещениях узнал зять, очевидно, ему проболтался кто-то из вартовых. Придя в ярость оттого, что бабка таскает еду в гетто, не принося ничего взамен, он взял бабку из предместья к себе и запретил ей выходить на улицу.

Но по вечерам, когда богомольный зять, надев отглаженный костюм с модными широкими лацканами и примазав бриолином свои реденькие волосики, отправлялся в церковь, бабка ускользала из дома. Она шла задами и огородами, и далеко минув главную улицу, выходила к реке, где начиналась ограда гетто.

Из гетто нам хорошо было видно церковь на бугре и дорогу, поднимающуюся к ее воротам. Мы узнавали Волощука по его смиренно согнутой спине и по тому, как он где-то еще на середине бугра, еще далеко от церкви снимал шляпу, становился на колени и долго стоял так, опустивши голову.

Тем временем бабка Горпына по узкой тропинке спускалась к гетто с противоположной стороны. За ней шел "хлопец" с корзиной в руках. Она отдавала нам еду, раздавала просфорки, бумажные иконки и полуграмотные бумажки с молитвой "Живые помощи"; никто ни разу не посмел от них отказаться. Потом она садилась на камушек, подпирала сухоньким маленьким кулачком свою подбородок и говорила:

— Кушайте, кушайте, жиденяточки.

"Хлопец" тоже садился на камушек и повторял:

— Кушайте, кушайте, — и при этом глупо улыбался, показывая свои кривые и редкие зубы.

К концу службы они уходили.

Наступила Страстная неделя. В пятницу, когда крестный ход

1/ "тронутой" (укр.).

с плащаницей и черными хоругвями обходил церковь, Горпына принесла нам целое ведро картошки и сушеный шиповник (шиповник пошел доктору Лернеру в лазарет) и обещала прийти завтра.

В субботу весь день около церкви толпились парубки в мереханках, с красными поясами, с палками в руках, пришедшие дежурить у гроба. Вечером они жгли костры. Горпына не пришла. Мы решили, что ей не удалось улизнуть, оттого что зять, как это ни странно, остался дома.

Наутро по всей округе громко и радостно звонили колокола. Церковь была окружена женщинами, пришедшими святить пасху. Священник в праздничной белой ризе, окруженный высокими крестами и многоцветными хоругвями, вышел на паперть. Мы ждали, придет ли Горпына. Ее не было. Потом по каким-то темным слухам нам стало известно, что Волощук, узнавши, что бабка по-прежнему таскает из дому еду евреям, сильно побил ее; она слегла, стала все больше хиреть и больше уже с постели не вставала.

3. ГОЛЕМ

Магарил сотворил "сонный вопрос" и получил с неба следующий ответ в алфавитном порядке: "Ата бра голем девек гахомер в-тигзор зедим хаваль торфо исраэль" (Ты создай Голема из глины и уничтожишь злонамеренных терзателей бедного Израиля).

Из манускрипта XVIII века

Семья переплетчика Билека в начале войны застряла в Киеве, куда жена повезла детей на каникулы. Как это часто бывает с одинокими людьми, потерявшими собственных детей, Билек привязался к нам и собирал нас около себя до последнего дня гетто.

Каждый вечер, когда взрослые возвращались с работы в карьере, я брал с собой Риву, и мы шли к Билеку. Его дом был уже битком набит нашими ребятами. В маленькой комнате с низким потолком в дождевых подтеках стоял дряхлый стол, над которым нависал абажур медного цвета с унылыми кистями. На подоконнике лежали древние книги в тисненых золотом переплетках. Билек, сняв пыльную телогрейку, разливал нам по стаканам кипяток, чтобы согреться, садился под медный абажур и начинал свои бесконечные рассказы. Самой любимой была история Голема.

Это был медный робот, но каббалист равви Иегуда Лива бен-Бецалел по прозвищу Магарил из Праги вдунул в его ноздри дыхание жизни. И дал ему имя Иосиф, что значит: да будет еще вслед за ним. И стал он одним из людей. Только в одном Голем отличался от нас: точно Адам, он не знал ни сомнений, ни страха.

— Да, Магарил был великий ученый, — говорил нам Билек, глядя на нас своими добрыми, чуть косящими глазами. — Он был механик, математик и знал много языков. В одной старинной книге он прочитал, что с помощью магического шарика можно оживить Голема. Вот такого шарика, — и он доставал из кармана и показывал нам маленький синий шарик.

— А что мог делать Голем? — спрашивали мы у Билека, не сводя глаз с шарика.

— Он охранял гетто, таскал камни для постройки стен. У него была очень большая физическая сила.

— А что он мог еще?

— Еще? Когда на Великую Лятницу готовили погром, Голем пошел и всех разбросал, всех разметал, многих убил, и погрома не было.

И я смотрел на загадочный шарик и слушал синие сны Иегуды, и видел тонкие сильные пальцы; всю зиму они чертили синие линии, запутанные, как улицы Праги, а весной стали вбивать медные гвозди в медное тело Голема. В открытые окна влетало недоброе веселье колоколов, зацветала бархатная верба, и по кривым улицам Праги водили деревянного осла, на котором сидел кроткий Иисус, и каждый старался дотронуться до святого осла, чтобы получить отпущение грехов; и солнце, как огромный медный колокол, висело над Прагой.

А по утрам на ратуше кричали петухи, и город просыпался и распахивал двери; только шесть ворот гетто всю неделю оста-

вались на запоре. А когда синие сумерки повисали на колючих шпилях соборов, евреи в гетто пугливо молились у медных семи-свечников, а реб Иегуда ковал Голема; он слушал упреки колоколов и ковал Голема; он слушал молитвы евреев и ковал Голема; а когда на кривые улицы Праги вышел Христос, он забил последний медный гвоздь в медное тело Голема.

И в тот день кричали и стонали колокола, и Христос, плотник из предместья, вышел на кривые улицы Праги босой и с крестом на плечах; и двенадцать плечистых рыбаков шли позади молча; а по бокам бежали, кричали, кривлялись и колотили Его люди в желтом, обряженные под иудеев, а Он все спотыкался и падал, и колокола стучали в свои медные груди.

А сзади шли слепые и глухие, бесноватые и уроды в богатых шелках, а за ними люди в черном и стучали в черные барабаны, и рычали почерневшие от ярости колокола.

А затем шли сапожники (цех сапожников) и несли "ухо Малха" на длинном ноже, а за ними шли кожевники (цех кожевников) и несли петуха апостола Петра, и горшечники — тридцать серебряников Иуды, и аршинные ржавые гвозди, и трость, и белого ягненка, и ошалевшие пономари качались на медных колоколах.

А когда Христос совсем упал, закричало сразу много женских голосов, и кто-то всхлипнул в толпе: "Вот, что о н и сделали с нашим Господом!" — и тогда зачем-то побили ряженных иудеев, а потом побежали в гетто бить настоящих. И тогда из восточных ворот гетто вышел Медный Человек...

И мы слушали затаив дыхание, а когда рассказ доходил до того, что как "Голем всех раскидал, всех разметал", мы в восторге вскакивали с мест. Ведь мы были детьми гетто, и глядя на то, как Билек шагает по комнате, вскидывая время от времени свои сильные руки, мы думали, что душа Магарила, пережив множество новых рождений, переселилась в Билека, и теперь перед нами сам создатель Голема, который нас всех освободит.

Когда мы выходили на улицу, уже приближалась ночь. Гетто пряталось в густой темноте, и только вдоль речного берега всегда была видна высокая колючая ограда гетто, сторожевая будка и фигура часового, ходившего взад и вперед. Мы бежали в свои нетопленые дома и, укрывшись с головой одеялом и свернувшись калачиком, чтобы быстрее согреться, засыпали. Во сне мы видели, как могучий Магарил с развевающейся от ветра длинной седой бородой, держа в сильных руках тяжелый молот, бьет молотом

по наковальне и как огромный Голем, сверкая на солнце медными доспехами, тяжело ступая и сминая все на своем пути, выходит из ворот гетто прямо на полицаяв. И мы спали спокойно.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

1. В "СЕКРЕТЕ"

(Свидетельские показания Н. М. Шехтмана)

...21 сентября 1942 года был Йом-Кипур. На другой день рано утром, еще только начало светать, я вдруг проснулся от гудка машины. Я подошел к окну и увидел, что ворота гетто широко распахнуты и множество полицаяв с автоматами толпится у варты и на площади. Недалеко от нашего дома стоял грузовик, а возле него — Пистоля, Вайнер и гестаповец. Пистоля что-то приказывал Вайнеру. Я перешел на другую сторону, в кухню, откуда была хорошо видна дорога перед гетто, и увидел, что вся дорога забита подводами, на которых сидят селяне.

Тогда я почувствовал, что это конец, и начал будить своих. В доме вместе со мной жили еще три семьи: Роза Гитерман и ее старая мать, портной Нухем Шор со своей больной женой и Эйда Корецкая с грудным ребенком. Мы сообща еще с лета начали строить "секрет" — двойную стенку, соединяющуюся с горницей через подкоп в подполе. Мы все поспешно оделись, взяли ребенка и спрятались в "секрете".

Оттуда нам было слышно, как отъезжал грузовик, потом плакали и кричали женщины, и шарканье ног: мимо прошла колонна евреев, три тысячи человек. Потом сразу же заскрипели подводы. В наш дом зашли какие-то люди. Мы слышали, как они нагружали на подводу наше имущество. Один из них сказал: "А що? Не пропадаты ж добру".

Потом все уехали. Стало тихо. Но мы все равно боялись говорить друг с другом, а вдруг услышат. Мы ждали ночи. Хотя мы и не знали, что будем делать дальше. Мы не имели никакого представления, что сделалось с теми, кого увели, одни мы во всем гетто или еще есть другие такие же "секреты", сняли совсем охрану или нет, как мы выйдем, что мы будем делать дальше, куда нам пойти?

Прозвонили в колокол в церкви, и так мы узнали, что уже шесть часов. Тут вошли в дом двое. Из их разговора мы поняли, что они хотят выставить оконные стекла для себя. Они искали хорошие, целые стекла. Закончив работу, они уже собрались уйти, и вдруг у нас заплакал маленький ребенок. Мы все оцепенели.

За стеной тоже какое-то время была мертвая тишина. Потом голос сказал: "Тут жиды. Поклич полицью". Прибежал полицией Онищенко, стал стрелять в секрет, и нам пришлось выйти.

Когда мы проходили через гетто, солнце еще не село. Везде виднелись следы погрома: все двери были распахнуты настежь, валялись перья от подушек, фотографии. Нас привели в костел и заперли там. Ночью никто не мог спать. Утром стали приводить все новые группы евреев, которые, как и мы, пытались спрятаться в секретах или подвалах. Из них отобрали трудоспособных (в их число попал и я) и увезли в летичевский рабочий лагерь.

Подпись: Шехтман.

2. СЫН АТАМАНА

На рассвете 22 сентября у ворот гетто стали собираться мещане и селяне окрестных сел, дознавшиеся еще вчера от полицейских о предстоящем расстреле. Как только колонна евреев вышла из ворот, толпа хлынула в гетто и рассыпалась по опустевшим домам. Люди нагружали на подводы стулья, одеяла, подушки, посуду, рылись в тумбочках, ворошили белье, шарили в подполь-

ях; брали даже мелочи, гвозди; некоторые мещане с мешками приходили по нескольку раз.

В это же время один из больших задерненных оврагов у самой дороги на Русановцы оцепили полицаи. Внизу еще с вечера были вырыты три широких ямы. Сначала на грузовиках привезли детей, расстреляли и свалили в первую яму. Подошедшие позднее женщины из колонны забросали убитых детей землей. Затем расстреляли женщин и стариков, зарывали мужчины. Наконец убили мужчин, забрасывали сами полицаи. Лучко пристреливал раненых.

В полдень работа была закончена, но вечером ивановецкие селяне случайно обнаружили первый еврейский "секрет". Пришлось снова поставить охрану и на следующее утро прочесать все гетто. Обошли каждый дом, обшарили все леги и чердаки, простучали все стены и действительно нашли несколько "секретов", в которых евреи пытались укрыться от расстрела. Самая большая группа, в их числе раввин Корецкий с большой синагогальной Торой, была найдена в подземелье, откуда шел давно уже обвалившийся подземный ход к замку. К обеду работа была закончена. Пистоль, швырнув на всякий случай в подземелье несколько гранат, снял охрану, распорядился евреев запереть в костеле и направился в управу. Но у него было еще одно важное дело, и по дороге он сделал крюк на Еврейскую улицу, где в бывшем доме дяди Немы жил племянник Яблонского полицай Тарас Мусиенко. Мусиенко не вышел ни вчера на расстрел, ни сегодня на прочесывание гетто, и это было для всех неожиданно и непонятно.

После смерти отца, легендарного атамана, закопанного живьем еврейскими охранниками, Тарас Мусиенко старался пережить советскую власть как можно незаметнее, и если и позволял себе злобствовать по поводу "жидовской власти Кагановичей и Фурманов" на Украине, то разве только в очень тесном и надежном кругу. Зато младший брат его, Мыкола, был уж слишком горяч и неосмотрителен. Хотя Мыкола лучше всех однокашников закончил школу, и у него была явная тяга к учебе, и учителя говорили, что кому же и учиться дальше, как не ему, но он наотрез отказался поместить в районной газете отречение от семьи "ли-

шенцев”, как обычно делали тогда, и поэтому вместо университета попал на конный завод.

Однажды директор завода Миша-командир, проходя мимо бригады, спросил:

— Что вы тут роете? Яму для жмыха?

— Нет, яму для советской власти, — неожиданно для всех злобно отозвался Мыкола.

Вскоре после этого его арестовали, пытались привязать к делу о заражении лошадей, но Мыкола держался стойко, категорически отказался подписывать предложенные ему показания и погиб во время одного из чересчур энергичных допросов.

Узнав об аресте брата, Тарас Мусиенко впал в долгий и тяжелый запой. И чем больше они с Яблонским пили и раскидывали мозгами, тем яснее им становилось, что здесь донос и что, кроме пучеглазого фурмановского сынка Миши-командира, погубить Мыколу было больше некому. Далее говорили, что Мусиенко приходил к Мише-командиру с большим скандалом, и хотя трудно поверить, чтобы он мог решиться на это в такое опасное время, но соседи сами видели, как Мусиенко скатился с лестницы директорского дома — то ли от сильного пинка Миши-командира, то ли оттого, что был вдребезги пьян, а после долго еще продолжал плакаться под директорскими окнами.

— Подумать только! — возмущался Симхе, отец Миши-командира. — Этот петлюровец, этот погромщик еще посмел прийти к Мише с претензией. “Ни за что?”. Ни за что у нас никого не сажают!..

Он, Симхе, благоговел перед сыном, каждый вечер перед отходом ко сну призывал на него все древние благословения, он краснел от самодовольства, когда Миша, улыбаясь в сталинские усы, с боевым орденом на красной розетке во время демонстрации стоял на трибуне рядом с секретарем райкома Засядько; когда Румянцев специально приезжал из обкома, чтобы лично вручить Мише почетную грамоту в красной бархатной папке, а потом оставался у Миши обедать, и они с Мишей были на “ты”; когда сам Якир к десятилетию РККА прислал Мише поздравительную открытку. И как же он был поражен и убит, когда месяцем позднее ареста Мыколы Миша тоже был арестован и осуж-

ден как "пособник петлюровских бандитов, который своей вражеской рукой заражал конское поголовье и тем самым подрывал оборонную мощь страны".

...Дом, принадлежащий теперь Мусиенко, был добротный, под железной крышей, поставленный незадолго до войны. В комнатах многое оставалось, как при прежнем хозяине: стоял тяжелый буфет красного дерева, широкий фикус в кадке, двуспальная никелированная кровать с большими блестящими шарами, но образа, разрисованная петушками и цветочками пачь и печатный коврик с бритоголовым длинноусым казаком в желтом жупане и голубых шароварах, с бандурой в руках и надписью: "Чого ты на мене дывышься?" — уже придавали дому украинский вид. К тому же просторная прежде горница теперь была тесно заставлена множеством каких-то новых вещей — тумбами, тумбочками, скринями, комодами, зеркалами, диванами с пуховыми подушками и подушечками — частью привезенными из старой хаты, а больше — нахвачанными в еврейских домах. Посреди комнаты стоял большой круглый стол на одной ноге, за которым девочки-двойняшки с голубыми ленточками в рыжеватых, как у отца, волосах ели кашу из одной миски.

— Ах, вы, кошечки, — замурлыкал Пистоля, доставая из кармана две заранее припасенные конфетки и глядя девочек по волосам. — Ах, вы, щибетушечки. Да ось вам цукерочки. Де ж ваш тату?

— Ось там, — одновременно сказали девочки, показывая на спальню.

Мусиенко лежал на кровати с рушником на голове, бледный и опухший.

— День добрый. Першый раз у вас... — с быстрыми улыбочками заговорил Пистоля, осматриваясь кругом. — Ах, як же у вас свитло та й чисто. Якый у вас гарный бухвет. Якось на ем мережаночки, яка у вас жинка художныця. Чи не здужали вы?

— Зовсим хворый, — слабо отозвался Мусиенко.

— А може, з похмилля? — спросил Пистоля, наклоняясь к хозяину и приносиваясь.

Мусиенко промолчал. Пистоля стряхнул со стула кошку и подсел к кровати.

— Слушайте. Вас другый день немає. Може выйти вельчезна заковыка. Праци^{1/} багато. Зараз треба йихати в Летичев. Начальство турбується^{2/}. Га?

— А нехай воно соби турбується, — вдруг вмешалась жена Мусиенко, худая, рано постаревшая женщина, показавшаяся на пороге из кухни, где она месила корове. — Чого вы до мого чоловіка причепылыся? Да хйба вы не бачыте, що вин зовсим замученный з вашою працею?..

— Замкни пыск. Иди геть! — оборвал ее Мусиенко.

Жена замолчала, но никуда не ушла, а осталась стоять, прислонившись к косяку и не выпускающая из рук мутовки.

— Так що будемо робыты? — спросил Пистоля.

— Не знаю... Може завтра приду.

— А зараз — не придешь?

— Щось не добре мени. Голова дуже болыть.

— Так ни?

Мусиенко тихо простонал и отвернулся к стене.

— Так, так, — отметил Пистоля. Он поднялся и стал молча прохаживаться по комнате, заложив руки за спину. Прошелся несколько раз и остановился перед образами, украшенными длинными мережаными рушниками, пучками высохших васильков и голубками из цветной бумаги, вертящимися от каждого колебания воздуха.

— А може тоби жыдив жалко? — раздумчиво проговорил Пистоля.

Мусиенко ничего не отвечал.

— Ворогив жалко тоби, — с укором сказал Пистоля. — Скоро ж ты забудь, як Миша-командир твою же церкву закрывав, хрест з куполов збывав, як вин по мордам бузовав, села палыв. — Он опять подсел к Мусиенко и мягко положил ему руку на плечо. — Тарасе, спомяны, як батька закопалы. Як Мыколи вчытыся не далы. А за що?.. Який був хлопець! Убылы. Хто його убыв? Жыдивська влада. Жыды. Зараз их мало осталося. Завтра их зовсим не буде. Через то треба не завтра, а сегодня буты з нами.

— Гриха боюся, — не оборачиваясь, глухо отозвался Мусиенко. — Бог зна, що на том свити буде.

— Та хйба тут такой уж грих, що замолыты його не можна?

Мусиенко молчал.

1/ работы (укр.).

2/ нервничает (укр.).

— Да що вы до нього причепылыся со своею агитациею? — огята заголосила жена Мусиенко. — Що вы в його душу пхааетесь? Хреста на вас немає!

— Ну як же, як же, — язвительно подхватил Пистоля. — Який на нас хрест? Мы люди гришны, в нас розум тэмный. Мы будемо в пекли, а вас ангелы понесут на крылах просто в рай. Але як же це у тебе складаецься? Убываты — це грих, а грабуваты — можна? Га?.. Но що, мовчыш?.. Мовчыш! Ось зараз дядя Нема сыдыть соби в костеле. Одягайся, иды, видчиняй костел, нехай дядя Нема знов тут живе, а ты со своей фамилиею возвертайся в свою дырвяву халупу. Тилькы цей бухвет, цей хвикус, це лижко^{1/} з шарами, уси бебехи тут йому оставь. Ось тебе и буде Евангелия!.. Ну, так що?.. Пидеешь?

— Никуды вин не пиде! — запричитала жена Мусиенко. — Вин же не може, вин ледве дыше! Вы що, шуткуете? Хиба вы не бачите, що вин зовсим замученный! Дайте йому спокій!..

Так она причитала до тех пор, пока Пистоля не двинулся к выходу. В дверях он повернулся и угрожающе сузил глаза в сторону Мусиенко:

— И ще памятай: мы не в играшки граем!

Придя в управу, он засел за рапорт о “симуляции шуцмана Мусиенко”. Потом он подумал, погладил кончик носа и, зачеркнув слово “симуляция”, написал — “дезертирство”.

3. СЕЛЕКЦИЯ

Тем временем Шмыга, сменившись с дежурства, обедал в чайной в самой что ни на есть тесной компании. С ним были полицейай Лучко и две женщины — молоденькая медсестра Галя Шостак в модном жакетике с высокими плечиками и вышиваной хусточке и Хима Соломаха, рябая, толстая, вдовая акушерка. Шмыга, расстегнув полицейский мундир, но не снимая сдвинутой на затылок кепки-мазепинки, теленькал на балалайке:

Гей, козак соби гуляе,
Брязчать в його гроши,

1/ кровать (укр.).

Сам моторный, волос черный
И лицом хороший.

— Ой, Гарась Петрович, — ласкалась к нему Галя, с удовольствием глядя на его молодое круглое румяное лицо, на его приятное брюшко. — Який же вы моторный!

— А як же, — благодушно соглашался Шмыга.

В чайной было душно и не очень чисто, пахло кислой капустой и бензином, возле стойки с пивом толпились шоферы, и все столы были густо обсажены, но Шмыге с компанией накрывали особо, за занавеской. Буфетчица носила туда водку, закуски, тарелки с жареной рыбой, а хорошенький востроносенький Лучко ей помогал.

— Ну, годи, Лучко, годи, — ласково сказал Шмыга, отложив балалайку в сторону. — Сидай, а то вино прокисне, давай...

Он вынул длинный кривой нож, похожий на ятаган, и вспомнил им консервную банку, потом разлил водку по стаканам и кашлянул:

— Ну, будемо здоровы!

Дружно чокнулись, выпили и стали есть.

— А вчера, Гарась Петрович, — начала Галя, — мы в кино булы. Добрая картина була.

— М-м-на, — неопределенно прожевал Шмыга.

— Гарно живуть, ой, як гарно! Хоч бы годик так-то пожить, — вздохнула Галя.

— Де живуть?

— Да в Нимеччини.

— Я Нимеччину люблю, — мечтательно сказал Шмыга. — Файно живуть. Якы там дороги, зализныци. В кожном хаузе^{1/} фернзеер, — он описал руками форму и размер телевизора, — так можна аж пять картин за вечир побачыты на лижку лежа. Там кожный мужик як граф чи барон, пан на всю губу. Не то, що москаль. Москаль був поганый пан. Москаль величается, а ззаду видно, що Пархим.

— Пархим и есть, — рыгнул Лучко.

— Мени Пистоля казав, — продолжал Шмыга, — вин був в царськом плену, так у них срач краще кацапських хором. Московська изба, що вона? Бидненька тай поганенька соби. Не то, що наша хата — била тай чиста.

^{1/} дом (нем.).

— А жыдивський хойзель?^{1/} Смердючий, ни вишнячка, ни квіточков. Одна грязюка.

— Как свини жылы.

Разлили остатки водки, снова выпили и налегли на рыбу. Несколько минут все ели молча, опасаясь костей.

— А коло Русановцив що робыться, — опять заговорила Галя и вздохнула. — Сусидка бигала, тай каже: де жыдив побыли, другый день земля колыхається. Сусидка побигла, а я лякаюсь. Чи це правда, Гарась Петрович, чи ни?

— А хто його знае, рыбонька? — отозвался Шмыга.

— Сусидка побигла, а я не можу. Бо сердце в мени таке. Дуже я жаллива, Гарась Петрович. Мени всіх жалко, мени и жыдив жалко...

— Нашла кого жалеть, — поморщилась Хима.

— И маты мени так само каже. Но мени младенчиков жалко, дуже жалко. Маленькие они...

— Жалко у пчелки в жопке, во! — ляпнул Лучко и громко икнул.

— Опять упился! — заметил Шмыга. — Закусывай больше, дурашка.

Лучко в самом деле уже сильно развезло. Как обычно в таких случаях, вокруг началось сочувственное оживление. Хима, посмеиваясь, жала ему под столом колено, Галя пододвинула миску со шкварками.

— Да консерву ему подложи, — мигнул Шмыга. — А то совсем захмелеет и заснет. Слышь, Лучко, бабу проспишь.

— А он вчера в картине спал, — басом сказала Хима. — Тоже упился. Так храпел аж на всю залу.

— Дождется он, что Хима его бросит.

— Не бросит, — захорохорился Лучко. — Она по мне сохнет.

— Да уж, сохнет. Высохла вся, — сказала Галя и стала рассказывать, как Хима ездила к свекрухе в Винницу, где "зараз багато немецких офицерив, а вин, немец, дуже культурный, вин потом не пахне и як спить, то не храпе".

— Хйба вона з ними спала?! — присвистнул Шмыга, уставившись на Лучко.

— А вже ж що не спала! — басом хохотнула Хима и задорно подтолкнула локтем Лучко, который, делая вид, что ничего не

^{1/} домик (идиш).

слышит, озабоченно пытался вытащить пробку из бутылки красного вина. Шмыга отобрал у него бутылку и, зажавши ее между колен и ударивши по донышку, ловко выбил пробку:

— От-такички!

— Учись у старших, — сказала Хима и нежно потрепала Лучко за розовые ушки.

Тут в чайную вошел Пистоля.

— А, начальник! — обрадованно закричал Шмыга. — Садись! Садись! — и стал наливать ему вина.

— Не надо, — с раздражением отстраняя стакан, сказал Пистоля. — Пошли.

— Куда?

— Треба.

— Зараз?

— Ну, швидче, швидче. Нема часу, — нетерпеливо сказал Пистоля.

— И отдохнуть не дадут, — добродушно заворчал Шмыга, поднимая со стула свой толстый бабий зад. — Но ты смотри, чур не отбивай, — погрозил он Лучко. — А ты, рыбка, не давайся. Кыш його. Бо вин дуже ласый до чужой ковбасы. Ишь какой! Все по нем сохнут. Чуеш, Галю, не давайся! — крикнул он уже с порога.

— Тьфу! — с отвращением сплюнул Пистоля, когда они вышли на улицу. — Бигае як пивень коло курок. Напився. Зсранець!

— Ты що? Якась тебе муха покусала? — весело удивился Шмыга.

— Ходымо швидче. Поидеш в Летичев.

— Чому я? А Мусиенко?

— Вин не хоче.

— Ну и племянничек...

— Ну, швидче, швидче, — оборвал его Пистоля. — Начальство турбується.

Они торопливо пересекли площадь и направились к костелу. В костеле давно уже не служили. Кресты были сняты, окна защищены досками, на паперти росли лопухи, ограда сильно поредела. Возле калитки на бревнышках сидел Яблонский. При виде идущих он поднялся, по-стариковски растирая и поддерживая рукой поясницу, и, не замечая широкой улыбки Шмыги, повернулся к Пистолу.

— Був у Мусиенки?

— Був.

— Ну, як же ж?

— Не хоче, — сказал Пистоля и вынул рапорт.

— Та-ак...

— Ев бы кот рыбку, да в воду не хоче... — ввернул Шмыга.

— Замкни пыск! — цыкнул Пистоля.

Вартовые полицаи, отомкнув замок, с тягучим скрипом и лязгом раздвинули тяжелые двери костела. Внутри было темно, холодно, откуда-то дул сильный сквозняк, и прямо на полу сидели с полсотни грязных, мятых, давно не спавших людей, сбившихся в жалкую кучу.

— Ну, что, Богом избранные? — презрительно сказал Яблонский, оглядывая их измученные лица. — Где же вы были вчера? Прятались? Ну, ладно, — и он махнул Шмыге. — Давай. Только не тяни.

Шмыга приказал всем встать и построиться.

— Господа евреи! Панове жыды! — торжественно сказал Шмыга. — Начнем селекцию! Ты — направо, ты — налево. Ты, брюхатая, налево... Ты, малесенька, яка гарне-есенька, — ходы, ходы наливо. Ты, Ицык, направо... Ты, в капелюхе, ну ты, ты не я же, — направо. Ты, паниматка, наливо. А це хто? Твой внук? Ну и будь с тобою... Га, що я бачу?!.. Який бугай! Добрий буде робитнык. Тикай направо... А ты, який шкилет! — налево. Ты, старесенька, теж налево... Ну, швыдче, швыдче, не барысь...

— Я хочу налево, к маме... Я хочу умереть с мамой... — заплакала Поля Кригер.

— Ни, це нам не треба, ходи направо... Ты, ребе, налево, ты, пархатый, — направо... направо... налево.. и ты, и ты... направо... налево... направо... налево... налево...

Потом Шмыга поманил к себе Шехтмана, назначил его бригадиром ("ты будешь отаманом"), приказал составить список правого ряда и вышел. Шехтман обошел отобранных для рабочего лагеря, молча записал фамилии, потом сел и, не отрываясь, стал смотреть на выход.

В открытые двери было видно еще зеленую траву, растущую между плитами паперти, и запутавшиеся в ней ржавые скрученные листья. Длинная светлая полоса, идущая от дверей, прорезала тьму костела, отделяя ряды друг от друга. Было слышно, как вдалеке рычит машина, пытаюсь преодолеть крутой подъем, и как Шмыга негромко переговаривается с вартовыми полицаями.

Наконец, подъехал грузовик, крытый брезентом. Людей из

правого ряда усадили в кузов, два полица сели позади. Шофер завел мотор. Шмыга, взяв список, сел в кабину и захлопнул дверцу. Вдруг Поля Кригер с громким плачем и криком прыгнула с машины, упала, споткнувшись о валявшийся в траве кирпич, но тут же вскочила и бросилась в костел. Ее никто не задержал. В кузове сразу началось какое-то движение, крики, кто-то сильно забарабанил по заднему стеклу кабины. Шмыга высунулся в окно, лицом спрашивая Яблонского, ехать ли.

Яблонский подошел к грузовику и хмуро спросил:

— Ну, кто еще не хочет жить?

Дядя Нема, — это он стучал, — быстро заговорил, заикаясь от волнения и путая еврейские и украинские слова. Он просил оставить его с большой женой. Его выпустили.

— Кто еще? — спросил Яблонский.

В кузове молчали. Тогда Яблонский кивнул Шмыге, и грузовик тронулся.

Вартовые полицаи, подойдя с двух сторон, стали медленно сводить тяжелые двери костела.

Оставшиеся сидели на полу, многие плакали. Мать Розы Гитерман, которую отправили в Летичев, сошла с ума. С растрепанными седыми волосами и растерянным видом она спрашивала: “Роза, чего ты стоишь? Почему ты не закрываешь дверь? Нас же обворуют...” — и мочилась под себя.

К вечеру их всех расстреляли.

ЭПИЛОГ

История чернопольской общины, по всей вероятности, окончена.

Остатки ее рассеяны по разным концам России, несколько человек уехали в Израиль. В Чернополье же кроме Вайнера, Фройки Вулиса и Шехтмана, которому удалось бежать из летичевского лагеря в румынскую зону, живут еще человек тридцать евреев, вернувшихся из эвакуации или с фронта. Они ремесленничают, работают счетоводами на том же конном заводе, но большинство из них уже на пенсии; дети их, подрастая, уезжают учиться в боль-

шие города и больше не возвращаются, а сами чернопольские евреи живут скучно, серо, но они прикипели к своим домам и живут себе, живут...

Среди них есть один Фурман, — сын Мордхе, Файвуш. Ему повезло: фамильный дом, в котором когда-то помещался шинок, уцелел, и сапожнику с низины при новой власти пришлось уступить дом прежнему хозяину. Файвуш хлопочет о памятнике в Поповом яру, переписывается с евреями, живущими в Перми и Баку, деньги давно уже собраны. Но председатель исполкома ни за что не дает согласия, чтобы на обелиске было написано: "здесь покоятся три тысячи евреев...", настаивая, чтобы слово "евреев" было заменено словами "советских граждан". Файвуш упирается, пишет жалобы, и тяжба длится уже несколько лет.

В бывшем доме дяди Немы живет одинокая старуха, жена Мусиенко. Дочери-близнецы давно уже вышли замуж и уехали. О Мусиенко, после того как его забрало староконстантиновское гестапо, ничего не известно.

Миша-командир, Сульман, Линенко и все, прошедшие по делу о заражении лошадей, посмертно реабилитированы.

От Чорного я узнал о дальнейшей судьбе полицаев. Окруженные наступающими советскими войсками, полицаи вместе с немцами заперлись в замке и, вывесив на башне жовто-блакитный прапор, отстреливались до последнего патрона. В бою погиб бургомистр Яблонский, а Пистоля и Лучко попали в плен и были расстреляны по решению трибунала. Шмыга же, во время последнего боя отсидевшись дома, отделался заключением. Зэкам-евреям со свойственной ему добродушной общительностью он рассказывал, что он из того самого Чернополя, где жил "рабин" Самуил, на могилу которого съезжаются евреи со всех стран, рассказывал о чудесах "рабина" и о том, как они вместе с отцом горшечником нанимались сторожить еврейское кладбище и какой они там сохраняли порядок, особенно возле могилы чудотворца. Евреи верили ему, делились с ними посылками, и это помогло ему выжить.

Вернувшись через десять лет вместе с другими полицаями по амнистии, он снова поселился на Еврейской улице. Он сильно оплыл, полысел, на его круглом лице появился крепкий старческий румянец, но он все так же благодушен и безмятежен и по-прежнему любит "мясистые радости жизни". Жена его Галя

с возрастом стала сварливой и часто бранится с соседкой-старухой из-за прибитой кошки или раздавленной курицы.

— Немае в вас жалю, — плаксиво кричит она через плетень. — Як же можна так каличыты бидну тварыну? Що вона вам зробыла? Щоб вам руки покорчыло!

— Мовчы уж, псюха, — отвечает ей соседка. — Вы ж бандюги судимые! Сибиряки!

— А вы, — озлобляется Галя, уставив руки в боки и принимая боевую позицию, — вы на жывидыське золото соби два дома збудовалы (построили)!

— Ну и що, що жывидысько золото?! — кричит на всю улицу старуха. — Збудовалы! Так що? Але не судимые! Не судимые!

Владимир, 1977

И. Гиндис — врач-психиатр; в последние годы в СССР сотрудничал в еврейском Самиздате; его статьи по религиозным вопросам и "Библиография литературы о евреях на русском языке" печатались в журналах "Евреи в СССР" и "Тарбут" под псевдонимами А. Шойхет и др. В Израиле с 1977 г. Живет в Иерусалиме. Повесть "Хроника местечка Чернополь" — первое прозаическое произведение И. Гиндиса — опубликована в № 17 журнала "Евреи в СССР".

ВЛАДИМИР ГЛОЗМАН

СТИХИ

Разучившись читать, а писать никогда не умевши,
Возле неба, раскрытого настезь, стою,
Вижу — добрый мой ангел промчался куда-то весьма
озабоченный;
 Попрошу — может, вспомнит еще на обратном пути:
 Подари-ка мне книгу с большими красивыми буквами...

Очень тихая песня за форточкой,
Форточка за морем,
Море заперто в клеточки
Десять на десять,
Четверка потоплена...

Как давно я иду по обещанной местности —
Ни конца и ни края урокам словесности.

авг76

Что ж, праздный юноша, поверь
Речам мудрейшей
Из твоих богинь
И край земли
Незамедлительно покинь.

Бог есть любовь мирская.
Я любил,
Состарился —
И Бог меня простил.

авг76

Когда всерьез, без чуриков, умру,
Оставь мне, Господи, два глаза с проводами,
Чтоб я глазел, чтобы глазел годами
На суету встающих поутру.

На их рожденья, свадьбы, разговоры,
Я вижу в том расчетливый пасьянс
И для себя хочу оставить шанс
Узреть конец разлуки и раздора.

Я верую, прохожих веселя.
Но вдруг поганками покроется земля,
Осыплется — а радуги не будет.

Тогда, о Боже, опусти мне веки
И оборвать контакты не забудь,
Чтобы на этот раз уже навеки.

май76

Неровный шум глубокого туннеля;
Последний взгляд последний ловит контур.
Но глупо ухмыляется зверек,
Не понимая повода к веселью,

А эта птица бродит по шоссе:
Неровен час — и выключит машину,
Неровен два — и опрокинет знак,
Вещающий о левом повороте.

Взгляд опускает желтый светофор —
Он эту пакость издревле задумал:
Хоть пять минут, а некоторый тумол...
И красноватый вскидывает взор.

июнь77

ЭЛЕГИЯ

В похоронном оркестре,
Где просто все, ясно, уныло,
Вдруг веселая нота — живая, чужая — раздалась;
Но сердито взмахнул демиург-дирижер
И не стало ее.

А тромбон, оторвавшись
От гула и воя,
Побежал, обещал говорить про иное;
Но зарыли на добрую память холодное тело,
А душа отлетела.

Возвратилась в пустое,
В гармонию всех и ничьей
Вечной памяти Что же немило
Злому племени добрых людей,
И чего оно ждет у могилы?

Нынче дождик.
Вчера было ясно и завтра опять будет ясно.
А оркестр все также играет —
Согласно, безгласно.

фев78

Сняв комнату близ нового престола,
Мы шли вдоль Тибра. Мы проголодались
И ели хлеб. И будучи несъеден,
Он вдруг вселился прочно в наши вещи,
И выброшен был только после вспышки
Внезапного сознания, что приходит
В часы любви, в минуты дальних странствий,
В секунды отречения от престола.

март78

МАРИНА БЕРГЕЛЬСОН

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

(Написано холодной ночью в Бирмингеме)

Бог благословил меня,
У меня есть бабушка и дедушка,
Которые очень любят меня,
Они говорят, что я радость их жизни.
И я люблю их, кажется —
Больше всего на свете,
Но — какое чудо, подумайте,
Когда я родилась, были еще живы
Мой прадедушка, мудрый старик
С нежными голубыми глазами,
И прабабушка, гордая мать семерых детей,
Правительница дома, грозно взиравшая на мир
Из-под тройной короны кос на голове.
Она упиралась уверенным ртом
В кружевной воротник,
Она крутила своим отлаженным миром,
Как хотела, и бессловесно подчинялась
Своему нежному мужу с тихими глазами,
Проводившему дни за чтением Талмуда.
Тогда это называлось любовью.
А дети играли на скрипке, ходили в школу,
Ходили в хедер, и некоторые писали стихи.
В резких окриках матери, напряженно прислушиваясь,
Они старались различить тихий голос отца,
Звучавший приказом, и ни у кого
Не было кризиса личности.
Тогда это называлось семьей.
Бог благословил меня,
Только я не могу спать,
Когда в зимней комнате горит огонь,
И бросает красные отблески на потолок,

Сужая живое пространство.
Многие считают, что это уютно,
Печь в комнате, но я не могу
Спать в отблесках огня,
И мерзну, и надеваю на себя
Старый свитер, и славлю,
Карабкаюсь в ледяную постель,
Изобретателя центрального отопления.
Бог благословил меня,
Когда, взявшись за руки,
Мои прадедушка и прабабушка,
Гордая мать семерых детей,
И оба — какое счастье —
Были еще живы, когда я родилась,
Нетвердыми восьмидесятилетними шагами
Шли в печь. И поднялись ко мне
Дымом сожженной любви. Благословил?

1977

РАССТАВАНИЕ

Уходит зима, оставляя
Привкус холода на губах.
Вот и перезимовали мы вместе
На долгой стоянке.
Стоял снег,
И можно уже открыть дверь дома.
Но что нас держало вместе,
Кроме теплых стен?
И что нам останется
Кроме привкуса холода на губах?

1975

ЧАЕПИТИЕ

Время просыпается между пальцами,
Как песок, помнишь? у моря,
На котором ты никогда не был.

Раздавленное пирожное на тарелке,
Чай с листьями мяты,
И стол — холодный камень,
Наш мир, купленный на недолго.

Официантка со значением двигает стул,
Надо идти, на улице ветер,
У нас впереди вся вечность,
И нет даже завтрашнего дня.

1976

ОБЪЯСНЕНИЕ

День начинается в прозрачных сумерках в Иерусалиме,
Лиловеют покатые нежные горы,
Идем, посмотри на дерево у камня,
Оно стояло здесь всегда.
Наклонись, вот цветок розоватый и серый,
Не рви его, оставь, дай лучше руку мне,
Я буду у тебя всегда, как это дерево у камня.

1977

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

ААРОН АМИР

МЕЧ И СКРИПКА

Я часть всего, что я встречал на своем веку.

А. Теннисон

ВСТУПЛЕНИЕ: СИОНСКАЯ БОЖЬЯ МАТЕРЬ

Жарким осенним утром я сидел в Эйн-Кереме, под Иерусалимом, в гостинице монастыря Сионская Божья Матерь. Мужчина пятидесяти двух лет. Смешно, однако факт.

Я прибыл сюда вчера под вечер и намерен оставаться тут дней семь, может быть, девять. Во всяком случае до тех пор, пока не закончу работы, ради которой приехал.

Место, можно сказать, вполне подходящее. Условия, как принято теперь говорить, соответствующие. Воздух чист и прозрачен. Птицы щебечут в ветвях деревьев, мухи не особенно досаждают, постояльцев немного, монахини, в основном пожилые, некоторые в будничном платье, некоторые в праздничных одеяниях, тихо и скромно занимаются своими делами.

Стол, на котором я пишу, сделан из простого дерева, верх — из шести плотно пригнанных друг к другу досок опирается на два чурбана, а складной стул, на котором я сижу, жесткий и корявый, высохший от времени, весит килограмма два, никак не меньше — для складного стула порядочно. Над головой у меня

А. Амир (р. 1923, Ковно) — израильский писатель. В Израиле с 1935 г. Был членом редколлегии газеты "Миврак" (органа Лехи); в 1948—50 гг. вместе с И. Ратошем, а с 1950 г. самостоятельно издавал журнал "Алеф" (орган Кнааним); в 1959—77 гг. — редактор основанного им литературного и общественно-политического журнала "Кешет", давшего путевку в жизнь многим современным израильским писателям и поэтам (см. "Сион", 16, 1977). Публикуемые (с незначительными сокращениями) воспоминания Амира напечатаны в его сборнике "Проза" (Иерусалим, 1977).

одна из десяти арок прочной строгой галереи, вся галерея тянется метров на двадцать пять. Пол выложен из прямоугольных неотесанных камней, молочно-белых и красновато-коричневых. Напротив — стена, окружающая монастырские земли, толстая зубчатая стена, сложенная из камней и оштукатуренная, а местами просто бетонная. Между стеной и тем местом, где я сижу, кусок сада, шириной всего несколько метров. Он не может прельстить взора ни красотой своей, ни цветом, ни ухоженностью, хотя в нем много всяких деревьев, пальм, декоративных растений, старых виноградных лоз, цветов, кустов, вьюнков. Колонны галереи и серая стена, кустики, свисающие со стены, создают такой покой и безмятежность, что и рокот работающего неподалеку отсюда трактора, и звук самолета в вышине (который едва ползет по небу), и утренние хлопоты монахинь, занятых уборкой комнат и приготовлением обеда, и даже звон гигантских, никак не меньше двух с половиной метров высоты, часов, стоящих в гостиничном холле и расчленяющих время на часы и четвертушки, — все это будто погружено в неведомую, непрерывную и окончательную неподвижность.

Моя комната точно такая же, как и все комнаты здесь. Убранство ее по-монашески просто (если не сказать, аскетично). Маленькое двустворчатое окно в глубокой нише выходит на восток, подоконник большой и широкий. Я разбросал на нем вчера книги и документы, которые привез с собой для работы, и на нем же я просидел почти до полуночи, занятый чтением. Светила полная, круглая луна, и Эйн-Керем лежал передо мной, словно выпуклый ковер, усеянный огнями, полный голосов и юношеского веселья, звуков аккордеона и поп-музыки, лая собак и шума автомобильных моторов. Когда я уже выключил свет, собираясь лечь спать, я увидел в окне прекрасное пальмовое дерево и порхавшую вокруг него летучую мышь — она питалась еще не созревшими плодами.

В столовой, которая расположена на первом этаже, я вдруг увидел вчера во время ужина Шмуэля Гролента. Я не поверил своим глазам — он, причем не один. Я подошел поздороваться. Да, это действительно был он. Оказывается, он иногда приходит сюда поесть. В любую свободную минуту он отправляется в Иерусалим — писать виды города. Останавливается в гостинице “Терра-Санта”, в деревне, а сюда приходит только поесть иногда. Словно ища спасения, он сказал, что спешит и не может остаться со мной.

Шмуэль Гролент — муж Авивы, сестры Элияху Бейт-Цури*. Я изредка, случайно, встречаю их — раз в несколько лет.

Поразительно, сказал я ему, что в первый же вечер своего пребывания здесь я увидел тебя. Ведь в сущности я приехал сюда, чтобы написать об Элияху Бейт-Цури.

Об Элияху, которого вот уже тридцать лет нет в живых. Об Элияху, которого в последний раз я видел почти тридцать один год назад.

Удивительно, сказал Шмуэль Гролент. Я расскажу об этом Авиве, добавил он, подымаясь, чтобы уйти.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВОЮЮЩАЯ СЕМЬЯ

Авиву и Шмуэля я повстречал в последний раз не так давно неподалеку отсюда. Это случилось на Хар-Герцль, на кладбище, куда привезли останки Элияху Бейт-Цури и его товарища по борьбе и гибели Элияху Хакима. Привезли, как принято говорить, на вечное успокоение. После того как египетские власти передали в руки Цахала гробы с их телами, прежде покоившимися на еврейском кладбище в квартале Басатин в Каире. Церемония состоялась на линии размежевания между армиями Египта и Израиля, на западе Синайского полуострова, неподалеку от Суэцкого канала. Это было сделано "в рамках взаимопонимания", последовавшего за войной Йом-Кипур. Гробы передали на исходе дня. После долгих часов ожидания в раскаленной пустыне. Мы видели все происходившее по телевидению и услышали находившуюся там Авиву Гролент (Бейт-Цури). Потом передали краткое интервью с Узи Орнаном, профессором языка иврит в Еврейском университете, школьным товарищем Элияху и нашим общим товарищем по идее. Он произнес несколько фраз. Рут Эльдан, наша соседка и подруга, смотревшая вместе с нами телевизор, воскликнула: "Ой, это Узи Орнан! Его прятали у нас дома, после того как похитили из больницы "Данцигер". Его ранило при взрыве в мастерской подпольной организации.

* Э. Бейт-Цур и Э. Хаким — члены Лехи, 5 ноября 1944 г. убившие в Каире (Гелиополис) английского дипломата лорда Мойна. Убийство вызвало бурю возмущения в Англии и осуждение в ишуве, в т. ч. со стороны Эцеля. Однако мужественное поведение обвиняемых на суде произвело большое впечатление во всем мире. Оба были казнены.

Назавтра Рут Эльдан взяла нас в своей машине на кладбище, и там, в ужасной послеполуденной жаре, я стоял вместе с женой возле кипариса и обливался потом. Главный раввин Цахала прочел молитву "Эль мале рахамим". Бывший главный раввин Цахала, рав Шломо Горен, а теперь главный ашкеназийский раввин Израиля (в свое время этот молодой талмудический гений, как говорили тогда в Иерусалиме, тоже поддерживал подполье советами и убежищем) произнес прочувственную речь.

Геула Коэн, член Кнесета, пламенный диктор подпольного радио (арестованная мандатными властями, она была брошена в женскую тюрьму в Бейт-Лехеме, а затем похищена из больницы товарищами по Лехи), прочла стихи Ури Цви Гринберга.

Выступил Ицхак Шамир (Езерницкий), член Кнесета, а некогда—член центра Лехи, принимавший участие в планировании ликвидации лорда Мойна*. Эта операция была осуществлена теми двумя парнями, чьи тела теперь доставили сюда на вечное упокоение. Ицхак Шамир тоже отсидел немалый срок в британской тюрьме. Загримированный под старика, он был схвачен во время большой облавы, которую англичане провели в Тель-Авиве летом сорок шестого года.

Со страстной речью выступил доктор Исраэль Эльдад (Шайб),—худощавый человек с седой шевелюрой, тонким голосом и глазами, мечущими искры. Доктор Шайб был некогда членом центра Лехи и идейным руководителем движения. Это его перо создавало организации популярность и в значительной мере формировало ее идеологию. После убийства лорда Мойна в Каире он был схвачен и брошен в тюрьму с переломанными ребрами: пытаясь скрыться от англичан, он выпрыгнул из окна третьего этажа тель-авивской гимназии "Бен-Иегуда", где тогда преподавал.

Около десяти тысяч человек прибыли на эту траурную церемонию, состоявшуюся спустя тридцать лет после того, как двое парней взошли на англо-египетский эшафот (если бы они были живы, то были бы сейчас моими ровесниками — как и тогда, когда они были живы!). Господин Шимон Перес, министр обороны, тоже почтил церемонию своим присутствием так же, как и господин Игал Алон, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел (на следующий день британские газеты, члены парламента и государственные деятели крайне резко отреагировали

* Во время второй мировой войны лорд Мойн был верховным комиссаром по делам британских колоний на Ближнем Востоке.

на это). Тридцатью годами раньше Игал Алон в качестве командира Пальмаха* руководил войной, которую освятили "национальные учреждения ишува", войной против "отступников" (пострадал тогда только Эцель; Лехи предупредил, что на каждый удар ответит двойным ударом, и, поскольку его люди были известны как дикари, слова их приняли всерьез и оставили Лехи в покое).

В этой войне, длившейся один сезон и поэтому названной "сезоном", пали сотни членов Эцеля, став жертвой пыток и расправ, проводившихся по указу их братьев и ненавистников из Хаганы. Часть из них была передана во время "большой ликвидации" в руки оккупационных властей, которые бросили их в тюрьмы, а через некоторое время отправили в концентрационные лагеря на африканский континент. Но членов Лехи, в частности, тех двоих, которые убили лорда Мойна и ждали суда в Каире, в их собственной стране осуждали только на словах. Они сделали свое дело, и их будущее было теперь обеспечено: через несколько месяцев им предстояло покинуть мир живых и войти в историю.

Присутствие на траурной церемонии двух министров с их свитами не было неожиданностью. Было вполне естественным встретить здесь и людей, с которыми я был знаком в те дни или несколько позже. Когда образовалось государство, они вышли из подполья: бывшие командиры и рядовые Эцеля и Лехи и те, кто сочувствовал и поддерживал — кто на словах, а кто и делами, — и участвовал в событиях тех бурных лет, окончившихся с уходом англичан из страны. Здесь был Элияху Ланкин, ныне иерусалимский адвокат, а тогда один из командиров Эцеля. Высланный англичанами в Африку, он спустя некоторое время прославился своим рискованным побегом из британского лаге-

* Пальмах — ударные отряды Хаганы (еврейской самообороны, ставшей ядром израильской армии — Цахал). Эцель — боевая организация сионистов-ревизионистов (партии Жаботинского), возглавлявшаяся Д. Разиэлем, а позже М. Бегинном и выступавшая за активные боевые действия против британских оккупационных войск; в январе 1944 г. провозгласил "восстание против британского владычества" и провел ряд боевых и диверсионных операций (взрыв гостиницы "Царь Давид" в Иерусалиме, штурм крепости-тюрьмы в Акко и др.); самораспустился в 1948 г. и вошел в Цахал; на основе Эцеля было создано движение Херут. Лехи — сокращение от "Борцы за свободу Израиля" — боевая организация под командованием Авраама Штерна (Яира), отколовшаяся от Эцеля в 1940 г. и выступавшая за еще более активные действия против англичан (убийство лорда Мойна, убийство графа Бернадотта);

ря в Эритрее. Ланкин командовал операциями Эцеля в Европе в июне сорок восьмого года, а во время первой передышки появился в стране в роли командира злополучной "Альталены"*.

И Шохана Разизель, заслуженная воспитательница, вдова Давида Разизля, командира Эцеля. Давид Разизель сформировал в тридцать седьмом — сорок первом годах облик этой организации и погиб в Ираке в июне сорок первого года во время операции по захвату иерусалимского муфтия Хаджа Амина. И Яков (Юэль) Амрами, в настоящее время владелец издательства, а в прошлом возглавлявший службу информации Эцеля. И Иосеф Дар, ныне страховой агент в Иерусалиме, один из тех восемнадцати борцов за освобождение, которые были взяты в плен во время неудачной атаки на железнодорожные мастерские в Хайфском заливе весной сорок седьмого года. Двадцать пять их товарищей поплатились тогда жизнью за это нападение, а восемнадцать оставшихся в живых были приговорены британским военным судом к смертной казни, которая впоследствии, в результате отчаянного давления подпольных организаций, была заменена пожизненным заключением. И Егوشа Козн, который в самые страшные для Лехи дни, когда был убит главный командир и идейный руководитель движения Авраам Штерн (Яир), а все активные члены организации схвачены и заключены в лагерь Мизра, почти в одиночку продолжал борьбу с захватчиками, пока сам не был арестован в сорок третьем году в Иерусалиме. Переодетый арабом, с пистолетом, спрятанным в складках одежды он сидел в иерусалимском кафе, когда пришли его арестовать. Через некоторое время он стал одним из основателей кибуца Сде-Бокер и близким доверенным лицом Бен-Гуриона. И Нахум Клейн, владелец типографии, в которой несколько лет подряд печатался альманах "Кешет", а в прошлом, — что выяснилось, кстати, лишь

после провозглашения независимости влилась в Цахал. В течение некоторого периода ("сезон" — лето 1946 г.) после взрыва Эцелем гостиницы "Царь Давид" сотрудничество между еврейскими боевыми организациями сменилось резкой враждебностью, доходившей до преследования и выдачи членов Эцеля и Лехи силами Пальмаха; с 1947 г. сотрудничество возобновилось. Отголоски событий "сезона" можно встретить во многих воспоминаниях о том периоде (Ш. Авигур "С поколением Хаганы", М. Бегин "Восстание", а также воспоминания А. Амира — см. ниже).

* 22.6.48 силы Цахала по приказу Д. Бен-Гуриона потопили судно "Альталена" с оружием для Эцеля; это было одним из проявлений скрытых противоречий между тактическими линиями официального сионистского руководства страны и националистического крыла сионизма ("ревизионизма").

здесь, на этой церемонии, — тоже член Лехи. И мой друг Барух Надель, журналист, известный своими язвительными нападкамии на израильское общество, который когда-то “тайком” бежал из Пальмаха в Лехи; мы близко сошлись, работая вместе в редакции “Молния”, ежедневной газеты, которую Эцель регулярно выпускал с момента выхода из подполья до сентября месяца, когда был убит граф Бернадотт, посредник ООН в ближневосточном конфликте. После этой акции Лехи была окончательно ликвидирована израильским правительством.

Всех этих людей и многих других, кого бывшие “эцелевцы” патетически называли “воюющей семьей”, я ожидал увидеть на этой церемонии. Можно было предположить, что это будет неофициальный съезд, проверка участников Сопrotивления, куда придут и их близкие, поскольку каждому лестно разделить с двумя казненными ту честь, которую их страна решила, наконец, воздать им, пожертвовавшим свою жизнь ради ее существования и свободы.

Покидая кладбище, мы прошли мимо грузного человека с пышными усами, в очках и светлом костюме. Это был Натан Елин-Мор (в подполье — Гара). Когда-то член центра Лехи (в то время, “когда лира была лирой”, за его голову было обещано пять тысяч), а затем, в первый год существования Израиля, — герой суда в Акко. Руководство борцов за свободу Израиля видело в нем наследника Яира.

В прошлом он был символом “раскола”. Теперь, оставшись, подобно многим присутствующим, наедине с памятью тех двоих, подвиг которых так долго замалчивался, он казался выходцем из далекого прошлого — отшельником среди отшельников.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: И ВНОВЬ УВИДЕЛ И ПОНЯЛ, ЧТО СЕРДЦЕ МОЕ ТРЕПЕЩЕТ

После окончания траурной церемонии мы вернулись домой в Тель-Авив. Мы устали и легли спать раньше обычного. Но в эту ночь я так и не сумел заснуть.

Бывает бессонница, изматывающая человека и путающая его мысли. Но бывает бессонница другого рода, которая, напротив, помогает ухватить мысль и уточнить детали, которая обостря-

ет видение и позволяет сосредоточиться. Именно такой была эта ночь. Такую бессонницу с благодарностью вспоминаешь и назавтра, и еще много дней потом.

В ту ночь я явственно видел Элияху Бейт-Цура, он, как живой, стоял у меня перед глазами, я перебирал наши встречи и дела, все, что связывало нас на протяжении пяти лет — с шестнадцати до двадцати одного. Эти годы явились для меня порой формирования, а для него, как оказалось, они были последними годами жизни. И вспоминая его, я видел как живого и себя самого в те дни, и взвешивал все, что этим дням предшествовало и что случилось потом, я видел людей, места и вновь переживал события, которые определили мою жизнь, стали краугольным камнем моего мира, источником моих ценностей, моих воспоминаний — моим прошлым.

“И вновь увидел и понял, что сердце мое трепещет”.

Я не стану претендовать на то, что был самым близким другом Элияху. Все равно я знаю, что и до того, как раздались те выстрелы в квартале Гелиополис в Каире, и всегда потом он занимал место в моем сердце, и думаю, что он мог бы сказать то же самое обо мне.

“И вновь увидел и понял”, что переплетение нитей нашей жизни — его, оборванной палачом, и моей, тянущейся донине, — не случайно, что я — тот свидетель, в сознании которого, как в волшебном фонаре или как на цветном слайде, запечатлелись наиболее важные моменты судьбы целого поколения.

В эту минуту я понял, что, если существует дело, за которое я должен взяться, не мешкая, — и ради себя самого, и ради Элияху, и ради всех остальных, — так это собрать и записать все эти разрозненные и уже уходящие в прошлое события. Я понял, что должен сделать это как можно скорее. И будущая рукопись стала вырисовываться в моем сознании, подобно арабеске, линия за линией, виток за витком, складываться, словно узор мозаики, расти, словно здание, — в этот звездный час я познал вдохновение. И теперь, когда я пишу эти строки, меня не оставляет ощущение, что я возвожу здание согласно ясному и подробному, развернутому передо мной плану, хотя ничего подобного на самом деле нет. Мне кажется, будто я просто переписываю уже готовый текст или проявляю в темной комнате негатив фотографии, хранившийся с той ночи после траурной церемонии.

Утром я поделился обуревавшими меня мыслями с женой,

и она согласилась, что я должен немедленно начать писать. Мы обсудили, куда мне лучше поехать — в Цфат или Зихрон-Яков, а может, в Бейт-Янай, — чтобы ничто не отвлекало меня от работы. Должен признаться, что прошли недели и месяцы, прежде чем я сумел освободиться от разных текущих дел и собрался наконец позвонить в гостиницу монастыря Сионская Божья мать. Я заказал себе комнату, и так оказался здесь, в Эйн-Кереме.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ВОКРУГ ИСТОЧНИКА СВЯТОЙ ДЕВЫ

Восемнадцать лет своей жизни (с перерывами) я провел в Иерусалиме, начиная с того дня, как я окончил гимназию “Герцлия” и осенью сорокового года покинул родительский дом в Тель-Авиве, чтобы учиться в Еврейском университете на горе Скопус. Я поселился тогда на улице Гамидан в еврейском квартале Старого города. Я жил в комнатухе, за которую платил 50 агорот в месяц (сюда входил и керосин для лампы), площадью четыре с половиной квадратных метра. Она располагалась в углу просторного двора (“хакуры”) Баруха Дасы, владельца бойни, находившейся за Гив’ат-Царфатит, — усатого богатыря, который в молодости, вскоре после окончания первой мировой войны, вступил добровольцем в Еврейский батальон* и под начальством лейтенанта Жаботинского переправился на западный берег Иордана в районе Гильад (фотография лейтенанта в британской военной форме в полный — кстати, весьма небольшой — рост красовалась на почетном месте в “главной” комнате, которую занимала семья и в которой на ночь, если я не ошибаюсь, расстилали на полу восемь постелей). Этот самый Барух Даса позднее, в сорок восьмом году, вместе с другими мужчинами и подростками, был с позором изгнан из своего дома Арабским легионом, взят в плен к королю Абдалле и в том же районе Гильад переправлен на восточный берег Иордана, в крепость Мафрек.

* Одно из военных подразделений британской армии (другие — второй и третий еврейский полки, транспортный полк Сиона), — сформированное в августе 1917 г. по инициативе В. Жаботинского и Х. Вейцмана и, позже переименованное в 38-й полк королевских стрелков; полк воевал в Палестине и 28.9.1918 вошел в Иерусалим.

Те годы, что я провел в Иерусалиме, я считаю наиболее плодотворными (то есть самыми лучшими) в своей жизни. Я любил гулять по городу и его окрестностям — иногда в одиночестве, иногда вдвоем, иногда с компанией. В Эйн-Кереме мне почти не приходилось бывать, за исключением одного или двух раз еще во времена мандата и потом двух-трех раз в сорок восьмом году. Поэтому теперь, едва переступив порог монастырской гостиницы и разобрав вещи — бумаги и книги отдельно, бритвенные принадлежности отдельно — я тотчас вышел побродить. Через три-четыре минуты я оказался в центре деревни.

Здания были все те же, что свидетельствовало об их прочности и основательности, а сама деревушка напоминала какое-нибудь селение в Апеннинах, — несколько лавок, почта, прославленный венгерский ресторан, кафе "Джинджи", весь двор которого заполнен работами из школы Бецалеля, чайная и, наконец, художественная галерея Рут и Этьена Деббля, специализирующихся на израильских примитивистах и модернистах.

Расставшись с Этьеном, я побрел вниз по шоссе и вскоре добрался до источников, бьющих из скалы и известных под названием "Источника Святой Девы". Старая мечеть возвышалась неподалеку. В окружении новеньких нарядных домов она выглядела покинутой и печальной.

Я невольно вспомнил ту шумную жизнь, которая когда-то была ключом в Эйн-Кереме, в дни довольства и изобилия, когда сады ломились от слив и абрикосов, и всюду пестрели вышитые платья пышнотелых мусульманок и их юных дочерей. Молодые иерусалимцы целыми стаями слетались сюда в конце недели погулять возле источника и выпить чашечку кофе. И вдруг я сообразил, что сам однажды приезжал сюда с этой же целью вместе с Элияху.

Западная часть неба окрасилась в цвет расплавленного золота, который так любят иконописцы и поэты, — и я ускорил шаги, чтобы засветло вернуться в монастырь. Дорогой я припомнил во всех подробностях ту прогулку в один из субботних вечеров сорок третьего года.

Элияху жил тогда в бедном, тесном и темном доме своей бабушки в районе Абу-Бацаль (между Махана-Иегуда и Ромемой), возле сефардского дома престарелых. Сейчас я уже не могу вспомнить, каков был его "гражданский" статус. Сам я служил в Еврейской полиции и носил австралийскую шляпу с широки-

ми полями, которая дополняла форму полицейского и частенько прокладывала нам путь к сердцам дочерей Евы. Я числился за Иерусалимским батальоном и, начиная с первого августа сорок второго года, охранял мошав Атарот — по восемь часов в сутки, двое суток днем, потом двое суток ночью. “Казарма” батальона занимала весь третий этаж здания “Палестин пост”^{*} на улице Со-лель в Иерусалиме и на самом деле являлась почти официальным штабом местного отделения Хаганы. Нашим командиром был полный курчавый мужчина, известный впоследствии Хаим Цадок^{**}. Это он позже сообщил мне, что моя просьба об освобождении от службы удовлетворена — с первого марта сорок третьего года.

Пожалуй, стоит рассказать, каким образом я попал в батальон. То было время волнений и страхов, вызванных наступлением “Африканского корпуса” Эрвина Роммеля в Западной пустыне. Я жаждал исполнить свой патриотический долг — как того требовала обстановка, — и потому оставил выгодную и интересную работу в Эмек-Айон в Ливанской долине (этот район теперь принято называть Фатхленд), где тель-авивская строительная компания возводила укрепления для британской армии, а я был про-рабом на одном из объектов. Именно тогда я открыл для себя “еврейскую идею” и многие годы затем видел цель своей жизни в служении этой идее. Должен признаться, что она по сей день придает смысл моему существованию. В июле сорок второго наша крохотная молодежная организация, гордо именовавшая себя Комитетом сплочения еврейской молодежи, раскололась на несколько групп, каждая из которых занялась вербовкой новых сторонников. Тогда-то Бенъямин Тамуз^{***}, которому в то время было двадцать три года, присоединился к Пальмаху, а девятнадцатилетний Аарон Амир пошел в Еврейскую полицию, точнее, в Иерусалимский батальон, — главным образом ради того, чтобы иметь возможность постоянно общаться с тридцатичетырех-летним Уриэлем Шелахом (И. Ратошем)^{****}, своим духовным отцом и наставником.

Снова попав в Иерусалим, я по привычке снял себе комнату

* Так называлась раньше газета “Джерузалем пост”.

** Министр юстиции в правительстве И. Рабина.

*** Современный израильский писатель.

**** Создатель идеологии т. н. “кнаанизма”, главным в которой является утверждение, что коренные израильтяне (сабры) образуют новую, “ханаанскую” нацию, отличную от еврейской.

на улице Гамидан в Старом городе. На этот раз это был огромный полутемный зал, заполненный диванами, коврами, подушками и подушечками, в квартире пожилой бездетной пары — синьора и мадам Тяно. Он был портным, специализировавшимся в основном на заплатах, — маленький человечек, с прозрачным, словно восковой обтянутым лицом, жидкой седой бороденкой, тонким голосом и нервными движениями. Что до “мадам”, то по спине ее спускалась крашенная хиной коса, глаза у нее были черные, разбойничьи, кожа на лице желтая, словно потрескавшийся от времени пергамент, а язык ядовитый, как змеиное жало. Дом стоял на границе с мусульманским кварталом, и широкая терраса, уставленная огромным количеством цветов, выходила прямо на Храмовую гору, так что и Стена Плача, и мусульманские мечети были видны, как на ладони. Быть может, именно потому, что это была столь важная стратегическая точка, супруги Тяно оказались одними из первых жертв волнений второго декабря сорок седьмого года, которые последовали за решением ООН о разделе Палестины, которое повлекло за собой Войну за освобождение, которая привела к дальнейшим войнам, которым конца не видно. Синьор и мадам Тяно были убиты, — несмотря на то, что говорили между собой не иначе как по-арабски, а большинство их гостей — впрочем, немногочисленных, — были мусульманами.

Судьбе было угодно, чтобы спустя неделю или две после того как я поселился в квартире супругов Тяно (я платил им лиру в месяц), из Тель-Авива приехала моя “первая любовь”. Выйдя с последнего сеанса в кино “Эдисон”, мы распрощались на перекрестке улиц Яффо и Кинг Джордж с ее подружкой и остались вдвоем. Мы шли по улицам, затемненным в связи с военным временем, но залитым романтическим светом луны, в мое уютное гнездышко в Старом городе. Утром, после пылкой и страстной любовной ночи, я вышел на террасу умыться в тазу. Там меня уже подстерегала мадам Тяно.

— Послушай! — сказала она. — У нас тут не публичный дом. Хочешь развратничать — ищи себе другое место!

— Пожалуйста, — ответил я, краснея от злости и стыда. — Могу найти себе другую квартиру.

Не прошло и часа, как двое оскорбленных любовников покинули негостеприимный кров. Это напоминало изгнание Адама и Евы из рая, и тем не менее все произошедшее доставляло мне

какое-то странное удовольствие — гнев мадам Тяно был как острая приправа к наслаждениям минувшей ночи. Скрывая смущение за шуточками, Адам проводил Еву к автобусу кооператива “Эгед”, направлявшемуся в Тель-Авив, а сам, в форме полицейского и в шикарной австралийской шляпе, поспешил на остановку первого номера, который доставил его к жилищу друга и учителя Уриэля Шелаха. Поэт обитал в районе Шейх-Бадр, в западной части города (теперь здесь находится Дворец наций и Министерство иностранных дел). Дом этот стоит до сих пор, и в нем помещаются какие-то государственные учреждения. Мемориальной таблички я нигде не нашел.

После изложения и обсуждения сложившейся ситуации был найден удачный выход. Так как незадолго перед тем в квартире Шелахов освободилась одна комната, а супруги Шелах и их двухлетний Хаман не привыкли к такой роскоши, как две спальни, вторую комнату решено было предоставить в мое распоряжение. Я понял, что мое участие в квартирной плате несколько облегчит финансовое положение семьи. В комнате были кровать, стол, стул и лампа.

В тот же день я упаковал свои вещи в мешок из белой грубой ткани, распрощался с супругами Тяно и перебрался на новое место.

Я оставался квартирантом Шелаха до тех пор, пока не расстался со своей службой в Иерусалимском батальоне. Разумеется, я был не просто квартирантом. Наша дружба, которая завязалась в эти дни, для меня во всяком случае была необычайно ценна и продолжалась потом многие годы, выдержав не одно испытание. Я не сомневаюсь, что она наложила печать на все мои поступки и в значительной степени сформировала мои взгляды и вкусы.

Как-то раз, уже будучи опытным и невозмутимым полицейским, в один из чудесных — прохладных и ясных — зимних вечеров я зашел в кафе “Атара”. Внутри было натоплено, душно и шумно. Я подсел к столику, за которым расположились две воспитательницы детского сада — с одной из них я был знаком раньше, вторую видел впервые. Первая, Рина, тощая, чернявая девица, была старше меня лет на десять. А Дица, с которой я познакомился теперь, была маленькая кругленькая блондиночка, как выяснилось потом, разведенная, и старше меня всего лишь лет на восемь. Мы пили кофе и мило болтали. Я превзошел сам

себя по части остроумия, и все, что я говорил, было по достоинству оценено. Рина тоже не лезла за словом в карман и сопровождала свои шутки хриплым, дробным смехом. Одна только Дица курила сигарету за сигаретой, блаженно улыбалась и не отрывала от меня глаз, в которых я прочел явную благосклонность к своей персоне. А поскольку любовь не затрагивала интересов организации, я предпочел проводить ночи не на жесткой железной койке в своей комнатушке, а в мягкой, белоснежной, теплой постели Дицы.

И вот наконец я подхожу к той субботе в начале сорок третьего года, когда мы отправились на прогулку в Эйн-Керем. Утро этой субботы застало меня на вышеупомянутом любовном ложе. Около десяти в нашу комнату с опущенными жалюзи со смехом и громким ликованием ворвалась Рина и объявила пишущему эти строки и его Дице, что на улице чудесное утро и если мы сейчас не встанем и не отправимся с ней гулять, то она раздевается и присоединяется к нам. Не помню, почему мы не поторопились выполнить ее требование, она во всяком случае не стала мешкать и через минуту очутилась вместе с нами под одеялом. Я оказался стиснутым между двумя женщинами — одна, голодная и наглая, как уличная кошка, требовала своей доли мужской ласки, другая, только что, казалось, пресыщенная любовью, мягонькая и нежная, как котенок, тоже заявляла свои права на меня. Боюсь, что сейчас, спустя столько лет, я не смогу в точности передать свои ощущения во всяком случае я не стал вести себя как буриданов осел, а тотчас отыскал решение и оказался на высоте. Принцип этого решения можно сформулировать в следующих словах: "владей этой и с той не спускай руки своей, ибо благодаря уловкам выиграешь сражение".

Потом, когда мы немного успокоились, кто-то предложил вставать. Мы поднялись, счастливые и веселые, оделись, умылись, раздвинули жалюзи и воочию убедились, что на улице действительно великолепное утро. Мы выпили черного кофе с печеньем и, так как уже подошло время обеда, отправились в кооперативную столовую в здании Гистадрута (в то время очень приятное место). Там мы усладили свои души пищей и приятным легким разговором, а потом я встал и сказал, что если мы хотим сегодня пить кофе в Эйн-Кереме, то нам следует поторопиться, потому что по дороге нам еще предстоит захватить моего друга Элияху Бейт-Цури, который живет в квартале Абу-Бацаль.

Я не помню, что я сказал Элияху. Во всяком случае я вытащил его под каким-то предлогом из бабушкиного дома и представил моей Диде и ее подруге, поджидавших моего возвращения на лестнице на улице Яффо. Потом мы вчетвером отправились на остановку десятого автобуса, который ходил в Эйн-Керем. Подошел арабский автобус, мы влезли и поехали, а поскольку автобус был набит битком, нам пришлось всю дорогу стоять в проходе. Мы болтали и смеялись; наверно, наше приподнятое настроение передалось и Элияху, хотя, по правде сказать, он и сам любил пошутить и посмеяться и мог хохотать по любому поводу.

Наше появление в автобусе произвело впечатление. Возможно, причиной тому было несоответствие между нашим внешним видом и нашим произношением. Мы с Элияху всегда разговаривали между собой на том языке, который насмешники прозвали "ханаанским", но который на самом деле попросту является правильным ивритом. Мы умели произносить "алеф", "аин" и "хей" и делать разницу между "хетом" и "кафом", и даже между "шва-нах" и "шва-на", а в то время очень немногие из немногочисленного еврейского ишува взяли себе за правило говорить именно так. Для нас иврит был неким символом, который помогал нам держаться. Переход к такому произношению не был для нас труден — главным образом потому, что мы знали арабский и умели вслушиваться и повторять. Когда мы начали учиться в университете (а это было в сороковом году), мы оба выбрали своей специальностью иврит и ивритскую литературу, но и потом, вынужденные прервать свои занятия, мы имели достаточно возможностей совершенствоваться в языке.

Вот и теперь, в автобусе, мы обратили на себя внимание не столько своим шумным поведением, сколько именно обилием в нашей речи "аинов" и "алефов". Когда мы сошли на конечной остановке в Эйн-Кереме и затопали вниз по шоссе к источнику Святой Девы, кто-то отчетливо произнес за нашей спиной — то ли с издевкой, то ли с одобрением:

— Мустаарба! Арабизируются они, хотят походить на нас.

Мы оба — я и Элияху — невольно обернулись. Фраза принадлежала одному из двух парней в клетчатых костюмах и галстуках, с напомаженными бриллиантином курчавыми волосами, по местной моде того времени. Очень вежливо, но не без вызова, я бросил этим потомкам Авраама:

— Ла, я-аами, муш мустаарба — мустаабра! — то есть: — Нет, любезный друг, не арабизируются, а ивритизируются!

Мы с Элияху рассмеялись, а те двое не сказали ни слова. Но, как говорят англичане, “the point was made”.

Так, продолжая размышлять об этом разговоре, мы подошли к источнику, где нас ждали плетеные скамейки и крепкий-крепкий кофе.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: О ТАКИХ ВЕЩАХ НЕ ГОВОРЯТ

Не могу сказать, когда я впервые увидел Элияху или когда мы с ним познакомились. Возможно, я встречал его иногда по дороге в гимназию — я учился в гимназии “Герцлия”, а он — в гимназии “Бальфур” на улице Мазе. Может быть, встречал, а может быть, и нет. “Маленький” Тель-Авив, в котором мы родились и выросли и который по привычке продолжаем называть так по сей день, вовсе не был так уж мал. Во всяком случае не настолько, чтобы все его жители были знакомы между собой и даже не настолько, чтобы были знакомы между собой все гимназисты.

Помню, что нас познакомили в конце тридцать девятого года у Даниэля Элирама (тогда Дойча). Я был тогда учеником последнего класса, а Элияху готовился сдавать экзамены экстерном. Мне показалось, что мы уже встречались где-то раньше. Скорее всего, я помнил его с двадцать девятого июня тридцать восьмого года.

В этот день англичане повесили в Акко Шломо Бен-Иосефа. Он был первым казненным из еврейского ишува. Я думаю, что в трагической и весьма насыщенной событиями истории нашей страны эта дата является одной из важнейших, во всяком случае она не менее важна, чем 19 апреля 1936 года (в этот день разразились первые погромы 36–39 годов), или чем 17 мая 1939-го (день опубликования “Белой книги”), или чем 29 июля 46-го, названное “Черной субботой”*. 29 июня 1938 года явилось поворотным моментом в истории боевого подполья, определившим переход к широкой освободительной борьбе против державы-

* “Черной субботой” назван день, когда британские власти провели массовую облаву, в ходе которой были арестованы тысячи бойцов еврейской самообороны.

оккупанта (в духе манифеста Уриэля Шелаха "Наши глаза обращены к правительству". Год спустя он же сформулировал окончательно сложившиеся к тому времени принципы "ивритской" идеологии).

В начале июня этого года Шломо Бен-Иосеф вместе с двумя товарищами вышел из Рош-Пины в Галилее, имея твердое намерение, каким угодно образом взорвать тактику пассивной самообороны. До тех пор, несмотря на все зверства многочисленных арабских террористических банд, еврейский ишув блюл "святость оружия" и не позволял себе никаких ответных действий, уповая, с одной стороны, на добрую волю мандатных властей, а с другой, на совесть мира, хотя обе эти великие силы нисколько не торопились прийти на помощь. Шломо Бен-Иосеф решил подкрепить свое намерение конкретными действиями и обстрелял из засады арабскую машину. С профессиональной точки зрения операция была выполнена неумело и неэффективно, и все трое ее участников тотчас попали в руки палестинской полицейской разведки, были арестованы и предстали перед военным судом. Один был осужден на несколько лет тюрьмы, другой приговорен к пожизненному заключению, а третий, Бен-Иосеф, бывший инструктор Бейтара * в Польше, лишь год назад прибывший в страну, — к смертной казни. Все попытки — как здесь, в Палестине, так и в Англии, и в других частях света — помешать возникновению рокового прецедента оказались безрезультатными.

Не только политические соображения, но и желание внести раскол в еврейский ишув и настроить "левых" против "правых" заставили англичан прибегнуть к высшей мере наказания. Британское правительство полагало, что таким образом ему удастся уничтожить в зародыше еврейское освободительное движение.

Шломо Бен-Иосеф шагал к месту казни, высоко подняв голову и распевая "А-Тикву". Спустя семь лет точно так же взошли на эшафот в Каире Элияху Бейт-Цури и Элияху Хаким.

А в тот день, когда был повешен Бен-Иосеф, Элияху Бейт-Цури вместе с сотнями и тысячами других еврейских юношей и девушек, покинувших, никого не спросив, классы гимназий и профессиональных училищ, вышел на улицы Тель-Авива про-

* Молодежная организация сионистов-ривизионистов, впоследствии — молодежная организация движения Херут, основное ядро Эцеля и Лехи; стоит на халуцианско-националистических позициях, за великий и неделимый Израиль.

тестовать, кричать, обличать палачей. Я сознаю, что в этих словах присутствует некий театральный пафос, но мне хочется донести до читателя ощущение этих часов. А пафоса все равно не удастся избежать, если не сейчас, то потом, когда под нашими биографиями — как личными, так и коллективными — будет подведена последняя черта.

Учебный год заканчивался. Мне было пятнадцать лет, и я учился в шестом классе гимназии на сельскохозяйственном отделении. Утро было душным, но помимо жары в воздухе ощущалось еще какое-то особое напряжение. Оно достигло высшей точки, когда гимназию облетело сообщение, что приговор приводится в исполнение. В наш двор ввалилась взволнованная делегация учащихся торгового училища ("Масхиры", как называли его питомцы "Герцлии") и потребовала, чтобы мы немедленно вышли на демонстрацию. Не все откликнулись на этот призыв, но я был среди тех, кто пошел.

На улице Алленби были закрыты все лавки и магазины и прекратилось всякое движение. Тут и там шныряли грузовики, набитые английскими полицейскими с дубинками и пистолетами, что, однако, нисколько не смущало подростков, собравшихся на перекрестках улиц в ожидании "действий", а пока что подхватывавших хором вслед за каким-нибудь крикуном, сложившим ладони рупором у рта, лозунги типа: "Позор мандатным властям!" или "Позор полиции!", а также "Позор политике сдержанности!"

Демонстрация была стихийной, неподготовленной и закончилась пустячными стычками с полицейскими, в результате которых несколько человек было арестовано, однако она была всерьез воспринята британским правительством и несомненно имела огромное значение для нашего духовного формирования.

Во мне, например, именно в тот день созрело решение вступить в ряды организации, с оружием в руках (никак не меньше!) борющейся за освобождение.

Несмотря на свой юный возраст, я отдавал себе отчет в том, что значит *настое* действие. Несколькими неделями раньше, в пасхальные каникулы, душным и темным вечером, я пробрался на чердак нашей гимназии. Здесь находился физический кабинет, где мы под руководством инженера Виженского, сердитого старика с нависавшей на лоб седой шевелюрой и бескровными, пожелтевшими от табака губами, изучали свойства световых и звуковых волн. Виженский любил повторять своим

осипшим от курения и долгих лет педагогической работы голосом: "Мир держится на трех вещах — физике, физике и еще раз физике!" Там, в этом кабинете с опущенными черными шторами на окнах, что еще больше увеличивало ощущение необычности происходящего, при свете мощного слепящего фонаря, я повторил подавившим всякие сомнения, звенящим голосом звучавшие у меня в сердце слова. Это были слова клятвы, которую произносили вступающие в члены Хаганы. Так я присоединился к молодежным отрядам еврейской самообороны в гимназии.

После этого я кубарем скатился по ступеням вниз, столкнув при этом мою одноклассницу и первую любовь (она была старше меня на два года). Я кусал губы, силясь сдержать охватившее меня волнение. Разумеется, моя подруга тоже произнесла вместе со мной слова клятвы. Мы шагали рядом вверх по безлюдной улице Ахад-Гаам, и я изумлялся и завидовал ее хладнокровию. Она вела себя так, словно ничего и не случилось — шутила и смеялась своим дробным, хрипловатым смешком, будто где-то рядом сыпают щебень. Мы подтрунивали над родителями, учителями, товарищами, перемывали косточки родным и знакомым, но о том, что сейчас произошло в физическом кабинете, мы не обмолвились ни словом, хотя, конечно, только это в данный момент и занимало наши мысли. Мы не говорили об этом именно потому, что понимали, насколько это серьезно. Мы поклялись друг другу хранить тайну и больше о б э т и х в е щ а х не говорили.

Потом начались "смотри". Каждую субботу мы подымались ни свет ни заря и собирались в просторном гимнастическом зале, сером здании под черепичной крышей. Сотни юношей и девушек, одетых в одинаковые рубашки и брюки цвета хаки и высокие носки того же цвета. Наш командир, агроном Иона Швартфингер, преподавал садоводство в пятых, шестых и седьмых классах гимназии и заодно поддерживал связь между "Герцлией" и сельскохозяйственной школой "Микве-Исраэль". Может показаться странным, что этот безобидный человек, показывавший детям, как управляться с граблями и сажать редиску, взял на себя руководство боевыми отрядами, которым вскоре предстояло принять участие в столкновениях на границе между Тель-Авивом и соседним Яффо. Поговаривали, однако, что, обучаясь в Италии агрономической науке, Иона Швартфингер заодно закончил и Болонскую военную академию.

Бывали и более многолюдные "учения" на стадионе на берегу Яркона, на которые собиралось несколько тысяч молодых людей, одетых в хаки. Здесь встречался чуть не "весь Тель-Авив" (от пятнадцати до двадцати лет) — учащиеся различных школ, представители самых разных слоев населения. Участвовать в учениях — это значило подняться на заре, на бегу перехватить что-нибудь вместо завтрака, а потом почти час шагать в утренней прохладе, встречая по дороге все больше и больше своих сверстников, одетых в хаки, чистеньких и отутюженных, — с боковых улиц они стекались на аллею Бен-Цион, улицу Мелех Джордж, улицу Дизенгоф и толпами двигались к "Восточной ярмарке". Участвовать в учениях — это значило прислушиваться к напряженной тишине в полутемной родительской спальне — мать и отец не спрашивают, с какой это стати ты поднялся в такую рань и куда собрался, они и потом не спрашивают, где ты был и почему пришел так поздно, они вообще не говорят с тобой на эту тему — ведь о таких вещах нельзя говорить.

Во всех этих смотрах и учениях было много общего — "смирно", "вольно", опять "смирно" и снова "вольно", долгие промежутки между переменной положением, долгое ожидание нового приказа. Маршировка тройками в плотных либо растянутых колоннах, подмигивание и усмешки во время бесконечных "равняйся" и "вольно", перешептывание, подталкивание соседа локтем — ведь все мы здесь ровесники, одноклассники, прекрасно знакомые друг с другом по "гражданской" жизни, то есть сидящие за одной партией и вместе проводящие время после уроков.

Бывало, что учения проводились и в будние дни. Каждое отделение выстраивалось в ряды, и начинались все те же "вольно" и "смирно" и "на первый-второй рассчитайсь". Ходили слухи, что вот-вот начнутся "настоящие" учения, когда нам дадут оружие, и все гадали, что же это будет за оружие — пистолеты, парабеллумы, наганы, а вдруг маузеры? Некоторые заходили так далеко, что уверяли, будто нам выдадут "лимонки", то есть гранаты, и мы будем не только изучать их, но даже и метать. С видом знатоков мы болтали о пулеметах "Виккерс", "Милас" и "Шварцелоза" и обсуждали их достоинства и недостатки. Иногда нас рассаживали на скамьи в физическом кабинете, который с той ночи клятвы окутан в моих глазах величием тайны, или в каком-нибудь другом классе, и директор Гиллель Биргер читал нам курс топографии. Хмыкая и заикаясь, он пытался разъяснить нам, что та-

кое "координаты" и что такое "линия высоты", в чем разница между "котловиной" и "седловиной" и как надо читать карту 1:10000.

Итак, двадцать девятого июня во время большой перемены ко мне подошел высокий, светлый, голубоглазый, а главное, б р и т ы й парень из седьмого класса и, как Мессия перед началом Страшного Суда, спросил, действительно ли я — это я. После того как я ответил утвердительно, он объявил, что его зовут Даниэль Дойч, и спросил, как я отношусь к политике "сдержанности". Я мигом сообразил, к чему клонится разговор. Ему не пришлось долго меня агитировать — я сказал, что готов вступить в члены Эцеля. Он натянуто улыбнулся, покосился по сторонам и ответил, что передаст это куда следует и через некоторое время вызовет меня, дабы я предстал перед "приемной комиссией".

Долгие месяцы я ждал этого вызова в приемную комиссию. Между тем связанные молодежных бригад почему-то перестали оповещать меня о днях "учений". Одноклассники приходили по утрам на занятия полусонные, с красными глазами, опаздывали на полчаса и даже на час, на вопросы учителей отвечали, что у них были "дела", шептались и секретничали, а я вынужден был оставаться в стороне и помалкивать.

Я, конечно, недоумевал, но никогда не задавал вопросов. Лишь несколько дней назад, через тридцать восемь лет после начала этой истории, я наконец понял, в чем было дело. Мой одноклассник Меир Барэли, теперь редактор "Давара", сказал: "Мы знали, что Аарон — член Эцеля, но никогда не задавали ему никаких вопросов. О таких вещах тогда не говорили".

Уже в конце августа, так и не получив ожидаемого вызова, я однажды наткнулся на улице неподалеку от своего дома на Якова Хилевича. Ему было в то время лет тридцать, он не так давно прибыл в страну из Литвы, но уже успел посидеть в тюрьме в Акко, куда был брошен вместе с другими активистами и еврейскими общественными деятелями — в том самом Акко, где был казнен Шломо Бен-Иосеф. Выяснилось, что он заходил повидать моих родителей. Хилевич затеял со мной "серьезный" разговор, в продолжении которого, правда, успел немало рассказать мне о выложенных мрамором домах терпимости Триеста, где он останавливался и совершенствовался по пути в Палестину, но потом вдруг спросил, собираюсь ли я наконец запи-

саться в организацию. Я ответил, что с этим все в порядке, и не стал входить в подробности, он расплылся в улыбке и одобрительно хмыкнул, но тоже не стал ни о чем расспрашивать — о таких вещах не говорят. Мы никогда не касались этого вопроса и в дальнейшем, хотя я частенько заходил к нему послушать его рассказы об "операциях" — вначале в его комнату на аллее Ротшильда в Тель-Авиве, а потом в Зихрон-Моше в Иерусалиме. Я был уже студентом-первокурсником, а он управляющим "Керен Тель-Хай" — новой сионистской организации. Он всегда был прекрасно одет, увлечен женщинами и карточной игрой и никогда не рассказывал, что со дня своего освобождения из тюрьмы является тайным агентом британской полиции и постоянно осведомляет власти, передавая имена и адреса членов подпольных организаций. О таких вещах тем более никогда не говорят.

Этот человек исчез из Палестины в один прекрасный весенний день, в субботу, после того, как англичане арестовали чуть ли не всех командиров и рядовых Эцеля — согласно точному списку, подготовленному Яковом Хилевичем (он получил вознаграждение пятьдесят тысяч лир — по тем временам целое состояние — и поспешно вылетел в Соединенные Штаты, что тоже входило в условия сделки).

Я не раз думал, что хороший режиссер в компании с хорошим сценаристом и актером мог бы создать увлекательный фильм о судьбе этого предателя. Вся его личная история могла бы занять пятнадцать-двадцать минут из общих ста минут фильма. Затем можно было бы показать облаву на членов Эцеля и черную машину, бешено мчащуюся на сонный и провинциальный аэродром в Лоде. Перелет из Лода в Каир, а оттуда, вопреки сложностям военного времени, в Нью-Йорк. И потом — тридцать лет в Америке. Рассказать, как главное дело его жизни — предательство, которое он совершил в расцвете лет, — подчиняет себе все остальные мысли и поступки этого человека. Неотступный страх перед возмездием, воспоминания, догадки, ассоциации в долгие бессонные ночи. Вот он зажигает настольную лампу, закуривает сигарету и, опершись на локоть, вновь и вновь перебирает те дни. В чем он ошибся? Можно ли было остановиться? Когда он достиг той точки, откуда уже не было возврата?

И так дни, недели, месяцы, годы, десятки лет — тридцать с лишним лет... С каким чувством он должен был прочесть в газете сообщение о захвате израильскими агентами Адольфа Эйхмана,

а затем о состоявшемся в Израиле суде над ним? И с каким чувством он должен был читать о победе Израиля в Шестидневной войне? Вот он сидит, допустим, за столиком в придорожном ресторане в какой-нибудь стране Нового света и ест свой гамбургер и вдруг он слышит, как двое за соседним столиком говорят на иврите. Несколько мгновений он зачарованно слушает, даже успевает схватить одно или два слова, которых прежде не было в языке, бросает косые взгляды на своих соседей, пытаюсь определить их возраст и разглядеть лица, потому что вдруг ему кажется, что... Он чувствует, что не в состоянии справиться с едой, расплачивается и размеренным шагом, стараясь владеть собой, направляется к своей машине, которую незадолго перед тем купил из вторых рук, садится за руль, включает зажигание и ждет, пока успокоится сердце.

Вот он выходит с сеанса порнографического фильма в Таймсквер в Нью-Йорке, толстый старый человек с двойным подбородком и лысиной, подозрительно щурится на сияющие неоновые огни, вспыхивающие и гаснущие рекламы, пробегающие объявления, направляется к поджидающей клиентов проститутке – негритянке в парике блондинки, идет за ней в ее мерзкую комнатку и вдруг чувствует непреодолимое желание поведать ей историю своей странной жизни. Но вовремя прикусывает язык и вспоминает, что следует раздеться. Он смотрит на черную голую девку и вдруг начинает рыдать как ребенок.

А она кривит губы и бормочет:

– Hey, funny guy... What's eatin' you... go on, say somethin' ...*
Но об этих вещах не говорят. Все еще не говорят...

Перевела с иврита С. Шенбрунн

(Окончание следует)

* Что за странный парень... Ну, что тебя грызет... давай, выкладывай...

ЗА И ПРОТИВ

ГИЛЛЕЛЬ ГАЛКИН

ПИСЬМА АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ-ЕВРЕЮ

(сионистская полемика)

Главы из книги

Зихрон-Яаков,
19 октября 1975 г.

Дорогой А...

Я вернулся из армии две недели назад. Проспал тринадцать часов и проснулся совершенно новым человеком; среди почты я нашел твое письмо, прочел его, перечитал и отложил в сторону — пока не смогу ответить на него поподробнее, чего оно безусловно заслуживает. Признаюсь: нелегко после летних разговоров снова начинать переписку, но что поделаешь! Мы снова на разных сторонах шарика, — ты в своей, как ты говоришь, “американской башне из слоновой кости”; ну, а я в своем “странном и захламленном левантийском городке”, в Зихроне, где вот уже третий день подряд за окнами воет хамсин... Летний гость, ты даже не знаешь, что такое настоящий хамсин! Горячее дыхание этого кочевника пустыни опалает нас каждую осень и весну, когда природа затихает, словно не зная, что делать дальше. Тогда приходят злые ветры. О, хомо туристикус! Дважды ты был в Израиле, изъездил страну вдоль и поперек, обследовал самые темные закоулки арабских базаров, видел замки крестonosцев, живописнейшие пейзажи и библейские пещеры, плавал в Красном

Книга Г. Галкина, иммигранта из США, вышедшая в прошлом году на английском языке в Америке и на иврите в Израиле, представляет собой одно из примечательнейших произведений современной еврейской публицистики. Острота полемики, сложность обсуждаемых вопросов и предельная интеллектуальная честность выделяют эту книгу и делают ее, по оценке рецензентов, “самой значительной еврейской книгой нынешнего десятилетия”.

Полностью книга подготавливается к изданию (в переводе на русский язык) общественным культурным фондом “Москва-Иерусалим”.

море, в Мертвом море, в Средиземном море, — но никогда не коснулась тебя ни единая капля дождя, никогда не вдыхал ты запах цветущей по весне апельсиновой рощи, не видел холмов, усеянных яркими пятнами анемонов, не прислушивался к вою хамсина и не ощущал его пыльное дыхание, которое за несколько часов убивает цветы.

Как говорят ученые раввины, конец лета хуже самого лета. Сегодня тридцать пять градусов. Жарко. Владелец маленького кафе (помнишь, в тот вечер мы пили там кофе и спорили... о чем же? об издательской политике "Комментарии"*? или о сравнительных достоинствах лирики Иегуды Галеви и Джона Донна**?) повесил на окно старое одеяло, — чтобы пирожные не растаяли на полках холодильника. Сегодня утром я убил толстого черного скорпиона; он пытался спрятаться под коврик у входной двери. Если уж скорпионы ищут спасения в доме, начинаешь понимать, что на улице действительно жарко, — ведь обычно они больше всего любят свернуться под каким-нибудь камнем и проводить там дни. Голова тяжелая, работать лень, и в сад не выйдешь, — немедленно сохнешься, как раскаленный перец. В такое утро всего лучше забраться по лестенке в кабинет и писать письмо. Ты спрашиваешь, как было в армии. Как обычно, не хуже. В этой службе запаса самое неприятное — не то именно, что приходится делать, и даже не то, что тебе, собственно, и делать-то по существу нечего, а просто тот факт, что тебя оторвали от дома и от работы. Израиль — маленькая страна; часто приходится служить в каком-нибудь часе или меньше езды от дома. Но это не так уж хорошо, как тебе может показаться. В этот раз первые несколько дней нас тренировали на базе для пехотинцев возле Зихрона — километрах в пятнадцати. Однажды утром я лежал под деревом и целился из автомата в какую-то точку на горизонте; вдруг разошелся туман, и я увидел на вершине холма свой дом. Не очень отчетливо, но я-то знал, на что смотрю... Это облегчает, по-твоему? По-моему, это может свести с ума. Когда кончается 48-часовой отпуск, чувствуешь себя проклятым, натягиваешь форму, которая пропахла потом сотен людей (здесь уже никакая стиральная машина не поможет); жена в третий раз за месяц старается не заплакать, а ребенок — тот даже не старается, и труд-

* Американский журнал общественно-политических проблем.

** Английский поэт XVIII века.

но смотреть ему в глаза. Начинаешь думать, что лучше бы уж вообще не отпускали на побывку.

Хуже всего — переход из одного мира в другой. В Израиле они очень близко, ближе, чем где-либо, но все равно — к этому невозможно привыкнуть. Порой это смешно до абсурда. В Хайфе, в магазине, где мы обычно покупаем кофе, хозяин стоит за прилавком в военной форме. На побывке? Да. Он засыпает зерна в кофемолку, смотрит на часы и вздыхает: “О Господи, уже половина пятого. В шесть мне нужно быть на ливанской границе. В семь у нас обстрел”. Слишком нелепо, чтобы не засмеяться.

В этот раз мы тоже были наверху, на границе с Ливаном. Но мы, пехотинцы, не так пунктуальны. Здесь в армии существует целая система своевременного обнаружения диверсантов — наблюдательные посты, проволока под током, огромные прожекторы, радары, патрули, засады. Все это, конечно, действует одновременно. Мы отвечали за небольшой участок на границе: выставляли наблюдателей на посты и патрулировали по ночам на бронетранспортерах. Это может оказаться и не таким уж невинным занятием, если наткнешься на террористов или, что еще хуже, — если они наткнутся на тебя. Но они, как правило, прячутся ночью на своей стороне и оттуда обстреливают нас из базук или автоматов. По ряду причин (одна из них, наверно, — война в Ливане) месяц выдался тихий. Единственный несчастный случай: солдат чистил ружье и прострелил другому ногу. Раненый отправился на неделю в госпиталь, а виноватый — на три недели в военную тюрьму.

Я, во всяком случае, не патрулировал — меня поставили в наблюдение вместе с еще несколькими солдатами. Целыми днями ловили мух и смотрели в маленький телескоп на ливанские деревни, а ночью дрожали от холода и посменно стояли на часах. Можно измерять время по горе Хермон: строгий серый силуэт на фоне заката; по утрам она исчезает, превращаясь в почти невидимый контур; к вечеру появляется снова. Ее вершины напоминают грубо вырубленную лестницу, подстать какому-нибудь великану. Может быть, это лестница Ога, царя Башана, — ведь он когда-то жил здесь, только чуть восточнее. Ближе к нам, на самом юге, тянутся израильские высоты, под ними — пик, где сидит ООН; а еще один исполинский шаг — и там уже сирийские позиции, которые, как пилой, вгрызлись в гору до самого верха. А внизу, ближе к нам, на каждом холме — деревня. Это и есть

наш участок: Ярун, Р'майш, Эйн Абель, Гилит Дж'байль, Марун Эф-ра; когда так подолгу, по несколько часов каждый день, день за днем, вглядываешься в одно и то же место, невольно запоминаешь каждый дом. Быть может, когда-нибудь, много лет спустя, в каком-нибудь ливанском ресторанчике Парижа или Нью-Йорка я вдруг увижу знакомое лицо... постой! постой!.. ну конечно: Ярун, третий дом от церкви, там еще сено в то лето сушилось на крыше. "Простите... Нет, вы меня не знаете... Я часто гадал, что это такое мог натворить тогда ваш младший сын, что вы влепили ему оплеуху... да, это было в сентябре семьдесят пятого... Скажите, отчего вы тогда так на него рассердились?" Медленно, в однообразных наблюдениях проходят дни: на азимуте 120 брошенная машина; у перекрестка 1288 какой-то человек швыряет камни в поле подсолнечников (учится швырять гранаты?); у отметки 32 весьма подозрительного вида осел приближается к ограждениям. Как-то вечером мы обнаружили, что по направлению к лесистому холму (это последняя остановка террористов перед переходом границы) движутся две тени. Через несколько минут зазвонил полевой телефон: "Мы хотим вам сообщить..." Бу-ум! На холме разорвалась мина; поднялась пыль цвета вечернего воздуха. "Не обращайтесь внимания, это мы хотим вам сообщить...". Ба-ах! Еще пара мин. "Мы хотим сообщить, что кто-то обстреливает вон тот холм". Последняя мина зажгла маленький костер, он весело светил нам в темноте, потом погас.

Мы много разговариваем, — а что еще прикажешь делать в такие дни? Расскажешь напарнику о себе, о семье, о работе, потом он рассказывает о своем. В Израиле у каждого есть своя история. Вопросы доброжелателей в Штатах: "И вам не скучно — жить в стране, где есть одни только евреи?" — всегда вызывали у меня улыбку.

Большая часть рассказов — о том, как люди добирались в страну. У нас в отделении есть человек, чье детство прошло в Берген-Бельзене; есть русский, четыре года назад оставивший в Москве двух маленьких детей (жена не захотела ехать), — он их никогда больше не увидит; есть сирийский еврей, — в 1968-м он с семьей нелегально перебрался из Дамаска в Алеппо, а там нанял проводника-курда, и тот вел их два дня по горам, пока не переправил в Турцию; есть американец, бывший администратор фармацевтической компании в Питтсбурге, теперь овцевод в Рош-Пине...

Много разговоров, зубоскальства, но в общем-то чувствуется,

что люди раздражены — даже юмор не спасает. Ну, а уж резервисты особенно, — им всегда кажется, что их отрывают от дома как раз в ту самую минуту, когда там что-то не так: ребенок болен, в банке ни гроша, жена вот-вот должна рожать, горит выгодная работа. Все-таки не шутка — начинать каждый очередной год, зная наверняка, что придется уходить на два месяца. Ощущение, как у боксера :на ринге: не успеешь подняться с полу при счете "девять" — нырнуть с головой в накопившуюся работу, заплатить долги, починить машину, привести в порядок сад, создать хоть какое-то подобие нормальной семейной жизни, — и тут бац! — тебя опять посылают в нокдаун. В почтовом ящике лежит очередная повестка, и опять нужно уходить.

И если бы только это! Экономическое положение ужасно: все время вводят новые налоги, лира падает, никто не знает, как в конце месяца заплатить по счетам — и говорят, что будет еще хуже. Политическая ситуация тоже из рук вон: если завтра из 150 членов ООН 20 проголосуют против резолюции, объявляющей нас, к примеру, антихристами, мы еще будем радоваться такому исходу. Правительство — сборище бесхарактерных политиканов с нравственностью конокрадов; впрочем, и оппозиция ничуть не лучше. Все знают, что так жить невозможно, — и никто ничего не делает. Короче говоря, мы имеем все те же самые "цурэс", о которых мы с тобой говорили прошлым летом... и вот я сижу на верхушке оккупированного мухами холма и размышляю, как бы на гражданке свести концы с концами, то есть жизнь духовную с жизнью телесной. Дни идут; раздражение нарастает, и если не отведешь душу в обычном армейском брюзжании (еда не еда, отпуска короткие, работы слишком много, а офицеры ни черта не делают), то уже не удивляешься, когда в один прекрасный день кто-нибудь из ребят подойдет к группе играющих в карты, заглянет через плечо, закурит сигарету и скажет как бы между прочим: "Ну и дерьмовая же страна!" Играющие молча кивают и продолжают игру, словно им сообщили, что сегодня прекрасная погода, — а она и в самом деле прекрасная.

Не думаю, что все выражаются так грубо, но, во всяком случае, это отражает наше сегодняшнее настроение. Люди озлоблены и циничны, — а это несчастливое сочетание: озлобленность усиливает цинизм, а цинизм убивает в озлобленном жажду действия. Ты, понятно, потрясен тем, что жизнь здесь продолжается, как

в любом другом месте. Да, теперь положение в самом деле нормализовалось. К несчастью, многие неприятные реалии нашего существования, которые — косвенным образом — были причиной духовного краха в войну Судного дня, все еще существуют. Пациент находится в состоянии хронической депрессии: даже если ему удастся об этом забыть или обмануть самого себя, его положение не изменится к лучшему. Таковы последствия войны. Можно, конечно, спорить, что же сильнее всего потрясло нас: одни утверждают, что израильтян больше всего преследует сознание того, что военные поражения и политический кризис можно было предотвратить — стоило лишь принять некоторые меры предосторожности (которые не были приняты). Это сознание порождает озлобленность и чувство вины — прекраснейшие депрессанты! Другие говорят прямо противоположное: нас мучает понимание того, что война и ее последствия были неотвратимы, что они лишь отражают реальный и постоянный баланс сил между Израилем и арабскими странами: невозможно предсказать, невозможно бороться. Чувство беспомощности деморализует. В любом случае — будь последствия войны результатом несчастливой стечень обстоятельств или следствием исторически обусловленного процесса (а мне кажется, что относительно исторических событий справедливы обе точки зрения), они начинают проявляться только теперь, когда мы оправились от первого шока.

Я лично думаю, что дело обстоит проще: страна испугалась войны, как отражения собственной уязвимости, и все еще не оправилась от испуга. Евреи всегда жили в сознании своей слабости, а теперь пришло время и израильтянам примириться с этим; но нынешнее поколение к этому не привыкло. После 1948-го и в особенности после 1967 года мы верили в одно: эта страна будет здесь, будет существовать всегда, пока существует на свете хоть какая-то другая страна вообще. Если бы раньше, до 73-го, в обществе, скажем, израильских интеллектуалов (а ведь интеллигенты — самый скептический народ) кто-нибудь посмел бы усомниться в этом, его либо мягко пожурили бы, либо вышвырнули бы за дверь — в зависимости от политических взглядов и темперамента присутствующих; но никто не принял бы его слова всерьез. У нас в Зихроне есть соседка, веселая, приветливая домохозяйка. Она местная уроженка, ее родители тоже; старших братьев отца убили арабы в 1929-м; племянник был ранен в 1948-м; сын двоюродного брата убит в 1967-м. И вот вчера, склонившись

над цветами, она сказала мне: “Когда я была маленькой, в 30-е годы, к нам приезжал дядя из Германии (потом он вернулся туда, и его убили). Однажды мы спорили, и он сказал: “Я понимаю евреев, покидающих Германию; но ехать в Палестину?! Тысячи лет Бог старался рассеять еврейский народ, как растение разбрасывает семена, — чтобы, если с одной частью народа что-нибудь случится, выжили бы другие. И вот сионисты хотят собрать всех евреев в Палестине, — чтобы нас всех здесь убили или уничтожили сразу?” Мы все смеялись над ним, а ведь мы тогда были в стране меньшинством и будущее представлялось нам далеко не радужным. Теперь у нас есть государство и одна из лучших в мире армий, — и вот я впервые задумалась: а может, он был не так уж неправ?” До войны она и другие никогда такого не говорили.

Так что можешь считать, что наша проблема — это крушение веры. В Израиле вера — это достояние масс, а не интеллектуальной элиты. Израильтяне, являясь народом социальным, все же не образуют органическое общество в обычном понимании этого слова. Они образуют (если позволительно, не вызывая непонимания, заимствовать термин из сферы религии) сообщество единоверцев. Здесь нет ничего мистического; я имею в виду всего лишь то, что, в отличие от американцев, французов, египтян или китайцев, нас объединяет (на нынешней формообразующей стадии нашего государственного развития) не какая-нибудь особенная, общая для всех нас культура (можно ли вообще назвать культурой царящую здесь смесь из лишенных корней этнических традиций, оцепенелой религиозной ортодоксии, беспочвенного секуляризма и слепого копирования последних увлечений Запада?), и не общий язык (нет, не хочется заводитьсь по поводу жаргона, которым говорит наша улица, именуя его ивритом!), и не примитивный инстинкт самосохранения, а набор существующих у нас представлений о нас самих и о том, что мы здесь делаем. Справедливости ради следует признать, что сейчас люди не так-то охотно говорят об этой вере — спроси кого-нибудь об этом, и он засмеется тебе в лицо. Но даже сама страстность его отрицания доказывает его глубокую веру. Парадокс? Не совсем. Вот простой факт: жить здесь, как ты хорошо знаешь, нелегко, даже трудно; и здесь нет того, что в других местах получаешь с гораздо меньшими усилиями. Если не веришь, что существует некое предназначение, оправдывающее все это, — тебе ничего здесь делать

(цифры эмиграции показывают, что в последние годы все большее число израильтян приходит к такому выводу). Самопожертвование никогда не бывает легким, в особенности когда оно отягощено ошибками собственных правителей; а тут еще эти жертвы приносятся во имя ненадежного будущего... Все так! И не нужно воображать, будто те, кто выбирает этот путь, — люди с чистой душой. Ничего подобного! Но наша вера объединяет нас (когда цементируешь стену в саду, достаточно, чтобы раствор прихватил определенное количество камней; но есть критическая масса — меньше ее быть не может); потеря ее — не последняя из наших потерь в войне Судного дня.

И вот вся страна барахтается на дне этакого “психологического оврага”; впрочем (если тебе от этого легче) график истории сионистского заселения Палестины всегда представлял собой череду таких гребней и оврагов. И может ли быть иначе в сообществе единоверцев, где тягостное настоящее всегда воспринимается, как преддверие некоего общего будущего (которое представляется то сияющим, то довольно-таки мрачным в зависимости от последних событий, которые никто не способен ни предвидеть, ни контролировать)? Вот тебе случай из истории нашего маленького Зихрона. Когда караван поселенцев из Румынии достиг, наконец, подножия нашего холма, где в 1882 году было поселение, люди запели от радости. Но через несколько часов, разбив колеса фургонов и добравшись до каменной вершины, они увидели бесконечные холмы и брошенные арабские лачуги — свои новые жилища. Женщины, не стыдясь, вытирали слезы, мужчины стискивали кулаки. А вот вкратце история всего ишува: за подъемом второй алии последовала депрессия 1910-х годов; эйфория, вызванная Декларацией Бальфура и британским мандатом на Палестину, предшествовала разочарованию 1920-х годов и шоку погромов 1929-го; за беспрецедентной алией из Германии и Польши — английская Белая книга*, Вторая мировая война, уничтожение европейского еврейства. После высочайшего “пика” — завоевания независимости — наблюдается та же цикличность: спад в середине 50-х годов (протрезвление, будни государства) — взлет Синайской кампании — середина 60-х с их жиденьким ручейком иммиграции и страшным спадом в эконо-

*Отчет британских комиссий, расследовавших беспорядки в Палестине; в данном случае речь идет о документе 1939 г., ограничивавшем иммиграцию евреев в страну.

мике — Шестидневная война и послевоенный бум — и, наконец, нынешний спад. Не соответствует ли это психологическим ожиданиям человека, верящего в подобную закономерность, как особенность еврейской истории? И нет ли здесь соответствия самой нашей истории на протяжении тысячелетий с ее сменой мессианских надежд жесточайшими разочарованиями? “Ама пезиза” — называет нас Талмуд: нервный, впечатлительный народ, склонный к маниакальному возбуждению и депрессивным реакциям, часто вступающий в конфликт с окружающим миром...

Мне немного досадно, что твой последний визит пришелся на “спад” кривой; прежде всего потому, что сейчас нет того чувства жизнерадостности, которое запомнилось тебе с прошлого раза. Эта жизнерадостность — самая необычная вещь, которую Израиль мог предложить туристам (действительно, что такое можно здесь увидеть или сделать, — говоря “туристически”, — что могло бы превзойти хоть одну европейскую страну даже и второго класса? А особенно во второй раз; есть же, в конце концов, какая-то граница: ну, сколько развалин или новостроек в день можно осмотреть под палящим солнцем, когда потный гид с профессиональным энтузиазмом несет какую-то околесицу о Герцле или Библии?! Здесь все слишком новое или слишком старое... Пропустили мы всю серединку!) ... А еще мне досадно потому, что тебе ведь нравилось чувствовать себя туристом. Это тебе, наверно, покажется непонятым, но зачем все разжевывать — приведу лучше отрывок из твоего собственного письма. Он довольно длинный, ну и что? Все еще стоит хамсин: его дыхание тяжело, неравномерно, словно он задыхается. Утро только перевалило за половину. Вот ты пишешь:

“Ты наверно, знаешь, что перед приездом в это лето я долго пытался разобраться в своем отношении к Израилю. Я, конечно, не имею в виду существование Израиля или его оправдание в глазах арабов. Об этом нужно спорить с гоями, а не с евреями; с евреями я никогда бы не стал обсуждать подобные вопросы. К таким вещам я отношусь очень серьезно. Еврей, который сомневается в праве Израиля на существование, — попросту предатель своего народа, и так и нужно к нему относиться. Я думал об Израиле в основном, не как о стране для евреев а как о стране для себя. Я никогда всерьез не думал о том, чтобы поселиться у вас; после первого приезда, летом 68-го,

я вернулся с целым ворохом впечатлений и чувств (помнишь, мы говорили об этом в твоей квартире в Нью-Йорке, через несколько дней после моего возвращения?). Понадобились годы, чтобы во всем разобраться.

Я думал, что в этот раз, будучи старше и (надеюсь!) умудренней, я взгляну на вещи более трезво. Но тут случилось нечто любопытное. Одним из самых раздражающих впечатлений прошлой поездки была привычка израильтян спрашивать молодых туристов — евреев, как я, — почему они не переселяются в Израиль. Как будто стоит нам хоть немного подумать — и мы все тотчас распакуем свои чемоданы и больше уже никуда не уедем. Я чувствовал себя так, словно пришел в дом к родственникам, где никого не знаю, и двоюродные сестры тут же, без дальнейших церемоний, просят меня на них жениться. И знаешь, — когда я стал думать о новой поездке, с женой, которая никогда раньше там не была, мысль о предстоящих распросах сильно меня беспокоила. Вот почему я долго не мог решиться — я ведь все еще не знаю, как ответить на этот вопрос, не обижаясь самому и не обижая других; быть может, этот вопрос затрагивает во мне какое-то подсознательное чувство вины?..

Так я мучил себя, — но случилось совершенно неожиданное: никто так и не задал мне этот вопрос! В конце концов, одолеваемый любопытством, я даже попытался спровоцировать подобный разговор, но мои собеседники в ответ только терпеливо пожимали плечами. Возможно, мне следовало почувствовать себя уязвленным. И все же, думаю, это к лучшему, что евреи диаспоры могут теперь посещать Израиль более свободно, не опасаясь принуждения и угрызений совести. Ведь именно их прежние опасения на сей счет и толкали израильтян предъявлять каждому из них свой "ультиматум любви", и если вы теперь переросли, наконец, эту потребность, наши отношения становятся намного проще и свободнее..."

Что ж, можно толковать и так. Я вспоминаю свою первую поездку в Израиль — это было летом 1957-го; меня тоже страшно раздражали подобные вопросы. Мне было тогда восемнадцать, и я был еще более неуверен в себе, чем ты, и терпеть не мог, когда

кто-то пытался мною командовать, — а здесь все пытались учить меня, как жить и где жить, будто я — только потому, что я американский еврей — был заранее перед ними в чем-то виноват и должен оправдываться. (Я говорил на иврите и получил хорошее еврейское воспитание, но тем хуже — я даже не мог просить у суда снисхождения по неведению). Это было страшно утомительно: я только и делал, что старался избежать неминуемых сцен. В особенности запомнился мне один спор. Я тогда был неделю в кибуце, на сборе яблок. Я работал с одним кибуцником, который приехал в страну в гитлеровские времена — интеллигентный человек, среднего возраста, но угрюмый, как последний комиссар. Он никогда не упускал случая поддеть меня. Я пытался переменить тему, но он наседал, и однажды мы схватились. Германия, Америка, антисемитизм, еврейская история, сионизм, я сам, — когда дошло до меня, я почувствовал себя точно так же, как ты сейчас (тогда я считал себя американским евреем). (Этот “американизм” развился у меня только в юности — до того я вел более чем уединенную жизнь нью-йоркского мальчика-книгочея, был пьян Уитменом и Вулфом, и мои письма домой звучали, как отрывки из “Оглянись на дом свой, ангел”^{*}). Этот кибуцник обрабатывал меня с усердием миссионера, наставляющего заблудшую душу на путь истинный; я отражал его атаки с упрямством “свободной и независимо мыслящей личности”, не желающей сдавать своих позиций. Мы с воодушевлением препирались час или два; вокруг падали яблоки, и наконец он сказал: “Послушай, зачем мы спорим? Пусть рассудит время. Ты говоришь, что, как еврей ты не чувствуешь потребности жить в Израиле, а я говорю, что однажды ты приедешь — чувствуешь ты это сейчас или нет”. Мы держали пари, и мне бы давно нужно было его разыскать и сказать ему, что он выиграл...

Да, что-то действительно изменилось — только вот не знаю, имеет ли это какое-то отношение к нашей зрелости. Подозреваю, что как раз этого у нас стало меньше. То “терпеливое пожатие плечами”, о котором ты пишешь, — жест более горький, чем тебе кажется: это как бы вопрос, — зачем ты, зачем вообще кто-нибудь захочет это сделать?! Я думаю, что это довольно заразительно: кто знает, может, и я раз или два так же вот пожал плечами, сам того не замечая... Здесь я вынужден сделать одно признание. Од-

^{*}Роман Т. Вулфа (1900–1938) — одно из значительнейших произведений современной американской литературы.

нажды я сам чуть не спросил тебя, почему ты не хочешь переселиться в Израиль, — но тут же, подумав, решил не спрашивать. То было в последний день нашей встречи. Через несколько дней я должен был идти в армию, а ты уезжал в Иерусалим (последний визит перед отлетом). Мы сидели в том маленьком рыбном ресторанчике возле Тверии, из которого открывался вид на Кинерет; мы ждали, пока нас обслужат, и смотрели на голубую, словно гуашью нарисованную, воду, такую тихую во впадине коричневых холмов. И тогда ты начал что-то говорить — о том, как трудно тебе будет уезжать — и добавил (мне кажется, ты выразился именно так): “Знаешь, люди здесь, как люди, но вот земля — она какая-то совсем особенная; мне кажется, будто я вернулся домой, туда, где жил давным-давно”. И тут мне захотелось сказать: ты неправ насчет людей, но какое это, в сущности, имеет значение — земля так земля, но ты это сказал; почему же тебе по-настоящему не вернуться домой? Но я так этого и не сказал, может быть, потому, что над нашими головами проревел реактивный самолет, разворачиваясь над Голанами... а может, подумав: о, е..... оно в рот! Парень хорошо провел лето, зачем все портить?! Момент был упущен, но я почувствовал облегчение, оттого что избежал возможной неловкости. Пришлось бы тебе проповедовать, а я этого страшно не люблю. Но вот теперь, когда я об этом думаю, мне все больше кажется, что в моем тогдашнем молчании было нечто нечестное. Потому что в отношениях между израильтянином и евреем из диаспоры существует или должна обязательно существовать напряженность, которой нельзя избежать; их отношения — это отношения соперников, ибо израильтянин живет в сообществе единоверцев, где считают, что именно это сообщество и есть самое естественное место для еврея; и напряженность эта может исчезнуть лишь тогда, когда мы заговорим о ней прямо. Еврей из диаспоры и израильтянин могут беседовать, как самые обычные люди, о чем угодно — о палестинском вопросе или о высокой цене билета на самолет, о последних работах Хейдеггера * или даже о поэзии Иегуды Галеви... Но если они будут говорить друг с другом как евреи, перед ними встанет, увы, лишь один насущный вопрос, и это именно тот вопрос, который никто не задал тебе этим летом...

Перевел с английского С. Шаргородский

* М. Хейдеггер — современный немецкий философ, один из основателей экзистенциализма.

ГДЕ НАША ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ?

МАЙЯ КАГАНСКАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Итак, я впервые в Европе, впервые в Париже. Париж меня потряс, как потрясает сон, когда-то увиденный, а потом воплотившийся в реальность. Я ходила по Парижу со своим другом, который беспрерывно удивлялся тому, что я правильно называю какие-то улицы, дома, места. Потом он рассказал мне прелестную историю. Когда в 1946 году он приехал из Польши с родителями во Францию, единственный адрес, который они знали, был адрес, указанный Дюма в романе "Три мушкетера": улица, кабачок и гостиница над ним... В кабачке, писал Дюма, всегда есть старое вино и молодые женщины. И вот прямо с вокзала они отправились по этому адресу и нашли и улицу, и кабачок, только вино там было молодым, а женщины — старыми...

У него — моего друга — было точно такое же восточноевропейское прошлое, как у меня, и он так же изучал Францию по романам Дюма, только романы Дюма он читал на польском языке. Я их читала на русском.

Это действительно было возвращение во Францию Дюма, во Францию моего детства, в детство... Это было очень странное чувство — чувство возвращения и вместе с тем чувство страшной глухой обиды: почему только сейчас, в таком возрасте, почему не раньше, когда все это было так естественно моим? Я поняла, что тот счет, который можно предъявить России, выходит за пределы политического, исторического, даже культурного счета, что за Россией числится метафизическое преступление по отношению к своим гражданам — безразлично, русские они или евреи, — метафизическое, потому что отрезать человека от мира, которого он часть, которому он естественно принадлежит (и который естественно принадлежит ему), — это преступление, по которому даже расплаты не может быть, не может быть наказания.

Франция создала такую культуру, которая как бы естественно принадлежит миру. Париж — открытый город (хотя позже,

когда я побывала в Италии, я поняла определенную холодность и замкнутость французов). Париж действительно принадлежит миру и Париж всю жизнь был органической частью меня. Это было грустное путешествие и грустные прогулки. И грустные размышления о своей жизни, которая прошла совсем не так, как она должна была пройти. Я чувствовала себя легко и свободно, хотя эта легкость свободы была иллюзорной — я не говорила по-французски; но я внутренне ощущала его родным языком — языком своего детства (дело даже не в том, что 20 лет назад я говорила по-французски и переводила с французского; дело в другом: я думаю, что это чисто еврейское, — есть евреи-“англичане”, евреи-“французы”, как есть евреи-“русские”, — независимо от того, где они живут). Нет, я не думала, что принадлежу французской культуре, но что для меня было абсолютно несомненно, — что я принадлежу европейской культуре. Я имею в виду не европейскую литературу или совокупность европейских литератур, а именно европейскую культуру в современном понимании слова “культура” — как образ человека, как совокупность отношений, как все то пространство, в котором человек существует. Все это — моя культура. Нет, могла бы быть моей, потому что сейчас во мне уже слишком много тяжести и слишком много лет за спиной. И слишком много сожалений и горечи. Это было как хождение по грани — грани мира, который мог бы стать твоим, но уже никогда не станет.

Россия и русская культура — а мы все выходцы из нее, — подготавливала нас к тому, что мы должны быть несчастны на Западе. Почему? Потому что не первый год, не сегодня, не вчера, существует такая традиция: “Запад — богат, мы — духовны”.

Очень интересно было бы понять и проследить, — как, каким образом советский официоз тут переплелся с самыми традиционными, в общем-то, представлениями русской культуры? Ведь и для советского официоза сегодня расхожий газетный штамп “буржуазность” — синоним некоего отрицательного духовного качества. Боже мой, да ведь все это еще Толстым и Достоевским подготовлено! Достоевский приезжает в Швейцарию и приходит в ужас от швейцарского благополучия. Приезжает Толстой и пишет “Люцерн” — а у него за плечами крепостное право, крепостная Россия, нищая, страшная, мужичья, бесправная, без человеческого достоинства. Но именно в Люцерне он видит голодного скрипача и сытую буржуазную публику...

В этой непрерывной традиции легко себе представить Ленина — в Лозанне, в Цюрихе, в Париже — именно таким, каким его изобразил Солженицын: раздраженным, злобным, завистливым... — но мне это было неинтересно. Мне интересен был Париж. А Париж был действительно прекрасен. Париж был великолепен.

И я думала: этот мир очень богат, и богат также духовно, ибо в нем есть то главное, что я начинаю уважать и ценить больше всего: свобода. Хочешь быть буржуа, — будь буржуа. Хочешь погружаться в метафизические бездны страдания — пожалуйста, погружайся, но здесь, по крайней мере, невозможно из своей слабости, из своих несчастий создавать культ. А ведь именно к этому приучила нас Россия. Может быть, этот русский путь очень человечен, может быть, это даже единственно возможный путь — свое собственное несчастье и неудачливость превращать в мировую духовную проблему, но мне мерещится в нем что-то некрасивое и не очень глубокое даже.

А свобода — вот что я поняла в Париже, — свобода не требует оправданий. Она не прагматична. Бессмысленно спрашивать о содержании понятия "свобода", бессмысленно спрашивать: зачем свобода? Свобода есть содержательный акт жизни. Она сама по себе, она сама себе оправдание и ни в каком другом не нуждается.

И вот что я поняла: если бы сейчас, не приведи Господь, мне пришлось вернуться в Россию — не в лагерь, не в тюрьму, а просто в Россию, если бы мне сказали, что завтра снова начнется для меня русская жизнь, — я бы покончила свою собственную жизнь, моментально, потому что так, как я воспринимаю сейчас Россию, для меня это просто вариант смерти. Может быть, даже худший.

х х х

Во Франции в первый раз я увидела ухоженное, взлелеянное пространство — землю, которая виделась именно как любимая, холеная земля. Земля, на которой не было катаклизмов. Может быть, счастье Франции в том, что в ней произошла буржуазная революция, а не социалистическая, — буржуа, как известно, прагматики и накопители. Как и вся Европа, Франция только накаплила. Были, конечно, катастрофы, я знаю об этом, но Европа из них выходила по-другому.

Я смотрела из окна поезда — мимо проносились замки, фермы и какие-то современные сооружения, совсем новые, очень современной архитектуры, — и все это смотрелось вместе, как глас-ты человеческой истории, человеческого труда. Это было гуманизированное пространство. И я вспомнила, как в Париже на одной улочке я видела предвыборные плакаты — за правых, за коммунистов, — они висели на заборе, с которого до сих пор не смыли надпись: “Свободу Дрейфусу!” И эта надпись читалась точно так же, как те плакаты, которые были наклеены вчера и позавчера. Я знаю о французском антисемитизме, и я думаю, что призыв “Свободу Дрейфусу!” сегодня, возможно, так же актуален, как во времена Дрейфуса. Но разве это смешение добра и зла, антисемитизма и гуманизма, дурного и хорошего не есть человеческая жизнь?..

Есть одна ненавистная мне фраза: когда я начинаю восторгаться Западом, мне отвечают: “И там есть свои проблемы”. Господи Боже мой, но ведь это же нелепое возражение! Проблем нет только на кладбище, да и то мы еще этого точно не знаем. Ну, конечно, там есть свои проблемы. Но в этой фразе мне особенно важно слово “свои”. Там именно “свои” проблемы, они свои, они не похожи на наши, и это есть жизнь.

Я не почувствовала в ней никакого привкуса сытости, или умирания, или увядания. Это полная жизнь, с огромными возможностями — и трагическими, в том числе, иначе она не была бы полной. И я опять вспомнила дорогую мне русскую культуру с ее вечным оплакиванием Запада и с постоянным панихидным звоном — от Хомякова с его “Сгустилась тьма ночная на дальнем западе, стране святых чудес”, до Пастернака: “Прощальных слез не осуша, проплакав вечер целый, уходит с запада душа, ей нечего там делать”. Это было написано почти через сто лет после Хомякова. Боже мой, что это за проклятие над ними всеми висело?

В России чувствовать себя евреем было огромным преимуществом, внутренним, духовным, — при всех внешних неудобствах такого положения. Заглядывая в себя, ты чувствовал в себе потоки древней, более цивилизованной и гуманной крови, и ясно было, что у евреев есть метафизическое преимущество: пусть они проиграли пространство, но зато они выиграли время. Когда я ехала по Европе, это преимущество уже не казалось мне таким очевидным. Когда смотришь на Европу и видишь эти пласты чело-

веческого труда, человеческой культуры, которая одинаково запечатлена во всем — в домах, в памятниках архитектуры, в лицах, в человеческих отношениях, — эти преимущества еврейского пути начинают казаться сомнительными.

Вот лежат рядом две страны; между ними такое маленькое пространство — и такое невероятное разнообразие культур. Между Францией и Швейцарией, между Францией и Италией — целая вселенная, это совершенно разные миры. Вот Швейцария с ее кантонами, где каждый кантон — сам себе господин и сам себе хозяин... Это удивительное чудо Европы, это загадка Европы. Что было задумано, какой замысел был брошен над этим материком? Мы абсолютно не понимаем, что такое **личность**. Русская культура и русская философия — и тут они тоже очень интересно переплетены с советской идеологией — отмечены приматом коллективизма. И притом все равно, как этот коллективизм называется: народ, государство, община, хоровое начало, церковь... Но этот примат для выходцев из русской культуры абсолютно явственен и приемлем, в этом они видят свое преимущество перед Европой. Мы совершенно не понимаем, не чувствуем тех экзистенциальных, даже мистических глубин, которые скрыты за европейским представлением о личности. Отдельный швейцарский кантон — это ведь тоже особое представление о личности. И один европеец, который строит свой мир, свою вселенную, — это личность. Города-личности, страны-личности.

Это было очень горькое путешествие, потому что глаз радовался, а душа почти плакала. Оно открыло мне наше положение, всех нас — русских евреев. Это, в сущности, почти тупиковое положение. Мы духовно замкнуты между двумя мирами, каждый из которых коллективистичен. Ведь еврейский мир по идее так же коллективистичен, как и русский, ибо идея еврейского народа и еврейского существования — я не говорю сейчас о еврейской избранности — это коллективистическая идея. И выбор между Россией и Израилем — не между странами и политическими реалиями, а между духовными сущностями — превращается для нас в выбор между коллективизмом, который тебе этнически чужд и тебя выталкивает, и коллективизмом, который тебе кровно свой и готов тебя принять. Но оказывается, что ты не хочешь метаться между этими двумя выборами. Россию мы для себя закрыли, но коллективистичность Израиля (не страны, а духовной реальности) начинает нас пугать. Мы ничего не знаем

о своем прошлом, но ведь не может же быть случайным, что в Европе мы чувствуем себя так легко, и спокойно, и свободно? Чтобы такой радостью наполняла она нас! Это значит, что две тысячи лет скитаний по Европе, которые выпали на нашу долю, не прошли даром: Европа — уже наш мир...

х х х

Швейцария поразительна была тем, что с самого начала напомнила мне Израиль. Ландшафт, горы... И в Женеве столько же жителей, сколько в Иерусалиме. И на каждом шагу слышишь выражение: "Старый город", — как в Иерусалиме. И так же естественно вписываются в город куски деревни, как в Иерусалим: на окраинах Женевы я видела маленькие, аккуратные стада коров, полянку, на которой молодой козленок играл с поросенком. Я бы сказала, что Женева по отношению к Иерусалиму — это потерянный рай. И "земля, текущая молоком и медом", — это, конечно, Швейцария.

Только что прошел дождь, висели низкие тучи, и у меня было полное ощущение, что дождь этот — молочный. Тучи были как набухшее вымя, а дождь проливался, как парное молоко. И звуковым обликом Швейцарии стало для меня не тиканье часов и шуршание банкнот, а этот вот мягкий теплый молочный дождь и парная земля. Я опять увидела очень ухоженную землю. И снова возникла у меня эта горькая мысль: я не знаю, выиграли ли мы время, я не знаю, что значит "выиграть Время", но у меня полное ощущение, что мы проиграли пространство... Да, в Женеве есть Старый город, только этот город — европейский. Какие бы усилия я над собой ни совершала, я не могу ощутить арабский Старый город в Иерусалиме — своим. Там меня всегда охватывает ощущение, что в нем нет места для человека, — все сливается в сплошной орнамент из зданий, людей, рынка, голосов. Жить в этом городе каждый день, провисая над бездной, над пропастью Востока — страшно. Мы говорим, что Израилю грозит "левантизация", — это не то! Не левантизация, а мусульманизация, провал в коллективистическую, безличностную пропасть Востока.

Есть очень приятное, шпенглеровское, и очень популярное в России (я думаю, не случайно) противопоставление культуры и цивилизации, очень утешительное, мы все в нем живем. Оно сейчас стало всеобщим. После Европы я этого больше не чувств-

вую. Я поняла, что нет такой культуры, которая бы не имела своего цивилизационного облика. И нет такой цивилизации, которая не была бы культурой. Швейцария — это и культура, и цивилизация. Для нашей русской традиции это удобное противопоставление, ибо Россия не знает цивилизации.

Израиль тоже провоцирует утешаться этим противопоставлением, потому что цивилизации в современном смысле здесь, по сравнению с Европой, — мало. Культура здесь, по нашему убеждению, **должна быть**, — независимо от того, чувствуем мы ее или нет. Но я повторяю, — я все больше и больше сомневаюсь в том, что возможна культура, подлинная культура, без выросшей на ней и из нее “своей” цивилизации. В этом смысле Европа органична: ее цивилизация — как дерево, выросшее из почвы родной культуры. Но странно: стоит заговорить об этом с некоторыми израильскими евреями, — и они возражают: “Да, Европа, конечно, но ведь она такая благополучная...” О Господи, но почему благополучие — это недостаток? И потом неправда, будто она такая благополучная, — она живая. Другие начинают говорить: “Да, но она загнивает, у нее нет моральных ценностей...” Но и это неправда, — Европа очень моральна. Посмотрите, что делается в мире — где бы что ни произошло, в России ли, в Уганде, в Чили, — к кому зывают? К Европе. В Европе есть общественное мнение. Европе мы предъявляем претензии. Солженицын всю свою проповедь строит на том, что обвиняет Европу: она-де не выполняет обязательств, которые налагает свобода...

... Во Флоренции меня потрясла не сама галерея Уффици, а то, что я увидела картины Боттичелли в освещении того неба и того света, которые есть в них самих. Эти картины висели в простенках между окнами, а в окнах я видела тот же пейзаж, что был нарисован на этих картинах. И перед ними стояли люди, которых свободно можно было перенести внутрь рамы, — они слились бы с персонажами. А потом я увидела картины Рафаэля — и поняла, что такое личность, как ее понимал Ренессанс. Эти люди не жили мечтой о будущем. Они не рассматривали себя, как ступеньку к какому-то будущему состоянию мира. Они до конца изживали данную им жизнь, а потом уходили в картины или растворялись в пространстве Тосканы. У них было ощущение своей личности, как Божьего дара, который нужно использовать. Без мессианизма, без профетизма, без этого унылого русско-еврей-

ского комплекса: будущее, будущее, будущее, на которое мы всегда работаем...

Но один мой собеседник, русский еврей, как и я, сказал мне: "Вы говорите о европейской культуре, потому что вы ее знаете. Но вы не знаете еврейской культуры, которую нужно изучать, которая передается из поколения в поколение, в которую не так-то легко войти, на это нужно потратить целую жизнь". Это серьезный аргумент. Но я хочу сказать: культура, которая передается из поколения в поколение только по одной цепочке Слова и которую нужно "изучать", не является в европейском — да и в моем — понимании культурой. Может быть, следует говорить об особом еврейском эзотерическом знании, об особой еврейской мудрости, о еврейской традиции. Но можно ли говорить о преемственной, непрерывной культуре — образе жизни, языке, традициях, об овеществленном в быте и в сознании наследии поколений, — когда на исторической прямой есть всего две точки: сегодня и две тысячи лет назад? Ведь нельзя же всю свою жизнь измерять только и постоянно тем, что было две тысячи лет назад, или тем, что будет две тысячи лет спустя?

Абсолютная недостаточность сиюминутной жизни, абсолютное ощущение данного пространства, как подлежащего освоению в каждую данную эпоху, в данный момент, — вот что для меня составляет духовность Европы, и без чего нет культуры и нет, пожалуй, подлинно нормальной жизни.

х х х

Во Флоренции, в этом очень спокойном городе, через который протекает та "желтоглазая Арно", о которой писал Мандельштам (она действительно желтоглазая), — время как будто остановилось. Там очень много фазтонов, много больше, чем машин, и по утрам я просыпалась от звука, который, казалось бы, мне по году моего рождения не суждено было услышать в моей жизни: цокот множества копыт по булыжной мостовой. Это был звук времени, которому я не принадлежала. И странно, что во Флоренции, более спокойной, чем Париж, чем Женева, я жила в таком напряжении, словно вот-вот должен раздаться взрыв.

Это обилие мрамора, картин, скульптур, эта естественная для итальянского католичества незаметность перехода церкви в то,

что мы называем музеем, превращает всю Италию в один общий дом. Итальянец живет в этом доме, он переходит не из мира в мир, а из комнаты в комнату. Улица — комната, и галерея Уффици — комната, и флорентийский храм, где крестили Данте, — тоже комната. Итальянец все время остается в пределах абсолютно обжитого мира. Но настолько обжитого, что рождается чудовищное подозрение, — не изжитого ли?

И мне подумалось: быть может, современный итальянский террор — это какая-то попытка взорвать свое вневременное пространство, вернуться в историю, — то, о чем Брюсов так варварски писал: "Оживить одряхлевшее тело волной пылающей крови..."

А затем я увидела скульптуру Донателло "Давид и Апполон", увидела Микеланджело и Боттичелли, которые открыли мне итальянское прочтение Танаха. Я увидела ту абсолютную естественность, совершенно божественную легкость, с которой они связали Танах с античностью, пляшущего Давида — с Дионисом. И мне стало больно. Мне стало больно от ощущения, что это какие-то **наши** неиспользованные возможности, еврейские возможности.

Но мы сами наложили на себя запрет. Мы его создали, мы ему подчинились — и построили свой храм во Времени.

Может быть, есть что-то сходное между итальянской попыткой вырваться из вневременья и нашей, еврейской попыткой вернуться в историю. Разумеется, аналогия сомнительна, у нее нет общего исторического основания. Но поскольку Италия — это сплошная "метафизика", то хочется говорить на ее уровне. Да, возникает ощущение каких-то упущенных нами возможностей и какой-то принципиальной аскетичности, граничащей с нищетой, на которую мы себя обрекли.

Мы провозгласили, что наша Истина такого рода, что она не нуждается в культурном воплощении. Что она, может быть, даже должна это культурное воплощение победить. В еврейском сознании существует некий незримый, негласный диалог между нашей метафизикой — и культурой в европейском смысле слова. Для нас это враги. И мы верим, что конечная победа останется за еврейским культурно невоплощенным (опять же в европейском смысле слова "культура") духом.

Но я не могу смириться с мыслью, что мы верим в миф, который исторически ничем не подтвержден. Вот, сегодня мы завоевали себе пространство, мы пришли в него — в пустое пространство, которое нам оставили наши предки. Но чем мы его наполним?

Это очень красиво — сказать: зато у нас позади есть Время. Человек так же принадлежит пространству, как и времени. Я подозреваю, что в нашем мышлении — в нашем русско-еврейском мышлении — существует устойчивая, как миф, убежденность, что (экзистенциально, религиозно) наполненное Словом время, — более высокая ценность, чем застроенное Культурой пространство. Я сама так думала в России, но теперь у меня больше такой уверенности нет, потому что я видела Европу — прекрасное торжество очеловеченного пространства.

М. Каганская — литературовед; в СССР подготовила, но не смогла опубликовать монографии о А. П. Чехове и О. Э. Мандельштаме; в Израиле с 1976 г.; опубликовала ряд статей в журналах "Время и мы", "Сион", "Двадцать два", "Синтаксис". Живет в Иерусалиме.

НИНА ВОРОНЕЛЬ

У КАЖДОГО СВОЙ ДОМ

Я должна признаться, что принадлежу к числу людей, которые всегда оставляют место для сомнений, и не принадлежу к числу людей, которые считают, что все евреи обязательно должны жить в Израиле. Я на самом деле не смогла еще для самой себя до конца решить эту проблему. Есть, конечно, огромные преимущества в том, чтобы жить в цивилизованной, культурной и "старой" стране, где почва уже унавожена, вспахана, удобрена, и кустики все подстрижены, и травка посеяна, скошена, как надо и вовремя, и дома уже сложены — из кирпичей, и все трубы подведены, — по сравнению с тем, чтобы начинать здесь, где 30 лет назад вообще ничего не было, была пустыня, и мы должны сами прокладывать трубы. Не все любят прокладывать трубы. Есть люди, которые обожают прийти на все готовое. И я, между прочим, не так уж уверена в самой себе, — я тоже люблю прийти на готовое. И все же...

Из своих поездок по Европе я вынесла множество впечатлений и один урок. Я помню Флоренцию и галерею Уфици. Но у меня есть и другое воспоминание о Флоренции: я иду по улицам, и на каждом углу — синенький плакатик. На плакатике изображены две раскрытые книжки; на одной нарисован наш любимый усатый профиль, всем известный, в фуражке генералиссимуса и на фоне серпа и молота, а на другой — тоже профиль, тоже усатый, только с чолочкой на лбу, и тоже в фуражечке, но уже на фоне свастики. А сверху написано: "Величайшие имена XX века". Вот чем занимается Италия. В тот день, когда я уезжала из Рима, там были беспорядки — было брошено 300 бутылок с зажигательной смесью, были жертвы — это, значит, бузили какие-то очередные "левые". Я не знаю толком, чего они хотят. Думаю, они и сами этого толком не знают. Однако же в университетах студенты бьют профессоров, чтобы те ставили им хорошие отметки, и те ставят, потому что каждому человеку не нравится, когда его бьют.

Я не думаю, что эти студенты, или бывшие и нынешние фашисты, или террористы поместились бы на картинах Боттичелли или Рафаэля. Для меня они — с какой-то другой картины. Я вспоминаю Венецию, где мы зашли в маленькое кафе. Хозяин кафе, как только слышал нашу русскую речь, сказал, что он тоже был в России. Оказалось, что он был в России с немецкими войсками. Но это его совершенно не смущало, он чувствовал, что мы братья, это нас так роднило! Он нас обожал, обнимал, целовал, кричал: "Руссо! Рот фронт!", он нас провожал и на прощанье подарил нам конфету в виде пятиконечной звезды. Он нас заверял, что все люди братья, а особенно — мы с ним, потому что мы были в России, — правда, с разных сторон, и он нас немножечко убивал, но какое это имело значение?! Мы вышли, совершенно опьяненные его любовью. Когда мы подсчитали сдачу, оказалось, что он обманул нас вдвое. Я не думаю, что по галерее Уфицци этот итальянец ходит, как равный, как наследник итальянской культуры, и что она ему принадлежит. Скорее, кому-то другому.

Я думаю, что эта культура принадлежит тому, кто ее создавал и создает. В какой-то мере она принадлежит и мне, — как потребителю. Но когда мне говорят, что на этом основании итальянцы должны признать, что у нас с ними "общая культура", что мы — тоже европейцы, я, честно говоря, испытываю некоторое смущение. Мне кажется в этот момент, что мы — без всяких оснований — просимся в чужую культуру?

И тут время сказать о главном уроке, который мне преподала Европа. Этот урок состоит в том, что у каждого есть свой дом. И в чужом доме мы — чужие. В свой первый визит в Париж я ехала в автобусе. Я не знала, где выходить, и попросила шофера — на своем "замечательном" французском языке (я знала одну эту фразу), — чтобы он сказал мне, где выходить. Он обещал — и не сказал. Потому что французы не любят "чужих". Если ты приезжаешь в "его" страну, если ты плохо говоришь по-французски и не знаешь, где выходить из автобуса, то шофер тебе этого не скажет. Поэтому проситься во французскую культуру — это, по моему, совершенно безнадежное дело.

Я была в Америке, ставила там пьесы, была — на время! — любимым автором, со мной носились, и, однако, я все время чувствовала, что у них — "своя компания", а у меня — "своя компания". Я была в Англии, тоже имела там дело с продюсерами, и снова ощущала то же самое: у них своя компания, у меня своя

компания. Потому что у них были свои проблемы: выборы, правительство, мэры... И меня это не касалось. В Израиле я наконец попала в ситуацию, когда все, что происходит в этой стране, меня кровно касается. Я переживаю поражение израильской команды или вторжение израильской армии в Южный Ливан, как свое кровное дело. Я впервые в жизни узнала радость поддерживать или ненавидеть свое правительство, как "свое". В России я всегда употребляла слово "они". Всегда были "они" и были "мы". Здесь я перестала говорить "они". Наше правительство — это наше правительство, хорошее или плохое, прекрасное или отвратительное, но наше. И я знаю, что история моей жизни совершается здесь. Даже если я уеду, — все равно моя судьба кровно связана с тем, что совершается или совершится здесь.

Жить во Франции или Америке гражданином Израиля — это совершенно не то же самое, что жить там, как эмигрант, как человек без роду, без племени, приехавший в страну, как бедный родственник. Израильский паспорт — очень неудобная вещь. Он не дает права устроиться на работу. Чтобы устроиться на работу в Америке, нужна "грин-карта". И все-таки — с израильским паспортом я — представитель державы, хорошей или плохой, но державы, а с эмигрантским паспортом, даже с "грин-картой", я никто, человек без собственной культуры, с чужим акцентом или вообще без языка.

Русские эмигранты во Франции и Америке живут как эмигранты, как изгои, как чужие, со своими трудностями, со своей русской болью. Говорят, что эмиграция — это свобода, а свобода — это счастье. От чего свобода? От КГБ? Свобода — это вещь внутренняя: я была свободна в этом смысле в России, я не могу сказать, что я более свободна здесь. Так в чем же свобода русских эмигрантов? В том, что они живут из милости и с трудом зарабатывают на кусок хлеба? Они — эмигранты, и правда в том, что им плохо, потому что никакая свобода не заменяет той потери почвы, которая неизбежна в эмиграции. Вот почему я ощущаю себя в Израиле как сирота, которая на старости лет нашла родителей. И это очень радостное чувство, — оно компенсирует не такую уж прекрасную природу, кошерную пищу и отсутствие автобусов по субботам.

Есть у меня и еще одно ощущение — уже израильское, глубоко личное, и тем не менее, думаю, — многие его разделяют. Вот я сижу на худсовете, где обсуждают мой сценарий; одни ру-

гают, другие хвалят; может быть, утвердят, может быть, зарубят, — но у меня ни разу не возникает мысли, что решение зависит от того, что я — еврейка. Я должна сказать, что в России я с этим ощущением прожила всю свою профессиональную — и не только профессиональную — жизнь. В школе, где я должна была получить медаль — и не получила. В университете, когда я пришла к отцу в слезах и сообщила, что у всех девочек-неевреек на вступительных листах стоит красная галочка и им ставят лучшие отметки. И когда мой сын поступал в университет, и я ему говорила: “Имей в виду, ты еврей, тебе нужно заниматься в сто раз лучше, чтобы получить ту же отметку”. И когда его завалили на математике, и никто не мог в это поверить, и он не мог, — а я верила, потому что я-то знала это с детства, я это несла в себе всегда... Когда я начала переводить, и знала, что перевожу хорошо, но меня все-таки с трудом печатали, мой учитель Семен Израилевич Липкин мне говорил: “Неллочка! Ну что вам стоит поменять фамилию? Ну, что это такое: Воронель? Как клоун у ковра! Ну, возьмите “Петрова”, “Иванова”, ну, вам же будет легче, облегчите себе жизнь...” И мне было противно...

Всю жизнь “это” было важно. Всю жизнь я играла в игру: входила в комнату и начинала отгадывать: “еврей, не-еврей, еврей, не-еврей...” Теперь я перестала играть в эту игру. Я сижу на худсовете и думаю: “Боже мой, они же все евреи!” Раньше у меня для каждого человека был такой “коэффициент”. Здесь он у всех один и тот же, — я просто выношу его за скобку и вычеркиваю. И каждый раз, когда я об этом вспоминаю, я это чувствую, как огромное благословение.

Говорят, что это можно ощущать и в Америке, и в Швейцарии — там, мол, тоже не будут вспоминать, что я еврейка. Это неправда. Будут. Не знаю почему, но будут. Во всякой стране еврей есть еврей. Свобода в Америке означает только то, что там нет дискриминации. Но кто еврей, там все помнят. И который еврей, тот сам кричит все время: “Я еврей, а они не евреи!” И в Европе это есть. И было, и будет. Я ездила по Европе и, конечно, тоже восхищалась и ахала: “Неужели это вправду собор Парижской богоматери?! Посмотрите, и правда — собор Парижской богоматери! Ах, какое чудо!” И поражала всех окружавших меня польских евреев тем, что я его узнаю и говорю: “Смотрите, это собор Парижской богоматери”. Я должна признаться: в Венеции мне нравится больше, чем в Иерусалиме, ну, что делать?! Я, прав-

да, не знаю, согласилась ли бы я там жить, но я и в Иерусалиме тоже не хочу жить. Но когда я ездила по Европе и переезжала из одного города в другой, меня немножко преследовала мысль: а в каком году тут в очередной раз выгоняли евреев? И вот что интересно: не было ни одного города, из которого бы не выгнали! Поэтому что бы мы ни говорили о Европе, — нас все равно выгонят! Как бы мы ни приписывались к европейской культуре, — нас все равно опознают и выгонят. Может, лично нас нет, — так наших детей. Потому что история нас учит, что иначе еще ни разу не было. Вот уже, казалось бы, укоренились, прижились, двести лет прошло, четыреста, восемьсот, вот уже говорят по-русски лучше, чем русские, пишут стихи по-немецки лучше, чем немцы, строят, печат, кажется, — без них жить нельзя — и выгоняют! Уж такие “испанцы” были, такие “испанцы”, что ни один настоящий испанец таким не был, — все равно выгнали! Исключительно вредное семя... Может, нам надо исправиться, может, надо стать, как другие? Я не знаю, избранный ли мы богом народ, но что я точно знаю: мы хуже других! Мы хуже других, не лучше, а именно хуже, и именно потому, что мы хуже, никто нас долго терпеть не может. Я не знаю, почему мы хуже. Мы зловерные, настырные, мы самоутверждаемся, кричим, машем руками, сверкаем глазами, хотим всюду быть первыми, хотим иметь все самое лучшее — итальянские картины, французскую кухню, русскую ученую степень... — этого долго вынести нельзя. Этого долго не может вынести любой народ, — и нас все равно выгонят. Из любого места. Уж как жили евреи в Германии! Все равно выгнали. Не завтра, так через сто лет, но выгонят обязательно. Поэтому, может быть, этот маленький клочок земли, эта ужасная страна, где климат страшный, налоги самые высокие в мире, правительство сволочное, о нас не думает, все жулики, воздух перегоняют и даже за это требуют деньги, все фальсифицировано, ножки от мебели отваливаются на третий день, паспорта теряют в министерстве, почта не работает, военная служба обязательная, все время стреляют, подкладывают мины — все это так! — но, может быть, все дело в том, что этот маленький клочочек — наш?! А за армию ведь действительно нужно платить. Но все-таки, может быть, лучше платить за армию, чем чтобы нас гнали в Освенцим?

Конечно, каждый про себя может подумать: а вдруг я проскочу, а вдруг на мой век хватит и меня не погонят в Освенцим? И правда — может, не погонят? Ведь Освенцим был так недавно, —

поэтому можно и “проскочить”. И все-таки, — даже если можем “проскочить”, несравненно лучше знать, что есть этот клочок земли, который защищается, который нас защищает. Так что — предоставим это другим? Что ж, это тоже красиво, — можно предоставить. Мало ли тут мальчиков, — пусть “их” убивают, а мы уедем? Ведь вроде бы все равно, — я в армию не пойду, от меня пользы никакой, а так я уеду себе в Лондон ставить пьесы, меня еще и тут больше уважать будут, тут ведь какие люди: они уважают только тех, кого уважают в Лондоне...

Когда я слышу, что Европа лучше, что Америка лучше, я говорю — я видела Европу, я видела Америку, это действительно лучше. И тогда возникает вопрос: а зачем мы вообще все это затеяли? Может, это была ошибка? Может, действительно нам лучше закрыть сейчас всю эту “лавочку”, это спокойней и удобней, — такую неудобную, такую жаркую, такую опасную, такую бедную, и экономика здесь разваливается, и язык такой, что выучить невозможно, и война, и бомбы взрываются, — может, нам ее закрыть и отправиться в Европу, кушать в парижских ресторанах? Почему нет, вообще говоря? Есть места, где лучше. Почему бы нам не жить, где лучше? Каждый хочет жить, где лучше. Вот и нефти нам не дал Господь Бог! Были бы мы немножечко богаче, а так нам все время зарплаты до полочки не хватает, а там, в Америке, хватит...

Так что главная проблема в том, нужна ли нам эта “лавочка”. Может, она нам не нужна. Я готова обсуждать этот вопрос. Я хочу только рассказать маленькую историю, очень тривиальную историю для Израиля: я зашла к портнихе, она была в платье без рукавов, и у нее на руке был номер — освенцимский номер. Больше ничего. Так, может, действительно, все это нам все-таки нужно?

Когда принимаешь решение, ты должен быть готов платить за него. Конечно, можно не платить. Можно предоставить другим — например, марокканским евреям, — пусть они защищают эту страну, а мы отправимся в Европу. Пусть они защищают, а мы, когда нас прогонят из Европ, приедем сюда и спрячемся, — марокканцы нас как-нибудь впустят, все-таки “а идише нешуме”...

Но, может быть, я все время говорю не о том? Может быть, все дело — не в соблазне французской кухни или чистоте флорентийских улиц? (Хотя какая там чистота?! даже в Нью-Йорке — те же свалки, и уборные пахнут точно так же, и воняет жутко,

и в телефонных будках — лужи мочи и кучи кала, и все трубки вырваны с мясом!) Может быть, все дело в том, что там есть многовековая культура, там есть выросшая на этой культуре “своя” цивилизация? Верно, в Нью-Йорке прекрасная культура, там лучшие в мире музеи, там — а не в Париже — центр современного искусства, вся Европа отдает свою культуру в Америку, потому что у Америки есть деньги. А еще там прекрасная цивилизация: дома больше, квартиры уютнее, машины роскошнее и есть у каждого денег навалом, и кухня какая угодно — не только французская, но и японская, и китайская... Так что, может, нам всем двинуться в Америку?

Я не знаю, помешала ли наша избранность созданию нами культуры, равной европейской. Избранность — это понятие очень отвлеченное. Для каждого оно имеет свой смысл. Я в эти метафизические глубины вдаюсь очень редко. У меня другой подход к действительности, так сказать, художественный, я описываю факты и думаю: пусть тот, который очень умный, строит из этого метафизические теории, это не моя забота, моя забота — описать. Но когда я вижу евреев — здесь, в Израиле, и в других местах, — они меня поражают именно своей избранностью. Я повторяю — мы хуже других. Это не означает, что мы в абсолютном смысле слова хуже. Но если всмотреться в эту культуру, построенную где-то там, в Европе, не нами, если ее принципы принять за единицу, то мы точно хуже, потому что мы — иные. Мы иные, а поскольку европейцы “хороши” для себя в своей культуре, то мы — хуже. Поэтому вопрос — почему мы не построили Швейцарию? — смешон. Швейцарию построили швейцарцы. Между прочим, за шестьсот или восемьсот лет. Нам не удастся построить Швейцарию, мы все равно построим Еврею, и она будет хуже — для швейцарцев. Наш темперамент, наш склад ума, наша отличность от них во всем, — кто его знает, почему, но факт, что она существует, — не даст нам построить Швейцарию, мы построим “свою” страну. Да вот, хотя бы арабы не дадут. Разве они говорят нам: если вы будете строить Швейцарию, то мы вас оставим в покое? Так что в практическом смысле этот вопрос не существует: у нас не было обычного пути и у нас не будет обычного пути. Пока что, во всяком случае.

Что же касается цивилизации, то позволительно спросить: а что вообще такое “цивилизация”? Действительно ли нужно ее придумывать каждому свою? Мне кажется, скорее, что цивилизация —

как мебель, ее можно переносить с места на место. И поскольку уже есть европейская и американская цивилизация, — зачем нам нужна “своя”, еврейская? Зачем нам изобретать новые меры длины и новый способ добывания электричества? Разве это не прекрасно, — взять готовую цивилизацию, готовые внешние формы, — и перенести? Даже картины Кабакова переносят, с гвоздика на гвоздик, а уж цивилизацию, я уверена, точно можно перенести, и от этого оригинальность собственной культуры ни сколько не пострадает. Когда я вхожу на территорию Тель-Авивского университета и обнаруживаю, что 15 лет назад на месте этого прекрасного парка, с прелестными зданиями, с памятниками, с лужайками, было пустое место, я поражаюсь: как, неужели это все построили всего за 15 лет?! Из чего? 30 лет назад на месте многих улиц Тель-Авива был сплошной песок, а теперь всюду — цветы, цветы, цветы. Так что цивилизация — это дело наносное. Если дадут немножко жить, если не убьют, — будет цивилизация! Слава Богу, в этом нет проблемы. Мы даже очень уж быстро стремимся ее заполучить: машин все больше, дороги все шире. Будет цивилизация... И унитазы будут, и ванны будут, и все будет, как надо. Это нелепое соображение — будто особенность еврейской культуры, ее “ориентированность на время”, мешает нам заимствовать европейскую цивилизацию. Может быть, теоретически это так, но такого препятствия нет на практике. Я слишком часто вижу роскошные лимузины, в которых сидят евреи в кипах, с пейсами, в черных хасидских сюртуках. Я была в Нью-Йорке и видела, что и там они, все до единого, точно так же с удовольствием пользуются благами цивилизации. Не пользуются цивилизацией только те, которые бедные, — они, увы, не могут. Или такие, как жители Меа-Шаарим, которые отказываются получать израильские паспорта и в споре не участвуют. Все остальные, нормальные люди, какие бы у них ни были религиозные идеи, стараются жить как можно ближе к нормальной цивилизации. Потому что гораздо лучше купаться в ванне, чем вонять. Потому что гораздо лучше иметь три туалета в доме, если у тебя много детей, чем один или ни одного. Есть такой танец — “чететка”. Его изобрели в Одессе. Это — когда у тебя восемь детей и один горшок. Так вот, евреи, что они там ни строят из Израиля — Швейцарию или Еврею, все-таки не хотят танцевать “чететку”. И они даже не спорят об этом. Так что цивилизация, как материальное достижение современного мира, не стоит у нас в повестке спора.

А культура... Что ж, не только у каждого народа, но и у каждого слоя в народе — своя культура, свой мир. Одни живут в одном мире, другие — в другом. Это — как проблема параллельных прямых, сходящихся в бесконечности. Где-нибудь в бесконечности и мы решим наши противоречия — между нашей культурой и заимствованной цивилизацией, между Западом и Востоком, между нами и Меа-Шаарим.

Н. Воронель — поэтесса, переводчик, драматург; в СССР опубликовала ряд переводов из английской поэзии (в т. ч. О. Уайльда, А. Милна и др.) и несколько детских пьес; ее стихи и одноактные пьесы, не принятые к официальной публикации, печатались в журнале "Евреи в СССР". В Израиле с 1974 г. В книготовариществе (фонде) "Москва-Иерусалим" вышли ее книги "Папоротник" (стихи) и "Прах и пепел" (пьесы). Живет в Тель-Авиве.

АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ

В МИРЕ НЕТ "ЦЕНТРА"

Сопоставление Израиля и Европы действительно ставит перед нами проблему. Проблема эта, разумеется, не имеет никакого отношения к вопросу: "Где лучше?" Она не имеет также никакого отношения и к вопросу о различии культур или их уровня. Проблема, которая здесь на самом деле существует, является специфически еврейской и даже специфически русско-еврейской проблемой.

Мы все были воспитаны на Европе, на европейской культуре. Русская культура, на которой мы выросли, вся пронизана ностальгическим чувством по Европе, она все время тоскует по Европе, она вся построена на европейских реминисценциях. Не было ни одного по-настоящему плодотворного русского писателя — от Гоголя до Толстого и Достоевского, — который бы многократно не путешествовал по Европе, не любил ее, не говорил на многих языках, не читал бы непрерывно европейскую литературу. В России, в тюрьме, мне достался томик Пушкина — незавершенное и незаконченное. Все это "Незавершенное" было полно его заметок, где он писал: хорошо бы написать русско-го Вальсингама, русско-го Тернера. Он все время словно бы пытался "переводить Европу" на русский язык.

Поэтому у меня нет сомнений, что Европа должна быть нами немедленно узнана и с улыбкой встречена. Более того, сразу возникает такое ощущение, что это наше родное. Это первое ощущение. Когда я увидел Лондон, я ощутил, что это Диккенс. Когда я увидел Париж, я был счастлив, — это Бальзак, Стендаль, Дюма. Это так знакомо. И Рим...

Но как раз Рим дал мне очень характерное переживание. В Риме, сопоставляя невероятную красоту Рима классического, — Форум, Колизей, — с Римом современным, я пришел к мысли, которую затем начал постепенно расковыривать. И тогда я по-настоящему увидел, мне кажется, то, что характерно для всей Европы. Рим — это разрушенный город, населенный... обезья-

нами. Это, разумеется, грубое преувеличение, но я сознательно делаю такое преувеличение. В Риме нет ни одного здания, которое было бы отремонтировано. Там нет ни одного здания, построенного позже 18 века, которое выглядело бы хоть чуть лучше безобразного. Нет ни одной стены, которая не была бы загрязнена фашистскими знаками и серпами и молотами. Рим — это чудовищное безобразие, которое нагромождено на поразительную красоту.

Прекрасна Флоренция. Но это опять же относится к Флоренции до 18 века. А ее окружают жуткие современные здания. Как только выходишь за пределы старинной Флоренции, начинаются Черемушки, которые мы хорошо знаем по Кирият-Гату, — только в Кирият-Гате еще есть такое безобразие. Я был в Венеции. Потрясающая маленькая Венеция, где гуляют туристы, а вокруг — не менее потрясающая своим убожеством современная архитектура.

Я встречал итальянских интеллектуалов. Они, конечно, существуют, но они ничуть не лучше американских, они, пожалуй, выглядят даже провинциальнее. Поэтому тот факт, что древний Рим на несколько голов выше Нью-Йорка, совершенно ничего не значит для современной итальянской культуры. Она вовсе не оказывается от этого автоматически на несколько голов выше американской. Это означает, боюсь, что она — не на уровне своего Рима.

Я хочу рассказать еще об одном впечатлении. Меня привели в очень интересный римский квартал, где архитектура меня особенно поразила своим необычайным уродством. Я спросил: “Что это? Что это за ужас?” И мне сказали: “Это попытка величия”. Во времена Муссолини было провозглашено, что отныне Италия начинает времена новой классики. Были вложены серьезные усилия и деньги, приложены большие старания, — но возрождения классики все равно не получилось.

А потом я побывал во Франции, и снова главное, что меня поразило, — это расхождение между Францией, принадлежащей сегодняшним французам, и Францией, принадлежащей нам, русским евреям, т. е. той Францией, которую мы помним по романам Золя, Дюма, Бальзака. “Наша” Франция — прекрасна, великолепна, но это не подлинная сегодняшняя Франция. Один из французских знакомых сказал мне: “Вы гуляете по бульварам, по набережным Сены, но вы не знаете настоящей Франции. Пой-

дите на могилу Наполеона, и вы увидите сердце Франции. Вот если вы сумеете пережить это, — тогда вы поймете Францию". Я пошел на могилу. И я должен сказать, — после этого я понял, что я действительно Францию не знаю. Эта гробница, — я настаиваю на этом, — созвучна тому пафосу, который я увидел в мусолиниевском квартале. Это ложный пафос, это могучий мрамор, это невероятная пышность, это памятник побед, которых у Франции нет. Это памятник комплексу неполноценности. И без понимания этого сокровенного нельзя говорить о Европе.

Европа очаровательна. Это самое удобное место для жизни на земле. Бродя по Америке, — а это одна из самых комфортабельных, самых красивых, самых природно богатых стран в мире, — я все время ощущал, что Европа все равно гораздо уютнее для нас, потому что мы по природе европейцы, таково уж наше воспитание. Она уютнее, она очаровательнее. И все, что в Америке хорошо, — заимствовано у Европы, только богаче и больше. И все же я хочу спросить: почему нам не быть честными с собой и не сказать, — что хорошо, то хорошо, но что есть, то есть? А есть у сегодняшней Европы этот сокровенный комплекс неполноценности. Она чувствует, что умирает, не будучи в силах освоить собственную культуру. Она чувствует и знает это свое бессилие. И настоящая проблема для Европы, — такая же, кстати, как и для нас, — как выбрать путь, чтобы оказаться на уровне своих предков?

Я обошел множество галерей в Париже; Париж — это ведь центр мировой живописи! Я не говорю о Лувре, потому что Лувр — это не сегодняшняя Франция, это ее прошлое. Так вот, я обошел множество современных галерей и боюсь, что вероятность встретить талантливое, оригинальное полотно там ничуть не выше, чем в Тель-Авиве, Иерусалиме или Цфате. И дело не в том, что талантливые люди всюду редки. Дело еще и в том, что весь мир сегодня следует за небоскребами Америки. И если какие-то израильские бумагомаратели следуют за Парижем, а другие — прямо за Нью-Йорком — это уже не важно. Важно, что они не следуют за велениями собственной души, и это — проблема всего мира.

Европа — или, во всяком случае, та Европа, с которой нам имеет смысл общаться, для которой у нас открыты сердца и о которой мы всерьез можем говорить в духовных терминах, решает сегодня свою проблему, которая не менее тяжела, чем проблема Израиля. Потому что и перед ними, и перед нами действитель-

но стоит эта главная проблема: приспособиться к американским стандартам или найти в себе силы оживить свою культуру. Хорошо, забудем слишком высокое слово "оживить"! Создать новую культуру. Ладно, забудем и это слово — "создать". Ну, хоть сохранить старую культуру. Что-нибудь! Но одно из двух: либо продолжать культурное творчество, либо приспособиться к американским университетам. Такова реальная альтернатива. Сегодня миром правит Америка, а не Париж или Венеция. И Америка покупает Венецию и платит Парижу для того, чтобы они существовали. А потуги де Голля создать великую Францию выглядят точно так же, как могила Наполеона: смешно.

После того, как я побывал в Европе, я ощутил настоящее уважение к двум другим странам, о которых я раньше меньше думал, — к Голландии и Англии. К Голландии и Англии, которые совершают действительно героические культурные усилия. Англия, которая потеряла мировую империю, которая полностью лишилась всего, что поддерживало ее культуру, сейчас борется за то, чтобы создать и сохранить культуру, которую она имеет, сегодняшнюю культуру, которая, впрочем, никакого отношения не имеет ни к Уфицци, ни к собору Парижской богоматери. Но зато — это живая культура. И я вижу, что Англия испытывает в этом вопросе те же трудности, что Израиль, — недостаток средств, недостаток кадров. Я видел знаменитого ученого, который встречал меня в таких обтрепанных брюках, что у меня сердце сжалось — такой бедности я не видел даже в России! — и который не соглашается на приглашения Принстона, Гарварда и тому подобных американских университетов, потому что он хочет, чтобы в его Оксфорде был Оксфорд. И таких много. Почему бы и нам не подумать об этом? Все мы — вчерашние жители Шепетовки. А сегодня мы уже вдруг на меньшее, чем Париж или Гарвард, не согласны. Но неужели нам действительно должно принадлежать все самое лучшее? И наши жены должны быть непременно самые лучшие в мире? И наши города должны быть только самыми красивыми? А что, наши родители — самые умные и добрые люди на свете? А если у меня родители не самые лучшие в мире, — так что, может, это причина сменить родителей? Может, мне назваться другим именем или фамилией? А разве не стоял перед нами этот вопрос — перестать быть евреями? Мы имели время решить этот вопрос. Мы его решили — и вот мы здесь. Так что, опять начнем его перерешивать, потому что в Гарварде лучше университет?

Когда я в России решал для себя вопрос, куда я поеду, я решил поехать в Израиль. Если через пять веков здесь кто-то будет жить, и учиться в еврейском Гарварде, и наслаждаться еврейской галереей Уфицци, в этом будет мой вклад. Но если бы я поехал во Флоренцию и прожил там хотя бы еще миллион лет, галерея Уфицци все равно никогда бы не стала моей. В этом вся разница. Израильский художник, который здесь что-то создаст, создаст это отчасти за мой счет. Это и есть наш историко-культурный шанс.

У нас, у евреев, развилась за столетия какая-то необычайно высокая культура беззастенчивого гостевания. Мы так хорошо умеем гостить в чужих домах! Мы такие самые замечательные в мире гости! Постыдимся... Мы — дети своих родителей, и мы должны уважать их за то, что они наши родители, и этого достаточно. Мы живем в этих городах, и нам нужно украшать **эти** города, потому что **мы** в них живем. Нам принадлежит **эта** культура, и мы должны ее создавать, потому что она **нам** принадлежит. Мы создаем эту культуру, и она хороша только потому, что она — наша. Это не такая великая культура, какую мы можем потребить в Европе. Верно, но ведь — только потребить! Не мы создали европейскую культуру, не мы наследники этой культуры, мы — всего лишь ее потребители. Вообще говоря, потреблять — это тоже не стыдно. Я знаю человека, который говорит: “Почему считается, что талант обязательно должен состоять в творчестве, в созидании? А вот я, например, могу талантливо потреблять, могу гениально наслаждаться искусством”. Пожалуй, в этом есть свой смысл, — для потребителей, для туристов. Но, если мы говорим в подлинно духовных терминах, в терминах созидания, употребляя слово “творчество”, давайте не забывать, что потребитель и творец — это разные типы личностей и отношения к жизни. Иначе мы скатимся к тому, что вся наша нация, весь Израиль может превратиться в такого потребителя, — во всем. Если же мы хотим творить, то тут все однозначно: всякий, кто создает, не может создать ничего иного, кроме своего. Он создает только свое. А это свое затем уже войдет в культуру или нет. Если оно подлинно “свое”, то войдет, а если оно чужое — оно исчезнет. Перед нами нет такого выбора — строить небоскребы или Колизей. Мы все равно никогда не построим Колизей. Это уже было, это принадлежит другим. Небоскребы у нас есть шанс построить, но они не будут выражать нашу культуру, это просто техническая наша

потребность, вот и все. Что создаст еврейский народ и что он создаст в Израиле, — смешно это предугадывать. Есть, например, такой еврейский художник как Иоси Розенштейн. Он наложил на себя религиозные ограничения, — он не рисует лиц. Но я не уверен, что для его творчества это было ограничение. Ибо его картины по-своему прекрасны. И вот противоположный, но в каком-то смысле смыкающийся случай — Йосл Бергнер, который всю человеческую трагедию изображает в виде бредущих в пустыне, распятых или смертельно уставших терок. У него это не религиозное ограничение, а ощущение, которое идет изнутри. Это именно то, о чем я говорил, — что для человека, в сущности, главная — и уже достаточная — задача в жизни: быть достойным своих родителей, не предать их, не продать, не снизить, — и этого достаточно. Терки Бергнера — это еврейский быт, еврейская мелкость жизненных истоков, возведенная в лирическую тему, в эстетику. И оказывается, что эта эстетика — та же, что в железных людях Розенштейна. Может быть, в этом и есть наш особый путь?

Когда мне говорят, что этот особый путь неизбежно связан с религией, а наша религия может снова увести нас с исторического пути и мы опять исчезнем из истории материальной культуры, я могу ответить лишь одно: если в душе есть достаточное мужество и силы задать себе такой вопрос, то это уже залог, что мы не исчезнем. Если же этих сил на самом деле нет, — что ж, значит, такова наша судьба. Однако в любом случае смешно об этом гадать. Если перебежать в Европу, — от этого разве станет лучше? Или, может быть, нам отвергнуть на этом основании нашу религию? Но тому, кто ею насквозь пронизан, предлагать это бессмысленно, он ее не отвергнет. А тому, кто от нее далеко, — хорошо бы, прежде, чем отвергать, — познать. Тогда, быть может, он увидит и другую сторону проблемы. Сегодня во всем мире культура строится, — точнее, ее пытаются строить, — в условиях распада религиозного сознания, отсутствия абсолютных ценностей. Я боюсь, что в этих условиях построение подлинной культуры вообще невозможно. Я не верю, что может существовать безрелигиозная культура. И в этом смысле у евреев есть даже преимущество перед Европой и остальным миром, ибо их религия не может быть просто “отброшена”, она составляет часть их национальной жизни. У меня нет никаких сомнений в полезности религии в жизни и культуре еврейского народа. Я отношусь положительно к религиозности израильского общества. Другое де-

ло, что я не знаю, где мера этой полезности, и я вовсе не готов менять свой образ жизни или голосовать за изменение нашего общего образа жизни, — но я просто уверен, что такие вопросы не решаются голосованием. Эта мера создается практикой.

В одной из своих статей М. Агурский очень точно определил нашу распространенную болезнь, как стремление евреев во всем мире к некоей "центральности". За это евреев, собственно, и не любят. Они все время пытаются пролезть поближе к "центру событий". В любом месте, на любом уровне, в любой профессии евреи рвутся к эпицентру землетрясения. (Не есть ли это просто другая формулировка все того же еврейского карьеризма, который гонит нас в столицы?) Им всегда кажется, что где-то там "центр", где-то "там" создается культура, а они, в Израиле — о ужас! — живут в провинции, на периферии событий... Я очень много ездил, я общался с людьми, и я понял, что в мире нет центра. Этим и характерен западный мир: в нем нет центра. Амстердам — это центр для голландцев, замечательное место, потрясающее место, но это ни в какой мере не центр ни для англичан, ни для французов, ни для итальянцев. И хотя Нью-Йорк сегодня — в каком-то смысле центр мира, но Париж для французов важнее Нью-Йорка. Сол Беллоу очень точно сказал, что Париж в культурном смысле несколько не выше Буэнос-Айреса, но для французов — это их уровень, их центр. И в этом плане Тель-Авив и Иерусалим — ничуть не меньшие "центры". Более того, мне кажется, что некоторая чуткость позволила бы нам заметить, что в каком-то еще более **глубоком смысле подлинный центр мира действительно находится здесь**, — не только для нас, евреев, но и для всех.

Это утверждение не имеет ничего общего с попыткой приписать нам, евреям, дополнительный аристократизм. Напротив, я чувствую себя плебеем и вполне этим удовлетворен. Более того, я уверен, что это мое плебейство дает мне возможность крепко стоять на ногах. Мои предки — плебеи, которые никогда не жили за счет того, что им оставили их предки. Они приспособивались к тому, что есть, и строили из того, что оказывалось под рукой. И при этом они умудрялись не только как-то жить, но еще и иметь богатую духовную жизнь. Я убежден, что такое ощущение себя плебеем в каком-то смысле ближе к европейскому аристократизму, чем повышенный "еврейский аристократизм" многих наших соплеменников, потому что, насколько я понимаю европейскую

культуру, она построена на четком сословном различии и сословной памяти: плебей помнит, что он сын плебея, аристократ помнит, что он сын аристократа.

Разговор о “центральности” Израиля имеет иной, более глубокий смысл. Дело в том, что Европа и европейская культура были созданы деспотизмом и поддерживались до тех пор, пока традиция этого деспотизма сохранялась. Сейчас она переживает кризис, который ставит перед ней — и всеми нами — проблему: может ли вообще существовать демократическая культура? Европейская культура потому в такой сильной степени оказывается зависимой от американизма, что американское общество — это единственное в мире общество, которое знает только демократическую традицию.

Действительная проблема, перед которой стоит Европа, состоит в том, что психологически и идеологически она не уверена, что может продолжать и создавать свою, оригинальную культуру без деспотического давления, без тиранического произвола. Когда же она что-то создает, это оказывается, в конце концов, какими-то американскими копиями. И неважно, кто у кого украл, — важно, что уровень все равно невысок. Демократическая культура, потому ли, что она молода в Америке, или потому, что она еще не нашла себя в Европе, — в значительной степени сера и посредственна. Тут кроется настоящая проблема и трагедия. Ибо пока что американская демократическая культура оказалась способной создать только массовую продукцию, одинаково серую — в полном соответствии с принципами общества “одинаковых возможностей”.

И вот тут-то для нас, для Израиля, открывается перспектива. Она открывается потому, что наше общество традиционно демократично. Наше общество демократично не только сейчас, — оно в каком-то отношении было демократично всегда; в каком-то отнюдь не в современном смысле; но во всяком случае оно никогда не выжимало из индивидуума соки, чтобы создать какую-нибудь пирамиду или вообще “Вещь”. Более того, — творчество, в которое ушли силы еврейского народа, “Слово”, тоже не выжималось под давлением. Это не был результат тирании или какого-либо целенаправленного насилия, целенаправленной воли. Так вот, сегодня перед миром возникает вопрос: может ли вообще существовать “вещевая культура” без насилия, может ли она выжить, действительно ли она обладает внутренней потенцией?

И в этом отношении, я бы сказал, еврейство, Израиль — равно-велики Европе. Потому что наши шансы создать демократическую культуру не меньше, чем шансы Европы. Я не знаю, — может быть, наследие евреев даже более адекватно решаемой сегодня задаче, чем наследственная культура европейцев. И тогда именно Израиль может оказаться в "центре" современного культурного эксперимента.

Тут следует кое-что уточнить. Конечно, европейская культура, о которой мы говорим, создалась до 18 века; начиная с 18 века, она, скорее, разрушается, — это хорошо известно культурологам, тем же Шпенглерам и Тойнби. Начиная с 18 века происходит внедрение этой культуры (в популярном изложении) в быт, — это само по себе прекрасно, но до нового развития здесь далеко. Нам, советским евреям, это легко понять на собственном примере: русская дореволюционная культура создала такой багаж, который и при его разрушении, после 1917 года, дал поразительный, гениальный всплеск, во многом оплодотворивший мировую культуру. Иными словами, акт разрушения традиционной культуры, созданной деспотизмом, тоже является творческим, культурным актом. Когда, например, Маяковский выступает и сбрасывает Пушкина с парохода современности, это есть творческий акт. Но когда он его уже сбросил, — выясняется, что сбрасывать Маяковского уже неинтересно. Следующего акта нет. И не случайно у Маяковского нет ни одного продолжателя. Так что же дальше? И вот начинаются поиски и блуждания, которые становятся с каждым десятилетием все лихорадочнее. Это бросается в глаза — в современной живописи, в кино, в литературе, — людям совершенно непонятно, что делать дальше. Это действительно проблема — и проблема для всего мира. Деспотический путь создания культуры, характерный для Европы и России, неминуемо приводит к этапу ее отрицания. Но оказывается, что дальше — тупик. Оказывается, что когда уже сбросишь Пушкина с парохода современности, то выясняется, что гораздо более перспективна та линия, на которой вообще с пароходов не сбрасывают. Вот почему я сказал и повторяю, что евреи, Израиль в этом отношении равно-велики Европе. Для нас это тоже проблема, мы в этом смысле современники этих поисков, и если у нас хватит творческих сил опереться на себя, внутри себя, — как Розенштейн, как Бергнер, — а не хвататься за чужие традиции, не исключено, что мы опередим Европу...

ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ

А.-Б. ИОШУА

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛЕВОЙ В ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ

Поражение левых на выборах 1977 года было столь велико, что оно обязывает к пересмотру всех наших концепций.

После того как я прочел в "Эмда" анализ причин поражения блока Маарах, у меня возникло ощущение, что все мы, израильские левые, стали за последние годы большими специалистами по недостаткам партии Авода. Настолько большими, что нам уже впору открывать службу срочной критической помощи... для рабочей партии.

У рабочей партии широкая грудь. На такой широкой груди не так уж трудно отыскать место почувствительнее, чтобы по нему ударить. Но готова ли израильская левая отнестись к себе с такой же самокритичностью и беспощадностью, с какой она относится к другим?

Я хочу попытаться сделать это. Я ни в коем случае не исключая из этого анализа самого себя, свои ошибки и заблуждения. Если я не повторяю это каждый раз, то лишь затем, чтобы не утомлять читателя.

Поражение израильской левой было столь велико, что оно обязывает к пересмотру всех наших концепций, — даже самых "священных" и неприкосновенных. Необходимо проверить самые основы нашей идеологии, — даже если при этом придется иной раз пройти по живому.

Исходный пункт всех моих размышлений состоит в очевидном факте: Шели потерпел сокрушительное поражение в ситуации, когда условия для успеха (разумеется, относительного) были, казалось бы, идеальными. Партия Авода доказала свою глубокую неспособность как к идеологическому, так и к практическому руководству страной. Партия Мапам не могла вырваться из капкана, в который попала, вступив в блок Маарах. Позиция международной общественности сдвинулась в сторону сближения с позицией израильской левой, настаивавшей на заклю-

чении мира. Все больше людей (особенно — молодых) готовы были пересмотреть свои традиционные избирательные симпатии. Нам удалось объединить большую часть всех израильских левых в одном движении, и это обновление — в обществе, которое жаждало обновлений, — должно было привлечь к нам многих сторонников.

И вот, несмотря на все это, мы потерпели поражение. Поражение постыдное и гнетущее. Мы получили меньше голосов, чем отдельные части нашего движения на прошлых выборах. Мы не сумели привлечь к себе молодежь. Арабы дали Мафдалу в пять раз больше голосов, чем нам. "Второй Израиль" просто игнорировал нас. Кибуцы повернулись к нам спиной.

Может быть, правы те, кто утверждает, что так называемая "общественность" не поняла смысл своего голосования? Что ж, можно свалить все на "тупость" и "оболваненность" избирателя. Те, кто хочет освободить себя с помощью этой уловки от необходимости честного самоанализа, разумеется, облегчают себе задачу — и увеличивают свою изоляцию в обществе. Я всегда опасался называть наш сионизм — "нормальным", а всех остальных — "свихнувшимися". Даже если ты в этом уверен, ты не вправе обвинять людей в этом. Если ты пытаешься вылечить больного, то худшее, что ты можешь придумать, — это твердить ему, что он болен.

Но совершенно очевидно, что общественность не может быть вся и поголовно "свихнувшейся". И так же очевидно, что у нас, у левых, нет пожизненной монополии на "нормальность". Мы живем не в тоталитарном режиме, который оболванивает всех подряд. Даже в тоталитарных режимах люди сохраняют способность трезво судить о положении вещей. Дело обстоит сложнее. От нас отвернулись по иным причинам. Политика — это не соперничество четко сформулированных логических позиций. Голосуя за партию, голосуют не только за логику ее программы, но и за ее лидеров, за ее открытость сомнениям и альтернативам, за ее близость к народным корням, за ее традиции. Избиратель голосует сначала душой, а уж потом — умом. Я повторяю: причины нашего поражения более сложны, и все попытки объяснить его тем, что общественность "свихнулась", ведут лишь к еще большему одиночеству израильской левой в этой самой общественности.

Существует различие между верой в определенную идеологию

и превращением этой идеологии в единственную меру вещей. Мы провозгласили лозунг абсолютной идеологической чистоты. Но не превратили ли мы эту "чистоту", эту нашу детализированную до мелочей идеологическую схему в нечто обособленное, нетерпимое, отталкивающее других людей, которые понимают вещи чуточку иначе? Не превратили ли мы свою идеологию в препятствие, сделав безоговорочное принятие ее обязательным условием совместной деятельности? Реальная действительность никогда не совпадает с идеологической схемой. Реальные проблемы — и те, что существуют сегодня, и те, что могут возникнуть завтра, — неизбежно потребуют идеологических компромиссов. Мы же с самого начала создали атмосферу нетерпимой, замкнутой секты.

Я спрашиваю себя: почему Шуламит Алони и Лева Элиав, которые в большинстве случаев были одного мнения, не смогли найти между собой общий язык? Я отвечаю: отказ от компромиссов во имя "идеологической чистоты", во имя "верности принципам" есть признак слабости, а не силы.

Мы стали рабами своих лозунгов. Мы стали пленниками своей концепции: "вернуть все территории палестинцам в обмен на мир". Я чувствую, что, если бы сейчас возникла возможность вернуть эти территории **не палестинцам**, а, скажем, Иордании и получить в обмен прочный и справедливый мир, мы были бы недовольны, потому что это не отвечало бы взлелеянному нами "принципу". Я чувствую, что, если бы Израилю удалось (в результате переговоров) удержать за собой часть этих территорий, мы, пожалуй, даже разгневались бы, — потому что наша концепция гласит: **"только границы 67 года!"** Мы влюбились в концепции. Мы утратили гибкость. Мы стали глухи к реальной действительности.

Основная часть израильской левой вышла из партии Авода. Она вышла оттуда почти против своей воли. Свое естественное и истинное место она не переставала видеть там. Там был дом, оттуда мы пришли, там мы родились и выросли. Мы ушли оттуда, потому что поссорились с родителями, обидевшись на их глухоту и слепоту. Но мы всегда туда поглядывали, всегда ждали призыва вернуться, признания своей правоты. В сущности, наша цель состояла в том, чтобы катализировать своим существованием процессы обновления в родительском доме.

Наше происхождение наложило на нас неистребимый отпечаток

некой ностальгии. Поскольку большая часть лидеров израильской левой занимала ведущее место в партии Авода в 50-е годы, наша левая искала ответы на вопросы израильской действительности в рецептах того времени. Мы искали решение проблем 1977 года в идеалах 1950-х годов — с добавлением лозунга мира. Мы забыли, что для значительной части израильтян то были совсем не розовые годы. Мы призывали вернуться к лозунгам тех лет, обновить ценности партии Авода, — а люди вспоминали о том, как разваливались кибуцы, как федаины обстреливали отрезанные от помощи, окруженные еврейские поселения, как жили в бараках, терпя нужду и лишения. Для нас то были годы молодости с их прекрасным халуцианским духом, а для других — годы депрессии, отчаяния и мрака. В нашей ностальгии было много лжи. Она была несоразмерна с современной действительностью, не говоря уж о действительности завтрашней, сложной и трудной даже при наличии гипотетического мира.

После выборов один из друзей (наш доброжелатель, хотя и не голосовавший за Шели) сказал мне неожиданные слова: “Вы создали атмосферу сплошного отрицания. Это вас и убило”. Подумав, я понял, что он прав. Мы усвоили саркастический, уничижительный тон по отношению к израильской реальности. Все в наших глазах казалось беспросветным. Лева Элиав вначале еще давал себе труд подчеркивать тот замечательный творческий потенциал, который скрыт в нашем народе (хотя со временем и он стал говорить об одних лишь отрицательных сторонах действительности). Другие не делали и этого. Мы дошли до того, что не могли себе позволить разделить вместе со всем народом радость по случаю успеха в Энтеббе. Наша критика стала превращаться в тотальную. Мы пророчили, что Израиль катится к пропасти, к катастрофе; и уже стали даже примерять эти катастрофические ситуации к себе.

Возможно, это вполне естественно для интеллектуалов, — идти в своей критике до конца. Интеллектуалы всегда склонны к критике и всегда критикуют смело и радикально, а у нас не было недостатка в интеллектуалах (возможно, их было даже слишком много...). Но не следует забывать: интеллектуалы способны на столь радикальную критику еще и потому, что обладают высокой уверенностью в себе и широкой свободой мысли. Это позволяет им чувствовать себя уверенно и на таком уровне критических обвинений, где людей попроще уже начинает охватывать страх.

Эти люди не в состоянии принять столь тотальное отрицание всего положительного. Они воспринимают его слишком всерьез, и им начинает казаться, что почва уходит у них из-под ног.

Ликуд также был критичен в отношении происходящего в стране, но его критика исходила из обычной еврейской мегаломании: “вечный Израиль”, “нерушимая сила поколений”, “наше великое прошлое”... Ликуд утверждал, что наш народ в действительности — лев; только власть Маараха вынуждает его вести себя, как собака. Мы же, наоборот, провозглашали, что Израиль — это жалкий мышонок, обнаглевший, как пес. Наши гневные пророчества вызывали возражения и неприязнь. Люди не приняли нашу систему отсчета, они уловили в наших высказываниях только их оскорбительный и пренебрежительный тон.

Мы были достаточно осторожны, говоря о перспективах мира, и подчеркивали, что решение этого вопроса не лежит у нас в боковом кармане. Но мы недостаточно подчеркивали вину арабов и все больше возлагали ее только лишь на израильтян. Но разве наш лозунг признания ООП гарантировал нам, что ООП признает нас? Сегодня мы воочию убедились в их безумии и жесткости. Сегодня использованы уже все средства, чтобы заставить их признать резолюцию 242, но они продолжают упорствовать.

Однако главная наша ошибка состояла не в самом принципе, а в способе его подачи, в негибкости. Мы преподносили людям одномерные лозунги.

Но я хочу пойти дальше вопроса о палестинцах. Пусть это оттолкнет многих моих друзей, — я сказал себе, что обязан подвергнуть сомнению **все**. Я имею в виду также и нашу позицию в отношении лозунга “Неделимый Израиль”.

Все мы надеемся на скорое мирное урегулирование. Есть среди нас и такие, которые полагают, что только нажим извне способен привести к нему. Но мы должны принять во внимание и совершенно иную альтернативу. Может случиться так, что урегулирование не произойдет, что существующее положение продлится еще многие годы, что Эрец Исраэль останется “неделимым”. Мы должны задуматься над этой возможностью, которой хотят и с которой согласны 60% населения страны. Какова будет наша позиция по отношению к **такой** реальности? Какова будет наша позиция в споре, который, возможно, окажется единственным **реальным** спором, — между позициями Даяна и Бегина, т. е. между вариантом функционального раздела страны и вариантом полного при-

соединения территорий? Мне могут сказать: ты предлагаешь выбрать между холерой и чумой. Возможно. Но такова реальность. Какова будет наша позиция? Мы не можем отмахнуться от нее, как дети, сказав: мы в эту игру не играем! Между тем у нас на вооружении — лозунги, которые могут оказаться совершенно не адекватными такой действительности.

Я приведу пример: вопрос об обслуживании населения территорий, возникший совсем недавно. Мне очень жаль, но я не могу понять, почему израильская левая выступила в этом вопросе против решения правительства. Допустим даже, что это — шаг на пути к фактическому присоединению территорий. Ну и что? Ведь реальная альтернатива — не “присоединение или возврат” территорий, а “уравнивание обслуживания (которое повысит уровень здравоохранения, социальной помощи, улучшит трудовое законодательство на территориях) или статус-кво” Что в таком случае более этично и “прогрессивно”? Что больше поможет людям? А если действительность окажется такова, что территории останутся под нашей властью еще столько же лет (включая две-три войны за это время), — что ж, мы и тогда будем продолжать цепляться за наш лозунг “территории в обмен на мир”, когда эти территории будут покрыты сотнями еврейских поселений? Или же мы начнем наконец думать: каково же должно быть гуманное и прогрессивное “левое” решение в этой новой реальности? Неужели мы будем продолжать требовать “полного равенства” прав для жителей территорий и взращивать левый кнаанизм, только бы, не дай Бог, не оказаться заодно с правительством?! Будем следовать нашей линии на полное разрушение страны, не усматривая в решении правительства нового, позитивного содержания — шага по пути к системе независимых кантонов? Таковы вопросы, поставленные перед нами реальностью “неделимого Израиля”, — вопросы, от которых мы упорно отворачиваемся.

У левой всегда была слабость — цепляться за мертвые догмы. И пока действительность доказывала наконец, что эти догмы мертвы, проходило драгоценное время. Мы обязаны искать новые альтернативы. Я думаю, что мы обязаны обсудить и возможность такого решения, как светское демократическое государство по типу, отличному как от идеала Арафата, так и от идеала Бегина.

Но есть здесь и более широкий вопрос. Мне кажется, что левая вообще слишком мало занималась духовной и социальной

сторонами наших сегодняшних проблем. Все свои усилия она сосредоточила на стороне политической. Я помню свои предвыборные поездки и бесконечные разговоры о палестинцах; а о проблемах общественных, культурных — почти ничего. По-моему, успех Гуш-Эмумим обусловлен прежде всего именно тем, что этому движению удалось подвести духовную базу под концепцию “неделимого Израиля”.

Эти выборы показали всем нам огромную важность духовного и религиозного фактора для народа. Я убежден, что религиозный вопрос был и будет одним из решающих факторов в становлении облика нашей страны. Мы всегда провозглашали в этом вопросе классические лозунги секуляристов: пусть каждый делает что хочет; религия — дело совести каждого, лишь бы люди не наступали друг другу на мозоли. В этом подходе есть соблазн легкости, соблазн отсутствия религиозного насилия. Но положение значительно более сложно. Я убежден, что еврейская религия играет решающую роль в активизации процессов, препятствующих нормализации нашего общества. Наша позиция по отношению к ней должна стать значительно более воинствующей. А воинствующая секулярность требует дойти до корней религии и померяться с ней силами на философском уровне. Это задача много более трудная. Мы должны вскрыть фактические противоречия в еврейской религии — например, ее органическую потребность в существовании галута, ее неразрывную связь с галутом. В последнее время я много думал о проблемах галута. Мы и здесь заняли весьма удобную позицию: евреи “здесь” и евреи “там” — это, мол, одно и то же. Я думаю, что мы обязаны поднять флаг принципиального отрицания галута (это был классический лозунг израильской левой в прежние времена), ибо галут также препятствует нашей нормализации.

Но опять-таки: воинствующая философская секулярная позиция не означает объявления слепой войны религии. У нас установилась традиция какой-то **автоматической** антирелигиозности по любому вопросу. Если спросить, например, нашего “левого”, вскрывать или не вскрывать трупы, он тотчас, не задумываясь, ответит: “Конечно, вскрывать. Даже насильно, если потребуется, даже против желания семьи”. Он полагает при этом, что он ужасно прогрессивен. Но как раз в наиболее прогрессивных странах это решение находится в компетенции семьи покойного. Так что же, — поскольку у нас против вскрытия выступают “темные

люди”, мы должны прибегнуть к насилию? Где же наши излюбленные свободы и права личности? Только потому, что эти люди — в наших глазах — “темные”, их разрешается насиловать в их личной жизни? А может быть, здесь необходимо совершенно иное решение: воспитание, разъяснение?

Я намеренно выбрал этот сложный пример. Я хотел показать, что наша антирелигиозность была экстремистской и в ряде случаев вступала в противоречие с нашим же идеалом свободы. От нас требуется углубить нашу слишком плоскую секулярную идеологию. Не отвергать, например, с порога понятие “избранного народа”, а исследовать его и **доказать**, что он противоречит идеалу равенства, — даже если это понятие отстаивают люди, согласные с нами в других вопросах.

От нас требуется углубить нашу идеологию во многих областях. Приблизить ее к реальной действительности. Мы должны отойти от идеологических догм в сторону идейных дискуссий. Вот еще одна из наших догм: “священное право на забастовку”. Мне очень жаль, но, когда служащие “Эл-Ал” причинили страдания тысячам людей, чтобы повысить свои — и без того высокие — зарплаты, я был решительно за то, чтобы подавить эту забастовку с помощью армии. Эта забастовка в моих глазах не была “священной”. Мы должны отбросить эту догму и найти более сложный ответ, который был бы адекватен нынешней, более сложной действительности, который оправдывал бы подавление таких забастовок, как на “Эл-Ал”, и защищал бы такие забастовки, как забастовка почтальонов. Наши плоские формулы не соответствуют сегодняшней сложной и изменившейся реальности.

Моя главная мысль — и я буду удовлетворен, если даже только ее и запомнит читатель, — состоит в том, что мы должны пересмотреть некоторые из наших “классических” и **автоматически принимаемых** формул. Некогда Лева Элиав построил идеал будущего “розового Израиля”, в который мы все влюбились. Но остался без ответа вопрос: как достичь этого идеала? Даже если бы Элиав стал сегодня главой правительства, он вряд ли сумел бы осуществить этот свой идеал, — не потому, что его модель неверна, но потому, что действительность за это время резко и глубоко изменилась. Нельзя действовать, не имея идеалов, — но нельзя давать им поработить себя. В конце концов, идеал — не более, чем путеводный знак.

Я не призываю вернуться к прошлому. Я призываю выйти из наших удобных идеологических теплиц. Я не знаю, какова мне цена, как интеллектуалу, но как протрезвевший политик я представляю сейчас собой жалкое зрелище: четыре левые партии и группировки развалились у меня под руками за последние десять лет. После майских выборов у меня было ощущение, будто я чужой среди моего народа. Быть может, мой народ сам не знает своего пути, быть может, он болен, говорите, что хотите. Но я не хочу продолжать идти в стороне, по обочине, и вопить, как пророк. В конце концов, и пророки ведь тоже потерпели поражение: они не смогли предотвратить разрушение Храма.

Мы, интеллектуалы, странно ведем себя в политике. За своими письменными столами у нас хватает времени и терпения для бесконечных самопроверок, для поисков, для сопоставления наших слов и реальности. В политике же мы действуем в шорах, стремимся к торопливым и глобальным обобщениям, здесь нам не хватает ни времени, ни терпения. Успех Бегина — это успех настоящего политика, у которого было железное терпение, постоянная сила духа и готовность заниматься повседневными мелочами и компромиссами. Израильская левая должна попытаться стать менее интеллектуальной и более политизированной. Пусть она потеряет при этом часть своей безупречной "левизны", но, быть может, на этом пути ей удастся посеять в народе несколько семян, которые сегодня лежат втуне.

Перевела с иврит А. Фурман

А.Б. Иошуа (р. 1937 г., Иерусалим) — современный израильский писатель и общественный деятель. Принадлежит к левому крылу израильской общественной жизни, входил в небольшую группировку интеллектуалов "Шели", которая перед выборами 1977 г. объединилась с другими столь же незначительными группировками ("Движение за гражданские права" Шуламит Алони и др.) в движение "Яд" во главе с лидером Шели Левои (Арье) Элиавом; на выборах 17 мая движение собрало около 2% голосов и получило 3 места в Кнессете (из 120). Опубликованная выше статья написана в связи с выходом Иошуа из группы Шели и любезно прислана в редакцию автором для ознакомления с ней русскоязычных читателей.

РОССИЯ И ЕВРЕЙСТВО

ВИКТОР БОГУСЛАВСКИЙ

ОТЦЫ И ДЕТИ РУССКОЙ АЛИИ

Между желанием и обладанием лежит граница, граница двух совершенно различных экзистенциальных сфер; и переход через эту границу всегда болезнен, подчас мучителен и невозможен. (И тот факт, что границей этой является сам объект желания — обладания, факт этот вовсе и не существен.)

Моше Рабейну умер у границ Ханаана...

Сирен Кьеркегор, основоположник современного экзистенциализма, развелся с любимой женой и сам себя вернул в состояние безнадежно влюбленного в нее же, ибо экзистенция влюбленности выше, напряженнее, "пограничнее", чем бытовые хлопоты и неурядицы семейной жизни.

Фима С., двадцать лет жизни (тюрем, лагерей и заполярных лагерных восстаний) отдавший ожиданию Израиля, уехал из него через несколько лет.

(Вспомним клинические свидетельства З. Фрейда о "жениховском комплексе" — бессилии пылких влюбленных в первые брачные ночи.)

Чем напряженнее и выше трепет желания, тем труднее, мучительнее, невозможнее переход к обладанию.

И потому Моше Рабейну умер у границ Ханаана...

Эта невозможность перехода от желания к обладанию, создающая в сознании личности трагедии, стрессы и комплексы бессилия, в общественном движении оборачивается пропастью, разделяющей поколение творивших в ожидании от поколения припавших к обладанию.

Эта смена поколений видна в каждой социальной, духовной или политической революции.

Эта смена поколений уже ясно определилась и в нашем движе-

нии; поколение **отцов**, ждавших и творивших алию, — поколение **детей**, принявших алию как данность и действовавших в ее реальности.

Но это разделение **поколений**, естественно, не имеет никакого отношения к возрастным категориям — многим из “отцов” сегодня едва ли под тридцать, а среди “детей” мелькают седины и лысины почтенных профессоров.

х х х

Начало?... Как всякий эпос, Исход начинался с чудес. И как положено эпосу, было явлено евреям России — поколению Исхода — три чуда.

Чудо победоносного становления далекого Израиля на фоне пьяного антисемитского угара послевоенных российских лет. **Чудо** Пурима—1953, оборвавшего истерическую подготовку к тотальному погрому. **Чудо** веселой, блестящей, пьянящей победы 1967 года.

На чудеса реагировали по-разному. Бесспорно, ни один еврей не оставался равнодушным к слову “Израиль”. Но вокруг — вокруг все было так безнадежно! Абсолютно безнадежно: режим, прочный, как тюрьма, и, как тюрьма, равнодушно и неколебимо противостоящий любой “еврейскости”.

Спрячь свой “трепет иудейский” — от глаз сотрудников, от ушей соседей, от пристального, как двустовка, взгляда парторга, от пьяных полунамеков штатного стукача — спрячь!

А Израиль, что ж, он — как та “зеленая дверь в стене”: она есть где-то, эта волшебная дверь, она ждет, за ней все — иначе.

Недоступность, нереальность мечты придавала желанию трепет святости.

Любой шаг к осуществлению желания (шаг столь запретный к подъему столь нереальному) одновременно с трепетом страха вызывал трепет души.

О, эти первые прикосновения к израильским открыткам (долгий, “конспиративный” разговор по телефону, двухчасовая тряска в замерзшем трамвае, оглядывания, таинственный, заговорщический шепот...)! А эти клочки бумаги, на которых записывались данные для **ВЫЗОВА**, — словно подписываешь приговор самому себе, и детям, и родным, включая тетю и дядю до седьмого колена!

Но еврей поднимался по ступенькам бумажного моста, вед-

шего в Израиль, и трепет страха отступал перед трепетом приближения к святыне.

Перестали шептаться, заговорили вслух (с подозрением, опаской, но все-таки!), начали собираться, праздновать Симхат-Тора и даже День независимости, учить историю в кружках и иврит в ульпанах; и вот уже самый "мешугене" совсем "распоясался" и послал в Мосгорсправку объявление: "Даю уроки иврита" — целых 15 экземпляров, с просьбой вывесить на официальных стендах.

Это был 1969 год. В конце этого года евреи стали десятками и сотнями подписывать письма, предназначенные для "зарубежного общественного мнения". Они требовали "выпустить" их в Израиль. Вызов в ГБ и увольнение с работы — вот что в лучшем случае ожидало подписанта. Тогда еще не знали таких слов, как "материальная помощь отказнику". Тогда каждый шаг предназначен был не только для того, чтобы убедить сенатора Джексона, но и для того, чтобы убедить самого себя, своих же близких. И порой оказывалось, что сенатора Джексона легче убедить, чем, например, родную маму...

Осенью 1969 года на Дворцовую площадь Ленинграда тихо и неспешно вышел робкий и стеснительный Жора А., подошел к одиноко стоявшему посреди пустынной площади милиционеру и непослушными руками, неумело развернул самодельный плакатик с надписью: "Я хочу в Израиль". Милиционер посмотрел на плакатик, на Жору, оглянулся — площадь была по-прежнему пустынна — и сурово заявил: "Убери, а то вызову машину". — "Вызывают, я подожду", — с готовностью согласился вежливый Жора. Ждать пришлось всего несколько минут — милиционер подошел к зданию Главного Штаба и вернулся в одной из всегда стоявших там наготове машин. Потом его отвезли в ГБ и продержали там несколько дней. А потом — отпустили. И встретив его через несколько дней, я не выдержал и спросил: "Зачем ты это сделал, Жора?" И услышал в ответ: "Чтобы мама поверила... Если бы меня арестовали и посадили, может, она поняла бы, что это у меня серьезно..."

В 1970 году весь мир заговорил о русских евреях. Русские евреи поднялись, они ощутили решимость, они в эксгибиционистском экстазе демонстрировали ее знакомым и незнакомым, всем желающим, по нужде и без оной. Между ними и их мечтой одна только стена — стена государственного запрета. Пробить, проши-

бить, пролететь сквозь нее было единственным желанием. О, эта отчаянная готовность к полету! “Бегите из северного Вавилона”, — в последний раз прозвучали слова ленинградских “самолетчиков”, и вот уже за ними захлопываются двери тюрем, ворота лагерей. Но еврейские мамы не собирают, как прежде, трясясь от страха, “допровские корзинки” — нет, они устраивают шумные демонстрации у здания ЦК, а еврейские парни и девушки уже не сотнями, а тысячами подписывают письма протеста, и все новые вызовы ложатся на столы ОВИРов. За тридцатью арестованными поднялись тридцать тысяч “подавантов”!

И стена рухнула, алия стала реальностью. Невероятной, сказочной, карнавальной реальностью: толпы в ОВИРах, шумные проводы на вокзалах и в аэропортах, письма “оттуда”, полные пьяного восторга...

На волне этого карнавального экстаза и прибыло в Израиль поколение “отцов”. Прибыло и было встречено чиновничьим радушием и чиновничьей подозрительностью. Прибыло и привезло с собою выездную лихорадку, не дававшую переключиться в будничные ритмы. Прибыло, души и мысли оставив в России, с друзьями, с “еще остающимися”. Прибыло в новый мир, готовый удовлетворить их бытовые заботы, но уж никак не “трепет забот иудейских”. Трепету не было места в коридорах Сохнута и кабинетах ответственных (?) лиц. И трепет превратился в чадный запах ностальгии — не по березкам и церквушкам, а по высокому горению души, по оставленным позади “звездным своим часам”.

Всем нам свойственно с ностальгической грустью возвращаться к воспоминаниям о своем “звездном часе” — самом экзистенциально-напряженном (пусть даже и самом трудном) времени собственной жизни. Такого рода — парадоксальную, на первый взгляд, — ностальгию видел я часто у бывших лагерников. А что, — ведь там, за колючей проволокой, под немигающими звездами, в свете прожекторов, голодные и затравленные, они “высоко торчали”!

Звездный час “отцов алии” остался там, в России, за колючей проволокой, за дверьми ОВИРов. А здесь их ожидало всего только беспомощное и трогательно-растерянное вживание (или — невживание) в спокойную будничность жизни.

Моше Рабейну нечего было делать среди расселившихся в Ха-

наане племен, занятых устройством своих пастбищ.

И Моше Рабейну умер у границ Хаанаана...

х х х

“Вы, сионисты, единственное подпольное движение, победившее советский режим”, — сказал мне в лагере один из русских демократов.

Победили. Сделали алию реальностью. И в новой реальности появилось новое поколение лидеров. Они трезво и хладнокровно, спокойно и рационально оценили ситуацию, увидели, что дозволенность алии делает подловатыми все прежние рассуждения о “неизбежности” ассимиляции — и деловито приступили к освоению обстановки. И вскоре еврейское движение в России было весьма оперативно поднято ими на куда более высокий качественный уровень: была установлена постоянная связь с Западом; была налажена сеть постоянно действующих научных семинаров, ставших международными событиями; возникла система почти незаконспирированных ульпанов; начался регулярный выпуск еврейского Самиздата, который обрел широкий круг авторов и читателей и быстро превратился в одно из интереснейших в России литературно-философских течений. Поколение деловитых “детей” начало начитывать по телефону из Москвы или Ленинграда лекции для студентов израильских университетов, печатать свои статьи в самых фешенебельных изданиях мира, красоваться на экранах западного кино и телевидения, устраивать выставки еврейской неофициальной живописи, отправлять свои картины и журналы в турне по Америкам. Какой жалкой и доморощенной должна была казаться им деятельность “отцов”...

Голос “детей” стал громким, настойчивым и требовательным. “Евреи молчания”, как назвал их Эли Визель в 60-е годы, десятилетие спустя превратились в самую шумную и крикливую группу в России.

Питательной средой этой высокой активности стала особая разновидность советских евреев: еврей-“отказник”. Само слово “отказник”, в сущности, свидетельствовало уже о почти официальном признании статуса диссидента-активиста. Впрочем, “отказники” были активистами, так сказать, поневоле. К своей активности они были избраны волею Г.Б. И сосредоточена была их активность в основном на борьбе за выезд — в большинстве слу-

чаев, за собственный выезд (правда, и это является одной трехмиллионной частью общенациональной задачи). Но официальность статуса позволяла "отказнику" регулярно крутить пуговицы у иностранных туристов около синагоги и столь же регулярно названивать еврейским активистам Парижа, Лондона и Нью-Йорка. (А эти "активисты" на Западе, — они ведь тоже "дети" нашей алии; с каким усердием борются они за "выезд русских евреев", искупая тем самым свой собственный невыезд в Израиль...) Официальность статуса позволяла ему требовать "материальной помощи" Запада и дерзко вести себя на допросах в ГБ. Насидевшись в "отказе" и получив наконец визу, такой активист твердо знал, что будет показан — за деньги (Магбита) — евреям Европы и Штатов, сенаторам и парламентариям. Так преисполнялся он сознания собственной значимости и позже, встретив в Израиле какого-нибудь "папашу", мог уже снисходительно кивнуть ему и, припоминая слышанную фамилию, произнести: "Вы, кажется, что-то такое подписывали когда-то?.."

х х х

"...Но в мире новом друг друга они не узнали..."

"Дети" со снисходительным пренебрежением вспоминали о заслугах "отцов", а "отцы" — "отцы" настороженно и подозрительно обнюхивали "детей", за версту чуя в них переодетых в сионистские одежды бывших "ассимиляторов" и "демократов". И это было понятно. Ибо вся деятельность "отцов" была направлена "всего лишь" на то, чтобы заинтересовать советского еврея мечтой об Израиле, — как же может она не показаться мелочной и мелкой из "радостного сегодня", когда сама реальность России поминутно заставляет каждую еврейскую семью только об этом и думать?! А вся деятельность "детей" была направлена "против советского режима", на то, чтобы расширить рамки национального существования, — как же ей не быть (хотя и чисто внешне) похожей на активность борцов за "права человека"?! (Хотя различие было очевидно, ибо еврейская активность не может, да и не направлена на то, чтобы "демократизовать" жизнь всей прочей России.)

Так они и живут, и "отцы", и "дети", — с повернутыми назад головами. Они все еще там, в своем звездном прошлом, где они сами для себя — каждый! — построили "свой" сионизм. Они все

еще продолжают доказывать друг другу истинность именно "своего". А споры эти — об "истинности" своего сионизма (всегда своего, а не чужого), т. е., в сущности, о том, кто больше хотел, кто сильнее желал, кто больше сделал, споры между людьми разных эпох и разных складов (ибо поколения эти отличаются и по душевному складу тоже), — они сегодня беспредметны и бес-содержательны. Это одна ностальгия спорит с другой.

Ибо то, что и те и другие именуют "своим" сионизмом, тот накал страстей, тот душевный подъем, что подвинул их к активности в России и привел в Израиль, — он до конца исполнил свою роль и исчерпал себя функционально в тот самый момент, когда их самолет приземлился в Лодде.

Потому что Моше Рабейну умер у границ Ханаана...

Я думаю, что нам суждено еще увидеть и третье поколение. Это будут "внуки" алии — те, кто не истратил себя ни на борьбу с евреями за их пробуждение, ни на борьбу с советской властью за ее уступчивость, кто сохранил себя для активности здесь, в Израиле. Но если и они, следуя моде давно прошедшего сезона, начнут рассказывать вам о своем "боевом прошлом" там, в России, — не верьте им, не слушайте, отвернитесь. Это значит, что они мертвы.

Ибо... Моше Рабейну умер у границ Ханаана...

В. Богуславский (р. 1940 г., Ленинград) — архитектор и художник; с конца 60-х гг. — участник сионистской группы в Ленинграде; в 1971 г. приговорен к 3 годам лагерей за сионистскую деятельность; после лагеря репатриировался в Израиль; был председателем Координационного комитета активистов алии и Федерации сионистов из СССР в Израиле. Его статьи и репродукции с его картин публиковались в журнале "Сион". В настоящее время живет на поселении в Месхе (Эль-Кана) в Шомроне.

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

БУДУЩЕЕ РУССКОЙ АЛИИ

Итоги 1977 года. Алия в 1977 году увеличилась, несмотря на внешнее ухудшение ситуации отказников и активистов. Большая часть приезжающих в Израиль происходит из провинции, и их приезд мотивирован тем, что в Израиле живут их родственники (реже — друзья). Это увеличение числа едущих в Израиль (и эмигрирующих из России вообще) определяется, однако, не подъемом движения, а политикой советских властей. Отъезд значительно облегчен по сравнению с 1973—75 гг. главным образом — психологически. Большинство подающих заявление уверены, что уедут, и подходят к этому практически, а не как к трудной и опасной борьбе. Нынешнее количество эмигрантов (и особенно олим) кажется необычайно малым из-за того, что его сравнивают не с цифрами, а с настроением 1972—73 гг., когда казалось, что снижение “барьера страха” приведет к массовой алии. Теперь оно не приводит даже к массовой эмиграции.

Большие города дают большой (80—90) процент неширы, и средний ее уровень держится на отметке 50% только потому, что власти СССР сами регулируют процесс, подталкивая к эмиграции группы, предпочитающие Израиль (Кишинев, Бухара, Дагестан). В результате еврейство центральной России и больших городов, представители которого в Израиле насчитывают не больше 15—20 тысяч человек, начинает постепенно проигрывать в “состязании” с другими группами. Между тем в будущем эта группа станет основным резервом алии, так как она составляет большинство евреев России и Украины, и, следовательно, мы не можем рассчитывать увеличить алию, если не изменим что-то в мотивации. Такие возможности у нас есть: те 15—20 тысяч, о которых идет речь, живут в Израиле компактно, в тесном общении, тогда как “ношрим” в Америке оказываются в вынужденном одиночестве, и многие из этих “американцев” уже сейчас высоко оценивают это преимущество жизни в Израиле.

Группу “ношрим” или “прямиков” я тоже разделил бы на две

подгруппы. К первой относятся люди циничные, откровенно жаждущие богатой жизни, в большинстве — невысокой квалификации, но с высокими амбициями; ко второй — интеллигенты подлинно высокой квалификации, воображающие, что Израиль мал для их способностей, не дорос до “настоящей” науки и индустрии, провинциален или слишком молод, чтобы оценить некоторые тонкие материи. В некоторых случаях они обманывают себя насчет своих истинных мотивов, но почти все горячо сочувствуют Израилю и формулируют, что Израиль — страна для героев, они же — люди простые.

С первой подгруппой нам нечего делать, пока они не хлебнут горя в Америке и не умерят свои амбиции. Тогда им можно предложить переселиться в Израиль, где они, по крайней мере, смогут пожаловаться друзьям, что их “не оценили”, и те их поймут. Вторая подгруппа очень существенна, и с ней необходимо работать — в России, в Вене, в Риме, в Америке. В этой подгруппе настораживает то изменение настроения, которое произошло за последние годы. Прямими 1974 года стыдились своего поступка, знали, что поступают нелояльно по отношению к своим друзьям, и искали различных “объективных” оправданий. Прямими 1977 года, напротив, совершенно уверены в моральной оправданности своего выбора и с удивлением сообщают об отдельных себе подобных, поехавших “все-таки” в Израиль. Они выслушивают сионистскую пропаганду, как некую новость. Прямими 1974 года старались замкнуть разговор, так как поступали вразрез с собственной совестью, прямими же 1977 года сами настаивают на разговоре, так как ощущают себя людьми, впервые получившими свободный выбор. До Рима у них как бы и выбора не было.

Характеристика движения. В этом я вижу признаки упадка движения в СССР, которое перестало быть идеологией и превратилось в регулярный вариант практической жизни, как карьера. Можно устроиться в СССР, а можно и уехать, если припечет. Признаки этого процесса были заметны уже в 1972 году, когда вопрос: “что разрешают вывезти?” начал затмевать вопрос: “выпустят ли меня?”. А еще раньше вопрос: “выпустят ли меня?” оттеснил на задний план вопрос: “зачем я еду?” Этот последний вопрос уже идеологический, и, мне кажется, основные трудности в нем.

Хотя все называют возрождение еврейского национального сознания в СССР и алию 70-х годов “чудом”, у этого “чуда” существовали довольно рациональные корни. В частности, в России

жили сотни “бывших” сионистов, и почти все будущие активисты имели с ними те или иные связи или контакты. Для сионистов старого закала вопрос: “зачем я еду?” — не существовал, так как ответ на него был ими дан в начале века. “Неосионистам” (не очень удачный термин, введенный М. Агурским для обозначения активистов 70-х гг.) пришлось этот ответ немного подправлять, но в основном это был старый ответ, и уже в 1972–73 гг. стало ясно, что для нового поколения он уже недостаточен. Сейчас в России существуют три группы, которые по-разному подходят к этому вопросу. Религиозная группа связывает его с вопросом о возможности практиковать ортодоксальный иудаизм. Культурническая группа считает, что ответ может быть найден в традиционной еврейской культуре. Наконец, интеллигентская группа, которая пытается дать свой собственный ответ на основной вопрос еврейского существования в России. Соответственно, религиозная группа считает важнейшим делом религиозное воспитание советских евреев, культурническая предлагает еврейское самообразование в качестве главного направления идеологической работы в России, а интеллигентская считает главным для советских евреев иметь объективную информацию о иудаизме и Израиле, об условиях жизни в свободном мире и в еврейской диаспоре.

Я уверен, что все три течения необходимы и не могут существовать друг без друга, но все вместе они слишком малочисленны и маловлиятельны в СССР. Советский Союз — громадная страна, без сколько-нибудь эффективной системы обмена мнениями, без общественной жизни. Информация в России запаздывает на годы, а распространение идей может затянуться на десятилетия. Сейчас из Саратова приезжают люди, которые рассказывают о настроениях среди евреев, характерных для Москвы в 1968 году, а в Харькове воспроизводится московская ситуация 1974 года. Таким образом, мы должны сознавать, что результаты сегодняшней работы скажутся только через годы. В то же время мне кажется, что в СССР одновременно с угасанием сионистской активности в одних кругах возникают все новые и новые центры активности, не зависящие от предшественников. Однако они, как уже сказано, находятся на другой стадии развития, и идеология, пропаганда, информация имеют для них сейчас принципиальное значение. От того, какую информацию получают сейчас молодые люди, зависит, кто станет сионистом в 80-е

годы и будет ли в эти годы алия. Это зависит, разумеется, также и от того, насколько верно мы понимаем психологию советских евреев и учитываем ее в своих действиях.

Пока что можно с сожалением констатировать, что так называемая "борьба с неширой" привела лишь к ее увеличению, — ибо смысл и содержание этой борьбы в России видится иначе, чем из Израиля. Значительная часть новоприбывших подтверждает неэффективность ныне существующей пропаганды. Задача состоит в том, чтобы пропаганда создавалась и отбиралась теми, кто ее потребляет, т. е. самими русскими олим и притом — профессионалами. До сих пор ничего подобного не происходило. Либо она создавалась и отбиралась профессионалами, но тогда это не были русские олим, либо она создавалась и отбиралась олим, которые не были профессионалами.

Характеристика основной группы. Если мы говорим о центральной группе советских евреев, то не подлежит сомнению, что их культура — русская и даже советская. Это означает, что для них большую роль играет идеология. Большинство из них верит, что есть идеологии "правильные" и "неправильные" и ожидают от "правильной идеологической теории" решения всех житейских вопросов. Поэтому, когда обстоятельства толкают их на определенные действия (например, алию или неширу), они тоже выдумывают идеологические обоснования и спорят не о фактах, а об их идеологических "причинах" (например, большую неширу объясняют не реальными интересами людей, а "вредным" влиянием Бубера или другой идеологии). Кроме того, сама культура русских евреев — по преимуществу книжная, литературная; степень убедительности той или иной теории определяется не столько ее соответствием фактам, сколько эстетической привлекательностью, качеством изложения, вдохновляющей силой. На роман "Экзодус" люди в России ссылаются как на серьезный источник информации, так же как сведения о древнееврейской истории черпают в основном из книг Фейхтвангера, а о "местечковой жизни" — из сочинений Шолом-Алейхема. Это связано с русским представлением о том, что литература — это "учебник жизни", а писатели — "инженеры человеческих душ". Поэтому одна из причин непонимания между русскими олим и Израилем, между русскими активистами и сионистами Запада — разные приоритеты, придаваемые пропаганде, литературе и информации, а также их формам и качеству. Нельзя отмахиваться от того фак-

та, что пропаганда в СССР считается одним из важнейших вопросов политики, хорошо продумывается, привлекает весьма квалифицированных и даже талантливых людей, хорошо оплачивается и в значительной степени достигает своей цели. Поэтому то, что ей противопоставляется, должно быть конкурентоспособно и по форме, и по содержанию, а также должно учитывать вдобавок специфические особенности русских евреев — например, их недоверие к регламентирующим идеологиям, пресыщенность культом героев и самопожертвования, боязнь “социализма”, как они его понимают, боязнь провинциализма, которая проявляется даже в русской провинции, а тем более в столицах. Эта пропаганда должна конкурировать не только с советской пропагандой, но еще и с демократическим Самиздатом, появившимся с конца 60-х гг. и по-прежнему доминирующим сейчас в сознании советских евреев: этот Самиздат очень хорошо учитывает их основные интересы (кроме еврейских, понятно). Большая часть русских демократов (если не большинство) — евреи по происхождению, и они пишут и говорят то, что русскому еврею понятно и привлекательно, потому что они сами и есть типичные русские евреи, со всеми их достоинствами и недостатками, среди которых главный — что они не сознают себя евреями и не понимают, что их аудитория тоже в основном еврейская. Поэтому и наш голос не будет услышан, если он не будет звучать в знакомой тональности, не будет обсуждать волнующих русских евреев вопросов и не будет достаточно привлекателен эстетически.

Среди вопросов, которые волнуют русских евреев центральной группы, есть и такие, которые не интересуют западных евреев, например христианство или социальная справедливость. Русские евреи еще верят, что могут каким-то образом узнать скрытую от них “окончательную истину”, которая потом останется неизменной. Разочарование многих из них в Израиле как раз и было связано с тем, что это государство почему-то не проявило тех абсолютных качеств, которые они ему приписывали, — постоянной правоты, имманентной справедливости, способности придать жизни человека того смысла, который вдохновляет на жертвы и лишения, понимания нужд и заботы о гражданах, которых западные евреи ожидают только от родственников. Напротив, такие вопросы, как ассимиляция, совершенно не волнуют русских евреев (хотя здесь, в Израиле, многие начинают говорить об этом, подражая Западу), так как они все давно ассимилированы в обыч-

ном смысле слова и их удерживает от окончательного исчезновения как группы только семейная традиция и антисемитизм окружающих, т. е. практические, а не идейные факторы.

Если мы хотим быть нужными русскому еврею, мы должны обсуждать прежде всего его самого, а это значит, что мы должны обратить основное внимание на то, что говорят и пишут сами русские евреи, причем не столько в Израиле, сколько в СССР, и помочь сделать широко известным среди русских евреев не то, что здесь кажется самым полезным или самым еврейским, а то, что воспринимается в России как самое актуальное и близкое. Так, например, несионистский журнал "Время и мы" воспринимается в СССР как искусная сионистская пропаганда. И напротив, сионистская пропаганда, изготовляемая "специально", воспринимается зачастую как тонкая диверсия против русских евреев и алии. Журнал "Сион" (№№ 16–21, выпускавшиеся нынешней редакцией "22"), который в Израиле группа экстремистов объявляет несионистским, нееврейским и даже чуть ли не христианским, в России вызывает только одно возражение: он **слишком** еврейский, **слишком** сионистский, **слишком** мало внимания уделяет универсальным вопросам и общим литературным интересам, так что его не всегда интересно читать. Вопросы конъюнктуры, рынка и т. п. русский еврей совершенно не способен понять, так как свято убежден, что пропаганда всегда стоит затраченных на нее средств, и здесь я в значительной степени с ним согласен — затраты эти действительно ничтожны по сравнению с другими тратами на борьбу за советское еврейство, а значение этого фактора для русских евреев неизмеримо выше, чем для западных. Прокормить десяток писателей и журналистов в Израиле гораздо дешевле, чем вести борьбу "за" или "против" помощи нешире. Финансировать русскоязычный журнал или театр, хорошие радиопрограммы или русские титры на телевидении дешевле, чем содержать в Риме и Вене гигантские офисы с десятками высокооплачиваемых людей, которые должны убеждать советских евреев поехать в Израиль, — используя при этом как раз те русскоязычные издания и крохи русскоязычной культуры, которые в самом Израиле погибают от недостатка финансирования.

Немного истории. С самого начала движения в нем существовали две линии: различные виды активного протеста (письма, демонстрации, голодовки и т. п.) и — культурная деятельность (пе-

реводы "Эксодуса", "Последнего из праведников", "Бубера" и т. п.). Обычно еврейский культурный материал обращался вместе с демократическим Самиздатом и не вступал с ним в идеологический конфликт, хотя и подчеркивалось достаточно часто, что у евреев — свой путь и своя ответственность.

Первые успехи движения в 1971 г. привели к исчезновению наиболее способных сионистских лидеров и к формированию новой позиции активистов (меньшинства, впрочем), враждебной по отношению к "демократам", а через них и ко всем формам культурной и общественной работы, не рассчитанной на немедленный отъезд. В те годы культурная работа воспринималась многими как форма "демократической идеологии" ("раз вы изучаете еврейскую историю, значит, вы еще собираетесь здесь жить и бороться; настоящие евреи уезжают, а не учатся; никогда не надо агитировать, все и так уедут, как только это станет возможным, а это произойдет само по себе, исторически; надо только учить иврит в ожидании отъезда"). Я лично встречался потом в Риме с людьми, годами изучавшими иврит, и они стыдливо прятали глаза, объясняя свой выбор.

К 1972—73 гг. сложилась новая группа активистов, ученых-отказников, которым надо было решить, что делать: просто ждать освобождения свыше или развивать какую-нибудь активность. Вопрос о демократах уже перестал быть актуальным, так как демократическое движение очень ослабело, и альтернатива, которая встала перед активистами, была другой: "борьба за выезд" или "борьба за еврейские права". Так как сложившаяся группа лидеров по своему социальному положению принадлежала к интеллектуалам, она автоматически включилась в различные формы культурной жизни и работы, которые привели к образованию некоторого еврейского истеблишмента в Москве и Ленинграде, имеющего открытые семинары, собрания, общественное мнение и даже машинописный журнал "Евреи в СССР". Различие во мнениях оказалось не столь существенным, чтобы не вовлечь практически всех активистов в разные формы деятельности независимо от взглядов. Группа, издававшая журнал, ставила две задачи: выразить в современной форме проблемы и стремления русских евреев так, чтобы евреи увидели и осознали себя евреями, и дать Западу возможность судить о русских евреях, каковы они есть, а не каковыми их представляют эксперты по русским делам. Вторая задача постепенно отпала, так как очень скоро

стало ясно, что на Западе нет реального интереса к реальным евреям, а есть лишь политический интерес к потенциальным олим или ношрим. Уже в самом начале журнал "Евреи в СССР" (сейчас вышел уже 17-й его номер, — своеобразный рекорд для СССР) привлекал гораздо большее внимание евреев, далеких от алии, чем евреев-отказников. Но он и был рассчитан на пробуждение национального сознания среди тех, у кого его нет, а не на укрепление позиций тех, кто уже сделал свой выбор.

В середине 70-х гг. множество лекций, прочитанных на еврейские темы иностранными участниками семинаров, популярность еврейского Самиздата и другие причины создали устойчивое стремление культивировать и распространять элементарные еврейские знания, а спад эмиграционного движения вызвал ощущение растущей изоляции в группе отказников. Сложилась новая группа активистов, выдвинувших на первый план "еврейское самообразование", т. е. распространение элементарных еврейских знаний среди остающихся, а не среди уезжающих. Эта группа начала публикацию соответствующего просветительского журнала "Тарбут" в тесном сотрудничестве с "Евреями в СССР" и организовала уникальный в советских условиях Симпозиум по еврейской культуре, который был поддержан большинством участников всех семинаров. Существовало, впрочем, и меньшинство, которое сопротивлялось этому новому веянию, выдвигая противопоставление: "алия — или культура".

Разумеется, все это происходило в Москве (частично — в Ленинграде и других больших городах). В провинции те же процессы запаздывали на годы, и в 1973—75 гг. там еще воевали против "замаскированных демократов", за иврит и "борьбу за выезд".

О вредной функции противопоставлений. Здесь нужно подчеркнуть, что на всех трех этапах противопоставление каждой двух очередных позиций являлось политически оправданным, но сводилось к преобладанию прагматической ориентации над идеологической. Это может показаться очень разумным, пока мы не поставим себя мысленно в ситуацию русского еврея: если быть последовательным прагматиком, то многим вообще не следует уезжать, так как их ожидает куча неприятностей в свободном мире; а уж если уезжать, то "прагматичнее" стремиться в Америку, где материальные условия лучше, а проблемы безопасности вообще не существует. Когда это противопоставление бы-

ло провозглашено впервые (нужно сказать, что оно не было таким острым у наиболее популярных лидеров, что и объясняет их популярность), оно привело к отделению группы евреев с наиболее продвинутым национальным сознанием от основной группы евреев СССР (и это ослабило движение, но не было замечено тогда). Когда "борьба за выезд любой ценой" была противопоставлена движению за еврейское возрождение и автоэмансипацию в русском обществе, это привело к прагматизации движения, деидеологизации его, и именно это способствовало нешире в такой степени, что сегодняшние ношрим даже не понимают, за что их упрекают товарищи-сионисты: вы же сами нам говорили "выезд любой ценой!", и вот мы в Риме, в чем дело? Когда сейчас в третий раз противопоставляются "алия" или "культура", то это грозит изоляцией группы отказников от интересов евреев России вообще, так как евреи в СССР живут не ради отказников и не ради них уезжают.

Вероятность теперь получить отказ для среднего еврея гораздо меньше, чем пять лет назад, и люди в большинстве не настолько благородны, чтобы жертвовать своими интересами из благодарности к первым активистам, проложившим эту дорогу. Если активисты им не нужны в их обыденной жизни (а теперь даже в эмиграции), они предпочитают не иметь с ними контакта. Но еврейское сознание им нужно, хотя бы для того, чтобы получить помощь в Вене: а в более распространенном случае для самоуважения и воспитания детей. Нужно сказать, что на протяжении всех этих десятилетий существовали и существуют две формы культурной работы, которые пользуются устойчивым, хотя и весьма ограниченным спросом: ульпаны для изучения иврита или самообучение и религиозная пропаганда. И та, и другая деятельность имеют высокий престиж во всех кругах, но немедленно встречают сильное сопротивление, как только начинают претендовать на роль ведущих занятий. Действительно, как компонента еврейской жизни эти два элемента приемлемы для всех, но как ведущий принцип приводят к тому же, что и предшествующие идеологические альтернативы — к изоляции от большинства советских евреев, которые ни в иврите, ни в религии не видят для себя главного.

Таким образом, мы вынуждены формулировать, что современное развитие событий не особенно благоприятно для сионистского движения. У нас, однако, есть возможность значительно

улучшить положение активистов, снабдив их информацией, литературой, идеологией, в которой нуждаются евреи СССР независимо от того, готовы они покинуть СССР или нет. Эти евреи являются громадным потенциальным резервом алии, но они являются массой аморфной, не сознающей себя, и нуждаются в просвещении, воспитании и вдохновении для проявления решимости. Обстоятельства в СССР весьма неблагоприятны к евреям, и рано или поздно они поедут, но поедут не в Израиль, если мы не создадим среди них соответствующего настроения. Даже если у них не будет другого выхода и ХИАС прекратит свою помощь, отсутствие национального сознания и прагматический дух помогут сотням тысяч переменить национальность и остаться "русскими", если мы не создадим у них оснований для еврейской гордости и стимула к алии.

Наши возможности. В Израиле сложились три группы русских олим, имеющие собственные идеологические установки и связанные с соответствующими группами в СССР. Наиболее организована религиозная группа, которая опирается на значительную поддержку религиозных кругов в Израиле и США и контактирует с небольшой, но активной группой активистов в России. Эта группа издает книги, выпускает журналы ("Возрождение" и "Менора") и поддерживает своих членов благодаря наличию денег, полученных от Сохнута и благотворителей. Вторую группу можно условно назвать "интеллигентской", так как она состоит из ученых и писателей и в России имеет контакт с семинарами и еврейским Самиздатом. Для нее характерны попытки обрисовать идеологическую ситуацию в ее полноте, не удовлетворяясь готовыми рецептами. Она также выпускает книги (в основном — авторов олим) на базе книговарищества (теперь — Культурного фонда) "Москва—Иерусалим", но на деньги, "взятые из воздуха", — денег от Сохнута она не получает. В 1976—77 гг. эта группа выпускала также русскоязычный журнал "Сион", финансирующийся Министерством абсорбции. К сожалению, сейчас этот журнал перешел в руки лиц, не имеющих непосредственного контакта с Россией, и вместо него группа начала выпускать новый журнал — "22", уже не имеющий официальной финансовой поддержки. Эта же группа инициировала несколько семинаров в Израиле, которые должны были по-новому поставить вопрос об абсорбции "академаим", являющийся большим вопросом алии.

В последнее время сложилась новая группа, которую можно

условно назвать “культурнической”, члены которой готовы сосредоточиться на еврейском образовании и самообразовании в СССР. Между группами нет непримиримых противоречий, но есть разница в подходе к проблемам и предполагаемым средствам их разрешения. Эта группа также пока никем не поддержана финансово.

Что является главным для всех трех групп и объединяет их? Стремление во что бы то ни стало сделать достоянием советского еврея духовные богатства еврейской истории, традиции и культуры и тем самым привлечь его к Израилю. Здесь содержится неявное предположение, что, если еврей полюбит свою культуру и историю, он непременно захочет поселиться вблизи источника этого богатства. Хотя этот вывод ни из чего не следует, я хочу обратить внимание на тот факт, что именно это убеждение объединяет активистов всех групп и делает их понятными и близкими русским евреям. Поэтому стоит подчеркнуть, что среди всех планов абсорбции и мотивации алии никогда еще не обсуждался самый дешевый и наиболее привлекательный для русских евреев: создание особенно благоприятных условий для их культурной деятельности. Мы никогда не сможем конкурировать с США и Новой Зеландией в уровне жизни, но я не понимаю, почему мы не можем конкурировать с ними в уровне искусства, телевидения, театра? До тех пор пока артисты, художники, режиссеры, писатели будут владеть у нас жалкое существование, лучшие из них будут заглядываться на границу, и наша жизнь будет не только бедней, но и скучнее.

Это целиком относится также к русскоязычной литературе и журналам. На какие деньги существует “Континент”? Интерес к русской литературе среди немцев, итальянцев и англичан ни численно, ни качественно не больше интереса евреев во всем мире к русским евреям. Тем не менее “Континент” поддерживается немецкими издателями и платит своим авторам столько, что любой еврей, живущий в Израиле, готов немедленно печататься в “Континенте”, вопреки даже очень сильной сионистской идеологии. И это не потому, что он любит деньги, а потому, что ему здесь нечего есть! Талантливые писатели бродят по коридорам Сохнута в надежде получить тысячу лир и, как правило, получают отказ, ибо эти деньги идут на оплату чиновника, который не жалеет времени — в Риме, — чтобы уговорить этого писателя приехать в Израиль. Как ни странно, но и в Москве достать “Кон-

тинент” легче, чем “Сион” или “22” или даже “Время и мы”. Разве власти отбирают на таможне только еврейские журналы?

О вреде абстракций. Тут мы подходим к еще одному важному вопросу. Я согласен с тезисом Жаботинского, что еврейские национальные интересы важнее абстрактных принципов и что нам не следует смешивать еврейское возрождение с демократическим движением в СССР. Но, в конце концов, и этот тезис — тоже лишь абстрактный принцип, и его не следует переоценивать и превращать в догму. **Если еврейские национальные интересы требуют смешивать, надо смешивать.** Я согласен, что нам не надо портить отношений с СССР, но не надо портить и отношений с советскими евреями! Мы должны избегать конфронтации с советскими властями, но если еврейские национальные интересы требуют вести себя не на 100% лояльно и не на 100% “кошерно”, то надо именно так себя и вести. Безусловно, советские власти будут недовольны, если больше книг и даже “сомнительных” книг пересечет границу, но зато еврейские национальные интересы от этого неизмеримо выиграют. Стоит вспомнить и другой тезис — Бен-Гуриона: “Важно не то, что говорят гоим, а то, что делают евреи”.

Для нас сейчас поставлен вопрос о преемственности, о новом поколении сионистских лидеров. Они будут воспитаны на тех книгах и журналах, которые мы туда отправим, которые мы здесь издадим. Или же эти лидеры не возникнут вообще, не смогут стать популярны. Ситуация, при которой в Москве сидит самоотверженная группа отказников, готовая рисковать, чтобы пробудить национальное сознание евреев России, может скоро кончиться. Тогда мы вернемся к ситуации до 1967 года, только без израильского посольства.

А. Воронель (р. 1931 г., Харьков) — физик, профессор Тель-Авивского университета. В СССР возглавлял лабораторию в НИИФТРИ (Менделеево), подвергался преследованиям за активную защиту А. Синявского и Ю. Даниэля, впоследствии — за сионистскую деятельность; был организатором московского семинара ученых-“отказников” и его международного симпозиума, запрещенного советскими властями; создал (в 1972 г.) еврейский самиздатский журнал “Евреи в СССР”, в котором опубликован ряд его статей и книга “Трепет забот иудейских” (полностью вышла в Израиле в изд-ве “Москва—Иерусалим”). В Израиле с 1974 г.; опубликовал ряд исследований по физике и статей на общественные темы. Живет в Тель-Авиве.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

РЕЛИГИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР РУССКОГО ДИССИДЕНТСТВА

Среди диссидентов в СССР непропорционально много ученых. Это факт, который заставляет задуматься и требует объяснения — по крайней мере, гипотетического. Наиболее распространенное объяснение таково: ученые, по природе своей профессиональной деятельности, больше других нуждаются в свободе мысли, свободе творчества; поэтому они скорее других готовы встать на борьбу за основные права человека.

Это объяснение вряд ли можно признать удовлетворительным. Ученый, выступающий за права человека, проигрывает в своей профессиональной деятельности, вплоть до полной невозможности заниматься ею. С другой стороны, если не “заниматься политикой”, то физик или биолог вполне может преуспеть (в рамках возможностей советского ученого) в любимом деле. Поэтому тезис: **восстановить, чтобы улучшить профессиональные условия для себя**, — этот тезис не работает в случае ученого-естественника (а говоря просто “ученый”, я имею в виду прежде всего ученого-естественника), как она работает, скажем, в случае художника.

Сопоставление ученого с художником весьма показательно. Благодаря уникальному, почти патологическому консерватизму советских правителей, художники в СССР оказались в исключительном положении: даже не занимаясь политикой, многие из них вынуждены становиться диссидентами: устраивать неофициальные выставки и т. п. Они, так сказать, “диссиденты для себя”. Но ученые — не “для себя”, а “для всех”. Тогда — чем же все-таки выделены ученые?

Сформулированное выше объяснение можно приблизить к реальности, если ввести между посылкой и заключением своего рода “среднее звено”: ученые больше других нуждаются в интеллектуальной свободе, поэтому они лучше видят и болезненнее воспринимают уродство тоталитарного режима, а возникающие отсюда эмоции подталкивают их к диссидентству. Однако и в

этом виде объяснение остается не вполне удовлетворительным. По моему убеждению, основанному на личных контактах, решающим фактором в становлении диссидента является серьезное отношение к неким высшим принципам или, что то же самое, стремление к некоей высшей цели, с которой тоталитаризм приходит в противоречие. Только наличие высшей цели может побудить человека пожертвовать своими материальными и профессиональными интересами.

Мое объяснение непропорционально высокой доли ученых среди диссидентов таково: не профессия ученого подталкивает человека к борьбе с тоталитаризмом, а определенный тип личности, требующий наличия высшей цели и серьезного к ней отношения — иначе говоря, **религиозный тип личности** — подталкивает человека избрать своей профессией науку, и он же подталкивает его в ущерб профессиональной карьере вступить в конфликт с обществом. Под религией я здесь понимаю любую систему сверхличных ценностей, указывающую человеку высший смысл бытия.

Молодому человеку, чье воспитание формально не было религиозным, т. е. воспитанному вне какой-либо из традиционных религий (а в СССР к этой категории относится большинство), наука дает возможность найти для себя основу и стержень религиозного опыта. Наука дает представление о мире, который находится в состоянии творческой эволюции, т. е. в состоянии такого изменения, результаты которого не предсказуемы в точности и обладают высшим смыслом, хотя о том, каков этот смысл, мы опять-таки не можем сказать точно, а можем только строить догадки. Сама наука, т. е. совокупность знаний человека о мире, есть часть этого процесса, и раскрытие очередной тайны природы подвигает нас по удивительному пути Великой Эволюции Мироздания и наполняет душу трепетом. Приобщение к науке и личный вклад в ее развитие есть вклад в Великую Эволюцию, т. е. форма бессмертия личности. Таким образом, мы видим здесь основные элементы религиозной сферы жизни: картина мироздания, смысл бытия, приобщение к вечности, завеса тайны, которую можно приоткрыть частично, но никогда нельзя раскрыть до конца. Эти религиозные элементы в научном оформлении порождают те же эмоции, что и в оформлении традиционных религий. Я хорошо помню свои ощущения, когда я, еще ребенком, едва научившись читать, прочел в журнале "Знание—Сила" статью

о теории Дарвина, об эволюции, об ископаемых животных. Меня охватил изумленный восторг и потребность что-то делать немедленно, сейчас же, сию минуту. Я не могу назвать это чувство иначе, чем религиозным восторгом и религиозным рвением.

Религиозное чувство, как и прочие характеристики человеческой личности, свойственно различным людям в различной степени. Я отнюдь не утверждаю, что всем ученым оно свойственно в наибольшей степени или что все формально безрелигиозные люди с сильно развитым религиозным чувством становятся учеными. Но я полагаю, действительно, что значительная часть молодых людей с сильно развитым религиозным элементом тяготеет к науке и становится учеными (по крайней мере, это относится к СССР). Они-то и образуют тот важнейший резерв, из которого берутся диссиденты. Ибо тоталитаризм лишает их жизнь смысла. Тоталитаризм — это ложь и застой, это препятствие на пути Великой Эволюции. Тоталитаризм хочет лишить этих людей уважения к мирозданию, он мешает им внести в Великую Эволюцию свой личный вклад, к чему они готовились и на что рассчитывали. Он вступает в непримиримое противоречие уже не с профессиональными интересами, но с религией. В борьбе с тоталитаризмом эти люди восстанавливают для себя смысл существования.

В этом свете мы можем бросить общий взгляд на движение сопротивления тоталитаризму в Советском Союзе. В условиях жестокого репрессивного режима необходима какая-то духовная опора для сопротивления, какие-то сверхличные ценности. Мы видим в СССР в настоящее время три отчетливо различных потока, каждый из которых основывается на своих ценностях. Первый — национальные движения; второй — религиозные (в традиционном смысле) движения; третий — движение за права человека, участников которого называют просто “диссидентами”, без прибавления термина “национальный” или “религиозный”. Конечно, далеко не все и, быть может, даже не большинство диссидентов — ученые. Но то, что среди них непропорционально много ученых, — это факт, который я пытался объяснить и который помогает понять, что движение диссидентов, по существу, также является движением религиозным. Понятие о правах человека — это лишь социально-политический аспект религиозного представления о смысле бытия, которое лежит в основе диссидентского движения. Поэтому-то термин “диссидент”, имеющий в

силу своего исторического происхождения религиозную окраску, и прижился с такой легкостью в современной России. И поэтому глубоко неправы те представители левых кругов Запада, которые упрекают диссидентов в том, что они, якобы, “думают только об интересах интеллигенции, а не об интересах народа”.

Диссиденты вовсе не являются выразителями профессиональных интересов интеллигенции. В СССР просто не существует организаций, представляющих интересы каких-либо социальных групп. К сожалению, не существует. Будем надеяться, что они появятся в будущем, а диссидентство в его нынешней форме будет необходимой подготовкой к этому, прологом этого. Религиозные движения всегда предшествуют политическим, пробивают путь для них. Диссидентство, как религиозное явление, не имеет прямой связи с делением общества на социальные классы. Права человека необходимы всем людям независимо от социальной принадлежности. Другое дело – социальный состав диссидентского движения. Он определяется тем, что исповедуемая диссидентами религия требует хорошего образования и широкого умственного кругозора. Люди такого типа, одушевленные религиозным рвением к науке или другим видам творчества, всегда будут вступать в конфликт с тоталитарной системой, и этот неизбежный конфликт будет производить все новых и новых диссидентов.

ВАЛЕНТИН ТУРЧИН

В. Турчин (р. 1931 г.) — доктор физ.-мат. наук; в СССР работал в Обнинске, потом в Институте прикладной математики АН СССР, автор 65 научных работ; подвергался преследованиям за активное участие в демократическом движении; опубликовал в Самиздате статью “Инерция страха” (вышла отдельной книгой на Западе) и возглавлял советскую группу “Амнести Интернейшнл”; с 1977 г. на Западе. Опубликованная выше статья представляет собой часть доклада В. Ф. Турчина, сделанного им в рамках Бьеннале-77 в Венеции.

ВЛАДИМИР ЛАЗАРИС

ИРОНИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА

Проблема инакомыслия в Советском Союзе стала одной из самых популярных в мире за последние годы. Почти ежедневно в газетах и журналах разных стран появляются статьи и обзоры, рассказывающие о деятельности диссидентов, об их борьбе за демократию — **против** советской власти.

Да, для обывателя, для обычного и неподготовленного читателя вся проблема ужимается именно в рамки этой борьбы “за” и “против”. И не важно, что “за” почти не формулируется (очень трудно выявить цели диссидентской активности), — зато очень уж ясно для него пресловутое “против”: диссиденты **против** власти, **против** режима в СССР, **против** внешней и внутренней политики Советского Союза.

Это упрощение стало возможным потому, что нынешняя ситуация в СССР подается западными средствами информации только в двухцветном изображении: черное и белое. Если есть советская власть, стало быть, должна быть и оппозиция этой власти. И тогда вступает в силу “логика” привычных ассоциаций: за словом “оппозиция” мерещатся сотни, а то и тысячи людей; а за этим тянется мысль об **открытом и активном** характере их “оппозиции” — ведь все эти сотни и тысячи должны же где-то собираться, устраивать демонстрации, печатать свои программы и призывы.

В западных публикациях о советском диссидентстве, как правило, не проводится различия между диссидентом явным и тайным.

Явных диссидентов сейчас можно пересчитать по пальцам. Сохраняя советские паспорта, эти люди перестали быть советскими гражданами не только с точки зрения властей — публично обвиняющих их в антисоветской деятельности, но и — что важнее — со своей точки зрения тоже. “Мы русские”, говорят они, “мы украинцы”, “мы грузины, армяне”; но скажут ли они, что

Из книги “Диссиденты и евреи: иллюзия и реальность”.

они — советские? Они явные еще и в другом смысле слова: они живут под постоянным наблюдением властей, каждый их шаг, слово, движение фиксируется, регистрируется, подшивается к делу.

Но много ли найдется желающих пойти по этому пути?

Скрытый диссидент избирает для себя негативное поведение: не читать газет, не участвовать в общественной жизни, не ходить на собрания и политинформации, не участвовать в выборах в Советы. Он тоже может распространять в Самиздате (или среди узкого круга друзей) какую-либо свою статью, но обязательно анонимно или псевдонимно, потому что в противном случае ему грозит перестать быть "скрытым" и перейти в категорию "явных". И возникает странная ситуация, когда профессиональные писатели, продолжая быть членами СП СССР и сдавая в печать добротную советскую продукцию, одновременно пишут для Самиздата. И пишут уважаемые сотрудники респектабельных институтов. И высокопоставленные представители института одобрительно кивают, читая эти анонимные или псевдонимные сочинения, изыкая переизданные на Западе и вернувшиеся в Советский Союз. Таких "диссидентов" тысячи. Но все они смотрят на явных со стороны. И примыкать к ним не спешат.

Поэтому глубоко ошибочно говорить сейчас о диссидентском движении и в Советском Союзе, об общественном протесте. Общество продолжает жить своей жизнью, а на его периферии остается та дюжина явных диссидентов, которая действует реально и открыто¹.

Почти все они давно уволены со своих постов и должностей или предельно ущемлены на работе, лишены доступа к профессиональной сфере деятельности, перебиваются случайными заработками. От них отворачиваются друзья и знакомые, они обречены на слезку и репрессии, одиночество и постоянное душевное напряжение. И, не видя возможности продолжать такую жизнь внутри СССР, многие из них, в конце концов, уезжают, используя для этого еврейскую эмиграцию.

Один из несостоявшихся диссидентов, Игорь Мельчук, выехавший в 1977 г. в США, написал откровенно и печально: "...принципиальная возможность выезда обеспечивает тыл тем немногим людям, которые отстаивают права человека в СССР. Отсутствии "запасного выхода" самым губительным образом сказались бы на нынешнем демократическом движении. Его ведущие

фигуры — подвижники — оказались бы в изоляции. Человек, не выкованный из чистой стали,... не способен, по-видимому, на борьбу и протест, если его дело полностью бесперспективно, а его собственное положение абсолютно безвыходно"².

Пусть "полная бесперспективность" демократического движения останется на совести автора данной цитаты, но упоминание о еврейской эмиграции как "тыле" для демократического движения заслуживает особого комментария.

Еврейская эмиграция из СССР имеет целевое назначение. В идеале она имеет совершенно определенный маршрут. В идеале, потому что статистика последних трех лет показывает сильный кризис этого идеала. Тем не менее израильское правительство, предлагающее вызов и гражданство советским евреям, вовсе не намеревается "спасать всех противников КПСС, не интересуясь ничем относительно спасаемого", как предлагает тот же Мельчук. Израиль — еврейское государство, и именно этим оно отличается от сотен других государств. Именно по этой причине Израиль прежде всего озабочен судьбами евреев в странах диаспоры, а не "всех противников КПСС".

Если верить Мельчуку, эти "противники" играют в довольно странную игру: они начинают участвовать в демократическом движении, будучи заранее уверенными в существовании "запасного выхода". Но этим они демонстрируют временный и непоследовательный характер своей деятельности. Имеют ли право потенциальные эмигранты говорить о переменах в России, а тем более — от имени России? Ведь они уже, в сущности, согласились с мыслью покинуть ее. И здесь возникает очень важный вопрос: что стало бы с демократическим движением, не начнись еврейская эмиграция?

Некогда Солженицын, суммируя свои расхождения с Сахаровым, отметил как неприемлемую для себя "предпочтительную важность эмиграции перед всеми видами других прав остающегося населения"³.

Существует мнение, что насильственная эмиграция (в сущности — высылка) является эффективным средством расправы с диссидентами. В свое время это средство по предложению В. И. Ленина было включено в уголовный кодекс РСФСР, в раздел наказаний. Однако по этой давно отмененной статье до сих пор наказали одного лишь Солженицына, под руки-под ноги отправив его из СССР на специальном самолете.

Но вопрос о внутреннем согласии на эмиграцию — это очень сложный и деликатный вопрос, который требует не столько честности с другими, сколько честности с собой. Пока известен лишь один пример абсолютной честности — Анатолий Марченко, отказавшийся от выезда в Израиль, который ему навязывали власти и которому он предпочел новый лагерь и новый срок. Остальные диссиденты следуют рекомендациям властей или сами торопятся уехать на Запад по израильским вызовам. Эти вызовы остаются чуть ли не единственной ниточкой, связывающей сегодня диссидентов и активистов еврейского национального движения.

В своем недавнем интервью журналу "Ньюс уик" Наталья Солженицына сказала, что "движение протеста ничего не теряет, когда диссиденты уезжают, потому что те, кто уезжают, уже потеряли желание бороться — это люди, у которых больше не осталось силы"⁴. Пожалуй, Н. Солженицына слишком категорична в своем диагнозе, но применительно к отдельным случаям с ней можно согласиться. Так, ленинградский профессор Ефим Эткинд обратился в свое время к еврейской молодежи СССР с призывом оставаться в СССР и участвовать в борьбе за демократические перемены. Вскоре после этого он уехал в Париж, где и проживает сейчас и откуда написал недавно, что "не отъезд я считаю выходом... выход это — гласность"⁵. Сказано красиво, но спрашивается, что должна делать в СССР еврейская молодежь, оставшаяся без Е. Эткинда, и нужны ли теперь демократические перемены в СССР самому Эткинду, живущему в более чем демократическом городе Париже?

В последние годы было несколько временных выездов — М. Ростропович с Г. Вишневской и П. Григоренко — с твердым обещанием вернуться. Но буквально на днях пришло сообщение о лишении их советского гражданства за "антисоветскую деятельность", и их растерянность только доказывает, что все эти бывшие диссиденты были излишне наивны, полагая, что выезд из СССР может быть в р е м е н н ы м. Они ошиблись, но за эту ошибку придется расплачиваться их товарищам в Москве, которых остается все меньше и меньше.

Демократическое движение начиналось с евреев, как начинались до этого и христианство, и октябрьская революция. Очертя голову, с безумными надеждами, радостью и верой евреи приняли "оттепель" за половодье и поплыли в нем. Они искали спра-

ведливости для других и освобождения от еврейского комплекса для себя. Они протестовали против осуждения Даниэля и Синявского в 1965 г., Галанскова и Гинзбурга в 1967 г., оккупации Чехословакии в 1968 г.

Но именно в 1968 г. для некоторых из них наступило протрезвление и, как пишет Роман Рутман, они осознали, что "все время обманывали себя в отношении будущего, ибо в России никогда не будет больше свободы, чем есть сейчас... Мы думали, что за нами стоит армия интеллектуалов, но, когда пришло время протестовать, все, кроме семи или восьми человек, отступили в молчанье...".

В этот период разочарования и крушения надежд, продолжает Рутман, "я начал изучать еврейскую историю. Из того, что я знаю, я думаю, что могу идентифицировать себя более естественно в еврейских традициях. В любом случае я хочу быть с народом, который я чувствую своим. Я думаю, евреи — мой народ. Я знаю, что русские — не мой. Я больше не участник русского общества, и мне спокойно от этого. Так бывает, когда вдруг начинаешь говорить правду после долгой, долгой лжи..."⁶.

По пути, описанному Рутманом, пошли и другие еврейские интеллектуалы — бывшие участники демократической группы. На фоне больших ожиданий и демократических идей дряхлые еврейские лапсердаки казались этим интеллигентным людям обветшалым анахронизмом, но теперь они увидели, что реальная сила заключена именно в их еврействе. Это была сила их общей истории, культуры, религии и традиции. Это была завораживающая сила Израиля. И именно к Израилю устремили они свои несбывшиеся ожидания.

Ни процесс Синявского и Даниэля, ни голодовки Горбаневской, ни демонстрации на Красной площади Л. Богораз и других, ни даже высылка Солженицына ни на йоту не изменили физиономии советского общества в целом. От той "оттепели", которая началась ровно 25 лет назад, еще что-то капает: за встречи с иностранцами не сажают в тюрьму, дома можно держать и читать любую литературу и слушать любые радиостанции, из-за границы можно получать посылки и писать туда письма. Но разве это достижение диссидентов и разве это то, чего они добивались?

В то же время евреи сделали несравненно больше. В 1970 г. в Ленинграде начался процесс "самолетчиков", и весь мир ошалел: евреи хотели угнать самолет и бежать на нем в Израиль! Не-

ужели эта страна им так нужна? И если да, то почему их туда не пускают? Почему?

Этот вопрос зазвучал во всем мире по радио, телевидению, замелькал в заголовках газет — и лед тронулся. Евреи поехали и полетели в Израиль официально, легально, с проштемпелеванными визами и “разрешенным к провозу” скарбом. Лавина нарастала с каждым годом, и десятки тысяч евреев из разных городов СССР сделали то, что не удалось диссидентам, — заразили советское общество великим соблазном.

Эмиграция из СССР стала фактом.

Диссидентство как форма открытого протеста и недовольства существует в СССР уже около 15 лет. За это время изменились методы протеста (от Самиздата и демонстраций к пресс-конференциям с западными журналистами) и состав участников (энергичная и блистательная московская группа поредела до беззубия и начала растворяться в различных националистических и религиозных группировках и течениях). Фактически костяк диссидентства в СССР сейчас составляют группы разной степени “правизны”, в которых доминируют русские и украинские националисты.

Выступая в сенате США, Владимир Буковский сказал, что “в настоящее время движения за национальные права неотделимы от основного движения за права человека”⁷. И таким образом, если верить Буковскому, воззрения и цели, например, русских националистов тоже “неотделимы от основного движения за права человека”. Что же это за цели?

Несмотря на свою неоднородность, “русситы” одинаково категоричны в своем проекте будущей России: это должна быть Россия без евреев. Антонов, Осипов, Бородин, Шиманов, Скуратов — все они могут не ладить между собой по вопросу монархизации или пролетаризации России, но еврейский вопрос их объединяет. “Еврейская идея”, “организованные силы Сионизма и Сатанизма” должны быть выкорчеваны из русской земли, и тогда Россия “очистится”. С точки зрения некоторых “русситов” возможен и такой вариант, при котором евреям будет дана автономия, но с условием, чтобы они вели себя смирно и быстрее растворились среди основного населения страны. При этом выражается симпатия к евреям, которые “крепко ориентированы

на Израиль”, и недовольство в адрес “нерешившихся” (на выезд — В. Л.)⁸.

Различные диссиденты смотрят по-разному на еврейскую эмиграцию из СССР: одни считают, что в нынешней России евреям не прижиться, другие (как говорилось выше) не видят для евреев места в России будущей, а третьи винят евреев за то, что, начав эмиграцию, они выкачивают из России тот потенциал, который мог бы послужить ее обновлению.

По поводу выкачивания потенциала недавно было высказано обратное мнение о том, что изолированность диссидентов, иллюзорность их деятельности не только приводит к застою самих диссидентских групп, но отбивает всякое желание протестовать у других людей, которые “в таких условиях приходят к неправильному решению: эмигрировать на Запад, чтобы вести какую-нибудь работу там... Так Россия лишается оппозиции”⁹.

Демократы называют свое объединение “моральным движением”, подчеркивая этим отсутствие физических, реальных признаков движения: устава, программы, членства, денежного фонда и пр. Хотя в последнее время некоторые из этих признаков появились: московское отделение “Амнести Интернейшнл” со своим секретарем (сейчас Владимов) и несколько групп наблюдения за выполнением Хельсинкского соглашения со своими председателями и членами (председатель московской группы Ю. Орлов сейчас находится в тюрьме в ожидании суда). К этим признакам можно отнести и фонд Солженицына в размере 700.000 рублей для помощи политзаключенным и их семьям, которым руководил А. Гинзбург (также находящийся сейчас в тюрьме).

Однако западная общественность видит диссидентов как выразителей активного протеста, активного действия. “По своей ориентации это протест не идеологический, но прежде всего активный...”¹⁰.

В. Буковского неоднократно спрашивали во время его турне по Европе и США о том, пользуются ли диссиденты широкой поддержкой в СССР и какова степень этой поддержки? Возможно ли ее оценить и измерять? Один раз Буковский ответил на этот вопрос, что “все защитники прав человека в СССР, особенно люди типа Сахарова и Солженицына, очень хорошо известны среди широких слоев советского общества”. Другой раз он сказал, что “невозможно добиться перемен в Советском Союзе, ведя борьбу

изнутри". Оба эти ответа трудно считать прямыми, но второй из них по крайней мере говорит о расчетной перспективе демократического движения. Буковский продолжает: "Наше движение лишено средств, у нас нет органов печати, нет информации. Мы пользуемся западными источниками информации. Вы на Западе помогаете не нам, а самим себе"¹¹.

Но в отношении Запада к советским диссидентам наблюдается конфликт видимости и действительности. То, что есть в СССР, не удовлетворяет Запад. А то, что желательно Западу, отсутствует в СССР: возможность подпольной борьбы исключается, открытые выступления проходят редко, спорадически, и мгновенно подавляются.

"Почему борются наши друзья в Советском Союзе за права человека?" — спрашивает Буковский. И сам отвечает: "Потому что они лишены этих прав. Если не будет у них прав, то у колхозников, рабочих, интеллигенции никогда не будет человеческих условий труда, приличной зарплаты, отпуска — всего того, что нужно трудящемуся человеку"¹².

Высказывания Буковского еще раз показывают, насколько аморфны и расплывчаты цели демократического движения, насколько страдает оно от отсутствия четко сформулированной программы.

В этом отношении цели еврейского национального движения можно сформулировать предельно четко: возможность национальной самоидентификации евреев внутри Советского Союза и обеспечение каждому еврею права на свободный выезд в Государство Израиль. Это конкретная программа, оба пункта которой тесно взаимосвязаны между собой.

Устремления демократов и евреев прямо противоположны: демократы пытаются включиться в общемировую борьбу за права человека, но их требования свободы слова, совести, информации пока остаются призывами, весьма далекими от реальности, в то время как евреи последовательно реализуют уже добытое право на репатриацию в Израиль; демократы собираются бороться за возможные перемены внутри России, в то время как евреи оставляют ее такой, как она есть.

Один из бывших активистов еврейского национального движения профессор Марк Азбель (живущий сейчас в Израиле) написал в своей "Автобиографии одного еврея": "каждая страна живет именно той жизнью, которой желает большинство ее населения,

и поэтому, уж во всяком случае, не еврейским интеллигентам следует менять жизнь России"¹³.

Но как относится это "большинство населения" к деятельности диссидентов? Сам уровень народного сознания, его недостаточная зрелость и инертность вырабатывают неприятие диссидентов и элементарное непонимание их идей.

В отличие от предыдущих периодов русской истории сейчас в СССР нет ни одной компактной группы населения (рабочие, студенчество, интеллигенция), способной стать базой для диссидентства.

Поставленные вне общества, отторгнутые им, диссиденты в свою очередь отвернулись от этого общества. Все свои призывы, стремления, надежды диссиденты обращают не вовнутрь, но вовне — к мировой общественности. Но не глас ли это вопиющее...?

И, ограничивая свое общение небольшим кружком единомышленников, страдая из-за отсутствия четкой идеологии, конструктивной программы, испытывая на себе репрессии властей и равнодушие окружающего общества, нынешние диссиденты все дальше уходят от той России, которую они собирались менять.

В то же время еврейское национальное движение можно назвать подлинно народным, уходящим корнями в еврейскую народную массу, еврейскую историю и традицию. Почти каждый еврей воспринимает это движение, как свое, и, учитывая это, еврейские активисты выдвигают сейчас задачу первостепенной важности: пробуждение национального самосознания на базе русскоязычной литературы по еврейской истории, религии, культуре; изучение иврита на добровольных началах; издание литературных журналов "Евреи в СССР" и "Тарбут" ("Культура"); организация самостоятельных музыкальных и драматических фольклорных ансамблей.

Направленное в перспективе на Израиль, еврейское национальное движение может быть по праву названо сионистским, и сионизм как идеология и практика скрепляет его фундамент и придает убедительность и конкретность его целям и задачам.

Уже неоднократно говорилось и писалось, что борьба евреев за выезд является составной частью борьбы за либерализацию Советского Союза, и евреев призывали объединяться и действовать совместно с диссидентами. Однако подобные суждения и предложения не учитывают двух важных моментов:

1) объединение евреев с любыми оппозиционными силами внутри СССР и за его пределами сразу лишило бы еврейское национальное движение обоснованной самостоятельности, цельности, исторических корней, маневренности и определенности, превратив его в придаток диссидентства;

2) кроме того, такое объединение привело бы к немедленному и тотальному усилению репрессий властей против еврейских активистов, которых превратили бы вначале в антисоветчиков, а потом — в шпионов. Недавним примером подобных метаморфоз является дело А. Щаранского.

Всякое взаимодействие между демократами и евреями до сих пор осуществлялось и ограничивалось личными, индивидуальными контактами (юридические консультации общих адвокатов, эпизодическое подписание писем протеста), лишёнными всякой организационной основы.

Первая же попытка объединения демократов и евреев в рамках Хельсинкской группы* обернулась для первых разгромом московской группы, а для вторых — упомянутым делом Щаранского, направленным против всего еврейского национального движения в целом.

Надо отдавать себе отчет в том, что чужеродность и несовместимость обоих движений объясняется не каким-то комплексом национально-исторических претензий друг к другу, а именно коренным различием задач.

Диссиденты разрабатывали разные формы активности, стараясь следовать советскому закону и в то же время учитывая собственные творческие возможности. "Ироническая песенка, прекрасные стихи, книга, статья, размноженная в сотне экземпляров, абстрактная картина... они выполняют функции парламентской оппозиции..., одним словом, того, что в нормальном мире называется политическим действием"¹⁴.

Но уехал (и недавно погиб) А. Галич, и оборвалась ироническая песенка; с отъездом И. Бродского не стало прекрасных

* Сразу после окончания Хельсинкского совещания еврейские активисты решили начать систематический сбор и анализ всех случаев нарушения "Заключительного акта" по вопросам еврейской эмиграции. Но самостоятельное решение некоторых активистов (В. Рубин, А. Щаранский, В. Слепак) организовать вместе с демократами общую группу по наблюдению за выполнением "Заключительного акта" было признано в еврейских кругах неоправданным и неразумным риском.

стихов; повести В. Корнилова существенно отличаются от книг Солженицына и Синявского; а хорошая статья, да еще "в сотне экземпляров"... в каком же году это было в последний раз?

Читатель вправе спросить, уж не поминки ли я отмечаю по демократам? И не воздаю ли лишнего евреям? Ни то, ни другое; это всего лишь подведение еще одного итога для нас самих и для того Запада, который по-прежнему смотрит на Россию в черно-белом изображении.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эдвард Крэнкшоу, рецензия на книгу "Диссидентство в СССР" в сборнике "Совет Джуиш Аффэрс" № 2, 1977 г., стр. 70: "Все публично протестующие против аспектов режима являются диссидентами, но только горстка диссидентов участвует в общественном протесте. Пока эта элементарная истина не будет понята, любая дискуссия о диссидентстве в Советском Союзе будет бессмысленной".
2. Игорь Мельчук "Спасите наши души...", журнал "Время и мы", № 23, 1977 г.
3. А. Солженицын, "Континент", № 2, 1975 г.
4. "Ньюс уик", март 1978 г.
5. Е. Эткин, "Советский писатель и смерть", журнал "Время и мы", № 26, 1978 г., стр. 143.
6. "Инсайт", т. 2, № 4, апрель 1976 г.
7. Сборник "Слушания Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе", Вашингтон, 1977 г., стр. 21.
8. Димитрий Поспеловский "Русская национальная мысль и еврейский вопрос" в сборнике "Совет Джуиш Аффэрс", № 1, 1976 г.; см. также статьи Г. Шиманова ("Сион", № 21, 1977 г.) и М. Скуратова ("22", алф, 1978 г.).
9. М. Назаров "Оппозиция в СССР и молодежь", "Посев" № 8, 1977 г.
10. Уильям Дуглас, "Точки мятежа", на англ. языке, Нью-Йорк, 1970 г., стр. 9.
11. Интервью с В. Буковским, газета "Наша страна", Тель-Авив, 27 января 1978 г.
12. Там же.
13. М. Азбель, "Автобиография одного еврея", газета "Наша страна", 20 мая 1977 г.
14. А. Хмелевская, "Письмо друзьям", "Континент", № 12, 1977 г., стр. 314.

В. Лазарис — юрист, активный участник еврейского движения в СССР, один из редакторов журнала "Евреи в СССР" и членов оргкомитета московского симпозиума по еврейской культуре; стихи и статьи В. Лазариса публиковались в еврейском Самиздате и израильской прессе. В Израиле с 1978 г. Живет в Реховоте.

СУДЬБЫ ИДЕЙ

МИХАИЛ АГУРСКИЙ

САМОУБИЙСТВО ЛУИСА МЕРСЬЕРА ВЕГИ

Я видел этого человека только раз в жизни, но считаю своим долгом рассказать о нем. С такими людьми встречаешься редко. Они оказываются судьбоносными, и встречи с ними даются не для того, чтобы появилась еще одна светская связь, еще одно приятное знакомство. Они, эти люди, оказывают на нас мгновенное влияние, вносят в нашу жизнь то, чего в ней не было раньше, и затем исчезают, быть может — навсегда. Подобные встречи бывают только за пределами нашей обычной жизни, в кругах, которые отделены от нашего будничного существования бездной иных традиций, привычек, исторического наследия.

Луис Мерсьер Вега был анархистом чилийского происхождения, и встретить его для меня было столь же вероятно, как встретить, например, филиппинского промышленника или же испанского торреадора. Конечно, теоретически говоря, я мог с ними столкнуться — где-нибудь в самолете, в гостинице. Но предположить, что в результате такой встречи мог бы образоваться еще и какой-то реальный контакт, — невозможно.

Но таинственна связь человеческих жизней, и она распоряжается иначе.

В марте 1977 года, когда мне довелось в течение нескольких месяцев работать в парижских библиотеках, я получил письмо от одного знакомого англичанина, социалиста. Он работал тогда в аппарате Европейского Экономического Сообщества в Люксембурге. Мы решили встретиться, и англичанин вскоре действительно приехал в Париж, где мы провели за разговорами приятный вечер в уютном ресторанчике на рю де Батиньоль. Мой знакомый привез номер совершенно неизвестного мне журнала, в котором, как оказалось, еще в 1975 году была перепечатана (по-французски) одна моя давняя самиздатская статья, где рассматривались экономические системы Востока и Запада и утвер-

ждалось, что обе страдают одинаково большими пороками. Журнал, к моему удивлению, был... анархистский. В России, работая над этой статьей, я менее всего предполагал, что какие-то ее положения могут оказаться приемлемы и даже, видимо, интересны для анархистов. Да и о существовании этого движения я почти не думал тогда.

Все же это вряд ли было и совершенно случайным. В свое время, лет двадцать назад, я всерьез интересовался одно время анархизмом, в особенности — Кропоткиным, затем интерес к нему у меня ослаб, хотя сама его идея децентрализованного общества, состоящего из групп, совмещающих умственный и физический труд, надолго осела в моей памяти. Было еще и обстоятельство личного характера: отец мой, в бытность свою в Америке, примыкал к известной анархистской организации “Индустриальные рабочие мира” (JWW).

Увидев теперь в анархистском журнале эту свою статью (журнал назывался “Интеррогасьон”), я решил найти редакцию. Следовало хоть поблагодарить господ анархистов за публикацию. Но в парижских телефонных справочниках номера “Интеррогасьон” не оказалось и просто позвонить туда не удалось. Тогда я решил написать им письмо, ибо адрес редакции в журнале все же приводился, да и фамилия редактора указывалась — Луис Мерсьер Вега. Я написал Веге по этому адресу и через некоторое время получил от него весьма любезный ответ, где сообщался также его домашний телефон.

Вскоре я поднимался по лестнице его дома. Дом этот располагался в районе, где парижская интеллигенция обычно не живет, — в квартале одиноких рабочих и проституток, где не всякий хозяин отеля впустит наивного иностранца, который по простоте душевной вздумает спросить здесь свободную комнату.

Дверь открыл сам Вега — среднего роста, пожилой, но хорошо сложенный и еще крепкий человек. Я не взялся бы на глаз определить его национальность; впрочем, и возраст тоже. Со вкусом убранная квартира, много книг, явно холостяцкий уют... Обед хозяин приготовил сам, — получилось что-то вкусное и даже изысканное, обильно приправленное вином.

Вега свободно говорил на нескольких языках. Общим у нас оказался английский. Потягивая вино, он рассказывал, что анархистом стал в 16 лет, воевал в Испании, на стороне республиканцев, после этого сменил еще много стран и куда большее число

городов. Улыбнувшись, он произнес несколько слов по-русски и тут же пояснил, что слышал их от Лазаревича — одного из немногих русских анархистов, которым удалось спастись после разгрома русского анархизма большевиками.

Я признался, что не верю в реальность политических идей анархизма, хотя готов согласиться, что, быть может, действительно, следует всемерно стремиться к ограничению власти государства. Такое ограничение, однако, — сказал я, — может быть лишь путем, процессом, а не целью самой по себе. Он вежливо возразил, потом предложил мне написать или поговорить об этом на анархистском конгрессе, посвященном проблеме “новых господ” в современном обществе, который должен был состояться в марте 1978 года в Венеции. Я поблагодарил его за приглашение. На этом мы расстались.

Я почувствовал симпатию к нему с первых же минут, но и тогда, во время разговора, и позднее не мог отделаться от мысли, что мы принадлежим к совершенно разным, чуждым мирам. Такая чуждость преодолевается нелегко, иногда она оказывается непреодолимой. Я говорил о путях национализма, а для него национальные проблемы не существовали вообще и в нациях он видел, кажется, всего лишь досадные “перегородки” между людьми. Я был из Израиля, к которому он относился с явной настороженностью; в израильские киббуцы он не верил абсолютно, — знал, что там широко применяется наемный труд.

Вскоре я вернулся в Иерусалим. Через несколько недель пришло официальное приглашение на анархистский конгресс, — Вега не забыл наш разговор.

В октябре того же года я снова оказался в Париже и решил позвонить Веге. Он ответил, что рад, что сейчас, к сожалению, занят, что перезвонит мне сам и тогда мы договоримся о встрече. До сих пор не знаю (и уже никогда не узнаю), звонил ли он мне в ту последнюю неделю октября. Быть может, звонил — и не застал. Он выполнял свои обещания. Первого ноября я уехал из Парижа, так и не повидавшись с ним.

В Иерусалиме я начал готовить свое выступление. Письма по поводу конгресса теперь приходили почему-то не из Парижа, а из Италии, и подписывал их уже другой человек. В феврале я получил программу заседаний. Среди прочих там значился и доклад Веги.

Утром 25 марта 1978 года я входил в красивый старинный дворец Аула Манья, где расположен архитектурный факультет Венецианского университета. Уже собирались участники и гости конгресса. Я хотел первым делом повидать Вегу. Его не было видно. Спрашивать было как-то неудобно, а докладчики уже занимали свои места в президиуме большого актового зала.

Первым выступал Амедео Бертоло, и то, как он упомянул о Веге, меня сразу насторожило. Он сказал о нем, как говорят о человеке, который отошел от дел и завещал другим какие-то свои мысли и идеи.

Я все еще не понимал, что происходит. В перерыве я подошел к одному из новых знакомых — венгру, который неплохо говорил по-русски (когда-то провел три года в Ленинградском университете), и, волнуясь, спросил:

— Что с Вегой? Где он?

Венгр удивленно посмотрел на меня:

— Разве вы не знаете? Он покончил самоубийством.

— Не может быть! Когда?

— Двадцатого ноября...

— Почему? Он был болен?

— Совершенно здоров. Он просто давно это запланировал.

— Запланировал?

— Да, уже давно. Он говорил, что в 63 года уже не может быть полезным для дела. Больным, беспомощным стариком он тоже не хотел быть. Он говорил, что человек вправе распорядиться своей жизнью по собственному усмотрению.

— Он был женат?

— Нет.

— А дети?

— Детей у него никогда не было... Я его видел дня за два до самоубийства. Мы выпивали вместе. Он был, как всегда, весел и разговорчив.

— И многие знали, что он ... хочет так кончить?

— Несколько человек. Амедео Бертоло, Марианн Энкель из Женевы, еще кое-кто...

Я не мог успокоиться. Я разыскал Бертоло.

— Вы действительно знали о том, что Вега собирается покончить с собой?

— Да, он говорил нам об этом за год или больше.

— Может быть, он шутил?

— Нет, я его хорошо знал. Я понимал, что он не шутит.

... Вега давно готовился к смерти. Он перевел свой журнал в Италию. Он распродал вещи и книги. Он завещал свои деньги преемникам по редакции — на издание журнала. Я думаю теперь, что он мне все же не позвонил. Тогда, в конце октября, мой звонок застал его на пороге смерти. Какой смысл был ему встречаться с человеком, с которым он до того виделся лишь раз в жизни?!

Известие о его смерти потрясло меня. Увы, оно было не единственным печальным известием в том марте. Тот же русско-говорящий венгр как-то мельком, вскользь, сообщил о скоропостижной смерти еще одного человека: венгру он был полужнаком, а для меня был давний друг и коллега. Он внезапно скончался за две недели до конгресса в римском аэропорту: шел по коридору, вдруг остановился, побледнел — и рухнул навзничь...

Две эти смерти слились в моем сознании и окрасили своей тенью март, Венецию, мои размышления. Но цвета их были разные. Один из этих двоих людей умер в 48 лет, бодрый, жизнерадостный, совершенно не готовый к смерти; другой, тоже веселый и жизнелюбивый, ушел из жизни добровольно, как мог сделать только истинный поклонник Штирнера, который сам, не цепляясь за жизнь, решает положить ей конец, как бы посмеявшись над смертью.

И вдруг я понял, что в самоубийстве Луиса Мерсьера Веги была своя красота, свое величие. Конечно, Вега исповедовал ценности, которые существенно отличались от моих. Конечно, в пределах моей шкалы самоубийство было если и не преступлением, то, во всяком случае, свидетельством жизненного поражения, признанием слабости. И все же...

У Веги не было близких людей, не было детей, за которых он отвечал. Он был по существу абсолютно свободен, — как может быть свободен аскет, отказавшийся от всех мирских привязанностей. И самоубийство его следовало рассматривать только в системе его собственных ценностей, а не в той системе, которую он не разделял и не признавал.

Я пытался вспомнить, слышал ли я когда-нибудь о других подобных случаях самоубийства. Пожалуй, только самоубийство супругов Лафарг, окончивших свою жизнь одновременно и по взаимному соглашению, отдаленно напоминало спокойную

решимость Веги. Других имен я не припомнил — или просто не знал.

А жизнь шла своим чередом, и конгресс своими заседаниями подтверждал эту банальную и грустную истину. Все дни зал заседаний был полон, и странно было думать, что в тихой, “провинциальной” Венеции существует столько поклонников анархизма. Преобладала среди них молодежь, но были и люди среднего и даже пожилого возраста. Ничего такого, что отличало бы их от обычных студентов или интеллигентов среднего достатка, я не мог заметить: обычные, скромно одетые, но прилично выглядявшие молодые люди. Не видно было никаких хиппи, не чувствовалось — по крайней мере, внешне — никаких признаков развязной “сексуальной свободы”. В любом собрании израильской молодежи эти венецианские анархисты сошли бы за недо-трог и “чистюль”.

Забавно было, что и докладчики, все как один, тоже принадлежали к интеллигенции, несмотря на то, что анархизм декларирует свое принципиальное презрение к этой “прослойке”. Заседания шли, однако, без всякого почтения к чинам и заслугам. Докладчик мог быть университетским профессором и автором многих книг (а в большинстве случаев так оно и было), — все равно, его представляли только по фамилии. В счет шли не заслуги и звания, а лишь то, что скажет тот или иной человек. Позже мне довелось видеть анархистские журналы еще более “крайнего” направления: там под статьями указывались вообще одни лишь имена авторов: Мартин, Жорж... Это была уже крайняя анти-меритократия*, доведенная до принципиального абсурда.

Суть докладов постепенно пробивалась в сознание, оглушенное известием о смерти Веги, отодвигала эту смерть, приковывала внимание. Я окончательно очнулся на докладе Лючиано Пелликани, университетского профессора из Неаполя. Пелликани нельзя было назвать анархистом в точном смысле этого слова: активный член Итальянской социалистической партии, он выполняет в ней важные идеологические функции; тем не менее он приехал на конгресс, потому что разделяет ряд положений анархизма и даже именуется себя “правым анархистом”. Я знал, что незадолго до конгресса он опубликовал статью о взглядах Ба-

* Меритократия (от merit — заслуга достоинство) — власть, основанная на заслугах и званиях.

кунина на интеллигенцию как на пролетаризованную группу, целью которой является захват власти под видом защиты интересов пролетариата (это оказалось неожиданно близко к тому, что я писал в пятом номере "Континента", — различие состояло лишь в том, что я приписывал приоритет в формулировании такой концепции не Бакунину, а Махайскому).

Но теперь Пелликани говорил о другом, и, слушая его, я вспомнил, как в августе 1977 года, в Касселе, я присутствовал на докладе Руди Дучке, этого бывшего вожака мятежных студентов, и впервые тогда услышал от него мысль о том, что в СССР господствует так называемый "азиатский способ производства", который нельзя, в сущности, считать ни чисто капиталистическим, ни чисто социалистическим. Собственно, сама идея "азиатского" способа производства принадлежит позднему Марксу и после него развивалась ныне здравствующим Карлом Витфогелем; но в приложении к современному советскому обществу Дучке показался мне тогда первым, кто высказал эту мысль. Оказалось, однако, что я ошибался. Пелликани развивал те же взгляды, независимо от Дучке и раньше него.

Другим моим "открытием" были ... китайские анархисты! Китайцев я заметил в первые же минуты моего появления в Аула Манья. Выяснилось, что они из Гонконга. Позже один из них, Мок Чжу-ю (свой доклад на конгрессе он прочитал на прекрасном "оксфордском" английском языке) подарил мне тоненький анархистский журнал, издающийся там же, в Гонконге. Я с любопытством разглядывал загадочное название. Он перевел: "Минус 7". Я не понял. Он вежливо объяснил: журнал каждый год меняет название; в 1978 году он называется уже "Минус 6".

— Мы ведем отсчет от 1984 года назад, — сказал он. — От Орвелла*. Сколько лет осталось до катастрофы...

Политический нигилизм китайских анархистов был поразителен. Это были люди, которые разочаровались решительно во всем. Среди них были бывшие хунвэйбины, бежавшие из Китая после того, как стало ясно, что культурная революция, в которую они было поверили, была всего лишь политической махинацией Мао Цзэ-дуна. В своем докладе Мок Чжу-ю назвал Мао главным мандарином Китая.

* Имеется в виду роман Дж. Орвелла "1984", в котором изображается торжество коммунистической тирании в Западной Европе в 1984 году.

Вместе с журналом Мок подарил мне сборник, изданный в Гонконге, и это явилось третьим моим открытием: я узнал, что в Китае существует свой Самиздат. Он возник во время культурной революции и здравствует поныне. Одна из статей сборника рассказывала о китайской девушке, которая страстно углубилась в изучение Маркса и Ленина — с тем, чтобы разобраться в их учении. Кончилось тем, что она его отвергла. Она написала теоретическую работу, которую никто из ее друзей не согласился держать у себя дома. Впрочем, нашлась все же какая-то добрая душа, которая помогла ей сделать чемодан с двойным дном, чтобы прятать рукопись во время странствий по стране. Странно, — эта грустная история тем не менее вселила в меня какой-то непонятный оптимизм. Что ж, если даже в Китае, где тоталитаризм превзошел, казалось бы, все мыслимые пределы, возможно такое мужество, — кто знает: может быть, страшная орвелловская утопия все еще не неизбежна?..

Была и еще одна небезынересная деталь: во всем этом китайском самиздате чувствовалось сильное влияние русской культуры. И относились к ней китайские диссиденты с величайшим уважением.

Известно, что даже по отношению к нигилизму можно занимать нигилистическую позицию. Так и на анархистском конгрессе не обошлось без своей "анархической оппозиции". Ее представлял некий Эдуардо Коломбо — венесуэльский анархист, живущий в Париже и издающий там свой журнал "Черный фонарь". Поднявшись на трибуну, он страстно заговорил о том, что линия конгресса недостаточно заострена, а многие анархисты настроены примиренчески к существующему обществу. Главным врагом "принципиального" и "чистого" анархизма он считал, видимо, Пелликани, — так яростно он на него напал, объявляя его "чуждым анархизму".

Два дня подряд мы обедали под вечер в тихом и уютном ресторанчике недалеко от площади Сан-Марко. Поразительное доверие друг к другу продемонстрировали мне эти люди. В денежных делах они намеренно и полностью исключали самую идею отчетности, — видимо, считая, что она свидетельствует о каком-то недоверии. Чем-то эти люди напоминали героев Чернышевского, — но насколько же они были привлекательнее и симпатичнее тех!

Все эти переживания, размышления, встречи шли на фоне Венеции — наверное, самого красивого, самого загадочного города на

свете, который мне когда-либо доводилось видеть. Каждое утро, направляясь из гостиницы в дворец Аула Манья, я проходил улочками, где разворачивается действие романа Генри Джеймса "Буна-ти Асперио", и пытался угадать, в каком доме жили его герои. Но таинственных и похожих уголков было так много, что гадать было, пожалуй, безнадежно...

Я был единственным израильянином на конгрессе, и это одиночество усугублялось тем сдержанным и даже настороженным отношением к Израилю, которое я ощущал вокруг себя. Я понимал истоки этой настороженности. В мировом левом движении довольно влиятельны сейчас экстремисты из бывших израилья-тян, давно или недавно покинувшие страну и теперь отрицающие даже ее право на существование. Одно из таких имен — Акивы Ора, ныне живущего в Лондоне, — мелькнуло во время моего разговора с Дэвидом Манселем, делегатом конгресса из Англии. Я слышал произносимые с недоверием и разочарованием слова "кибуц", "израильский социализм". Впрочем, все это я слышал еще от Веги.

И все же сам факт моего присутствия на конгрессе опровергал распространенное среди "левых" мнение об отсутствии в Израиле политической и интеллектуальной свободы. И одно это могло компенсировать многое.

... Я покидал Венецию в солнечный, весенний, хотя и холодный день. Шок, в который меня повергла весть о самоубийстве Веги, прошел, как, к сожалению, проходит почти все в жизни. И только в самолете, перебирая подаренный мне комплект "Интеррогасьон", я вспомнил — и задумался. Чем же была для меня эта короткая и почти случайная встреча с Вегой? Что открыл мне Венецианский конгресс? Что я могу взять из системы ценностей анархизма?

Идею перманентного бунта, как таковую? Нет, жизнь давно излечила меня от этого. Политический нигилизм? Но невозможно позволить себе такую роскошь в стране, окруженной смертельными врагами. И тут, при мысли об Израиле, мне вспомнился Мордехай из книги Эсфири — этот первый в истории "анархист", отказавшийся преклониться перед властью и ее носителем. Не есть ли анархизм в правильном — или, по крайней мере, доступном мне — понимании отказом от признания абсолютного характера власти, если эта власть пытается провозгласить себя как принцип, как некое высшее мерило, а не как нечто служебное и под-

чиненное, необходимое лишь для облегчения человеческой жизни?

Если понимать анархизм, как стремление подчинить общественную жизнь неким высшим метафизическим нормам, а не относительно гражданским установлениям, — тогда Израиль оказывается колыбелью анархистской идеи.

Я подумал, что в подобном понимании жизни кроется для человека залог внутренней душевной стабильности по отношению к политической борьбе, всегда разделяющей любую страну. В жизни каждого общества наличествует нечто большее, более важное, чем эта борьба или победа той или иной партии. Я подумал, что нельзя связывать свое отношение к своей стране только с ее политической жизнью, определять себя только по отношению к партиям и межпартийной борьбе. Гражданская позиция человека должна быть инвариантной по отношению к преходящим политическим спорам. Быть может, это и есть тот минимум (или максимум?) политического анархизма, какой можно себе позволить в наше время. Но, может быть, кто-то видит и иные пути?..

Все это странным образом перепутывалось в моей памяти с обрывочными мыслями о самом Веге. Какой-то образ медленно выкристаллизовывался в моем сознании, и вдруг я увидел чилийского анархиста в образе булгаковского Мастера, уносящегося в царство Покоя. Обретет ли он это царство? Не поставят ли ему в вину его своевольное самоубийство? И мне подумалось, что если ему придется защищаться, то хорошо бы ему сказать в свое оправдание, что его отрицание власти на земле было чище, чем любое ее обожествление. Но догадается ли он сказать это в свою защиту? Не нагрубит ли — он, привыкший отрицать не только земную, но и небесную власть? Ведь рядом с ним не будет Маргариты...

М. Агурский — кибернетик, в настоящее время — советолог; публицист и журналист; его статьи на общественно-политические и религиозно-философские темы широко публиковались в русском и еврейском Самиздате и в западной прессе (см. также сборник "Из-под глыб"). В Израиле с 1974 г., работает в Иерусалимском университете, живет в Иерусалиме.

ВЧЕРАШНИЕ СОВРЕМЕННОКИ

ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОВИД КНУТ!

I

Я узнал о нем случайно, как будто нехотя. Прочел где-то стихотворение, совершенно меня не тронувшее: какие-то восклицания о Палестине, похоже на Фруга; подумал, что, кажется, о Кнуте упоминает Эренбург в своих мемуарах: встретил Довида Кнута в каком-то парижском кафе, Довид Кнут был с женой (дочерью композитора Скрябина; и потом еще как-то слышал: “Довид Кнут, который был женат на дочери композитора Скрябина”), Довид Кнут был грустен и что-то грустное говорил. Что он говорил, к чему Эренбург его вспомнил, — это в памяти не удержалось.

Имя его — удивило, из-за имени и запомнил. Не “Давид”, а — “Довид”! Давид звучало бы несколько на скандинавский манер, такой модный в начале века — “Давид Кнут”; либо “Кнут Давид”, что тоже неплохо. Тут тебе и Кнут Гамсун, и мальчик Кнут из сказок Топелиуса, и популярная мелодия из Грига.

Но он — Довид Кнут. Тот самый Довид, который произошел из местечковых балагул, потому и — Кнут. Просто и ненавязчиво: да, еврей, да, предки жили в местечке, умели обращаться с кнутом, отсюда и прозвище. И, конечно, из России. Где еще так произносили это имя — Довид?

Так вот, оказывается, этот потомок местечковых балагул, женатый на дочери Скрябина, почти неизвестный в России, был русским поэтом. А я тогда, прочтя о нем у Эренбурга, и представить себе не мог, что живший в Париже Довид Кнут писал по-русски; это мог быть еврейский поэт-эмигрант, писавший на идиш. (Помните, как огорчалась Марина Цветаева, что ей приходится переводить стихи белорусских евреев.)

За пределами России выяснилось, что Довид Кнут — поэт, известный на “русском Западе”. Мой здешний знакомый, израиль-

тянин из "старых русских", произнес однажды стихотворную строчку: "Да, я повинен в непомерном счастье". И посетовал: "Как же вы, не знаете Довида Кнута!"

х х х

Книжки Довида Кнута, которые я обнаружил в библиотеке Иерусалимского университета, даже не разрезаны до конца, как будто его никто до конца не дочитал. А книжки очень красивые: изданы просто и щедро, как умели издавать поэтические книги в Париже до войны — изящная обложка, четкий, ясный шрифт, хорошая бумага.

Всего в университетской библиотеке я нашел пять книжек Довида Кнута: четыре, изданные до войны, небольшие, тонкие сборнички, и большой том 1949 года.

В антологии Доната несколько строчек биографических данных о Кнута. Он родился в 1900 году в России. Покинул Россию в раннем возрасте. Жил в Париже. Руководил еврейским движением сопротивления во Франции. Его жена была схвачена немцами, когда переводила группу евреев в Швейцарию, и расстреляна. Перечислены эти пять книжек и цикл "Прародина". Умер в Израиле в 1955 году.

Значит, когда вышел его первый сборник "Моих тысячелетий", Кнута было двадцать пять лет. Родился он в Кишиневе, где "стерег от смуглых молдаван заплесневелые рогаги и тарань"; отец содержал лавку — "и дым, и вонь отцовской бакалейки — айва, халва, чеснок и папушой".

Где же он выучил русский язык, если покинул Россию в раннем возрасте, как сказано у Доната? И так выучил язык, так знал его, что писал стихи по-русски! Возможно, русское культурное окружение в Париже? Как случилось, что в Париже юношу потянуло в русскую среду, а не в естественную, во французскую? Что заставило его стать русским поэтом? Где — в Кишиневе или в Париже — околдовало его русское слово? Подробной биографии Кнута я не нашел. Статей о нем тоже как будто нет. Пытаюсь представить себе его жизнь, читая его стихи, перелистывая его книжки.

"Вторая книга стихов" выходит в 1928 году. Он не торопился издаваться. Наверно, если поискать, можно найти его стихи в периодической печати. А может быть, и нет, потому что были и

такие времена, когда поэту важно и необходимо было писать, ну, а печататься — если получится очень хорошо, так, что не стыдно подписаться своим единственным и неповторимым именем — Довид Кнут.

“Парижские ночи” выходят через четыре года. Печатается Кнут довольно ритмично. Стихи этого сборника значимо отличаются от предыдущих самым главным — мироощущением поэта. Но он печатается — продолжает дело, которое считает своим.

В 1938 году выходит “Насущная любовь”. К этому же времени относится начало цикла “Прародина”. Кнут побывал (впервые ли?) в Палестине. Что заставило парижского поэта, пишущего по-русски, отправиться в Палестину? Вероятно, то, что побудило его не менять точное имя “Довид” на распространенное “Давид”.

Потом была Война.

Последняя книга Довида Кнута “Избранные стихи” вышла в 1949 году. В твердом коленкоровом переплете; не переплет, а крышки. На титуле нарисован еврейский субботний подсвечник, рядом с подсвечником — маски с толстыми вывороченными губами, слепыми пятнами глазниц. Книжка иллюстрирована гравюрами Якова Шапиро. На шмуц-титуле надписано типографским шрифтом “Экземпляр Израиля Рафаиловича Ефройкина”, его же экслибрис — молодой человек еврейского происхождения задумался над книгой. Кто такой И. Р. Ефройкин?

Страниц в ней всего 190, а выглядит она томом на 500—600 страниц; каждый лист толст и плотен; когда перелистываешь, листы гремят, как жестяные; на каждом листе — водяные знаки.

В конце книги, где выходные данные, — автограф автора: “Довид Кнут, Париж, май 49”, старым русским почерком, очень изящная скоропись, круглые и длинные линии; нынче такой русский почерк редко где найдешь.

Автограф — под выходными данными. А сами выходные данные... Рассказать про них не расскажешь, я лучше спишу.

книга и з б р а н н ы е с т и х и д о в и д а к н у т а
отпечатана в imprimerie moderne de la presse в париже
в мае тысяча девятьсот сорок девятого года
в количестве двухсот экземпляров
четыре оригинальные литографии
исполненные на камне я к о в о м ш а п и р о
оттиснуты на ручном прессе
гастоном дорфинантом в париже

из двухсот экземпляров составляющих первое издание
18 именных
подписанных автором и художником
отпечатаны на бумаге elin pur fil johannot
из них
один экземпляр
содержит оригиналы рисунков шапиро
и два экземпляра
содержат каждый
по тетради из десяти рукописных листов книги
70 экземпляров нумерованных от 1 до 70
подписанных автором
отпечатаны на полутряпичной бумаге Lebeau

100 экземпляров отпечатаны на бумаге edita moyen-age
12 экземпляров
предназначены для сотрудников и мечены литерами от А до М

корректуру правил александр гингер

экземпляр отпечатанный на бумаге velin pur fil johannot

Вот таким вот образом! Книга-сувенир. Книга-надгробный памятник. И надпись похожа на надгробную. А на предыдущей странице таким же "некропольским" размером, "эпитафийным" белым стихом перечислены все сборники Довида Кнута — по-служной список.

Издана книжка в 1949 году, а в 1955 году Кнут умер. Уезжал из Парижа навсегда, попрощался этой книгой с друзьями, приятелями, сотрудниками. Скорее всего, книга издана иждивением автора и его друзей; собрали по подписке на "надгробный камень".

Русско-еврейско-парижский поэт Довид Кнут умер.

II

Там, в Кишиневе, отец вздыхал: "Трудно быть евреем...", а сын гордо восклицал: "Я, Довид-Ари бен Меир, кто отроком пел гневному Саулу, кто дал Израиля мятежным сыновьям шести-конечный щит". Отец вздыхал: "Мы носим пейсы, чтобы шейгец знал, в кого бросить камень...", а сын дерзко грозил: "я... при́шел в ваш стан учиться вашим песням, но вскоре вам скажу мою".

И хотя отец в пейзажах вспоминал: “Мы все стояли у Синая”, он помнил больше про насущные дела своего семейства, про то, что надо выдать замуж дочерей, готовиться к базарному дню, умаслить на всякий случай городского, а сын... Он помнил все: “пустыни Ханаана, пески и финики горячей Палестины,... и страшный час: обвал и треск, и грохоты Синая,... скорбь вавилонских рек и скрип телег, и дребезги кинор”. Мне не приходилось читать ни у одного поэта так точно выраженную догадку о галуте: “я,... тысячелетия бродившее вино, остановился на песке путей, чтобы сказать вам, братья, слово про тяжкий груз любви и тоски — блаженный груз моих тысячелетий”.

О бремени человеческом много и часто говорят: бремя белого человека, бремя страстей человеческих. А вот это о бремени еврея — без вздохов, без причитаний — “блаженный груз моих тысячелетий”: жить и помнить. Народ — свидетель Божий; оно блаженно, это бремя. Ах, он не случайно “Довид”, этот Довид Кнут, — в этом имени закодирована и память о его ближайших предках-хасидах, которые открыли однажды для себя, что быть евреем — это не только идти на костер “аль кидуш а-Шем”, но и изумительная радость есть в этом — быть евреем.

Этот мальчик из вонючей “отцовской бакалейки” вырвался вдруг на волю и запел голосом такой же силы и свободы, каким пел автор “Песни песней”: “Сарра, мой мед, отдыханья песков Ханаана тяжелый и теплый, Агарью под ласкою бьешься, испускающая сладкие вопли в недвижный стеклянный вечер и звенящий песок пустынь. Раскинув горячие ноги, разверзши последнюю тайну, Агарью-язычницей стонешь под грузом счастливым меня”. Да, у этого еврейского мальчика сексуальные переживания, сексуальный напор и сила преобразуются в образы, совсем не похожие на реминисценции из Танаха... Или — очень похожие?

И свое еврейство, и свой поэтический удел он воспринимает вместе; одно из другого, одно с другим: “Господи! не дышу. Не стою. Не смею — в небесном ропоте, в райском топоте синет — реет — Слово. Неизъяснимое. Бесподобное. Неповторное”. Это и есть груз его тысячелетий — тысячелетний блаженный груз еврея и тысячелетний — и тоже блаженный — груз поэта. Ему ли не гордиться собой: два титула, два великих звания — еврей и поэт! Вот его избранничество!

Выяснив это, мальчик вдруг пугается: что же из этого будет?! Он жаждет гореть, он — “Божья свеча, один — в степном урага-

не". И жаждет знать: зачем? "Зачем Ты меня возжег?" Что делать ему на земле? А в конце — смерть?

Нет! "Я не умру", — кричит он. — "Не может быть, чтоб — без меня — земля, катясь в мирах, цвела и отцветала,... чтоб снег кружился, а меня не стало!" Столько дел, столько дел! "Мне надо этой радости незрячей! Мне с милою гулять — плечом к плечу! Мне надо солнце словом обозначить!"

Эта тема — без меня не может быть жизни — повторяется в его стихах. Он счастлив, что его "тело, бедное и грубое", посолено "веселою душой", но он все время думает о смерти. Это естественно: мальчики много о ней думают. И он еврей — ему ли о смерти не думать? Но он поэт с веселою душой и не может поверить и "понять, что будет и без нас вертеться земной — убогий — драгоценный ком".

Где же еврейский порыв к небу, к холодным звездам, где еврейское лицо, задранное узкой местечковой бородкой кверху? Довид Кнут — язычник: "кусочек земного хлеба и пыль земли, невзрачной и рябой, дорожке нам сияющего неба, пустыни серебристо-голубой". Значит, язычником был автор "Песни песней", ни разу не поднявший глаза вверх, к небу? Или это все тот же груз тысячелетий? Блаженный груз знания о небе и земле?

И это — свободный человек, свободный еврей. От чего же свобода? Не от "чего". Свобода — есть качество человеческой души; качество, без которого человеческая душа не равна себе.

И тогда, если душа свободна, человек счастлив, как счастлив Довид Кнут. Он упивается жизнью, он счастлив жить, он благодарен Богу за это счастье, за эту радость — жить, как будто он был тяжело болен, и умирал, и выжил, и вот — счастлив! Что выжил, что видит, слышит, говорит — живет!

Может быть, и была в его биографии тяжелая болезнь, а может быть, и не была. А кто из нас знает, больны мы или здоровы; и кто знает, когда и от чего умрет?

"Лежу на грубом берегу, соленым воздухом согретый, и жизнь любовно берегу, дар mnogой радости и света. И сердце солнцем прокалив, его очистив от желаний, я слышу царственный прилив невозмутимого сиянья. Так, овеваемый волной в веках испытанного счастья, я принимаю труд и зной, и предвкушаю хлеб земной как набожное сопричастье вселенной, трудной и благой".

Очень хорошо! Но — и не более того? Ну что вы, что вы! Он мудрец, Довид Кнут!

“Пусть жизнь становится мутней и непролазней, пусть трудно с человеком говорить, пусть все бесплодной труд и несуразней, благодарю Тебя за право: жить. Пусть шаткие и гибельные годы качают нас в туманах и дыму, как утлые речные пароходы, плывя в океаническую тьму, — воистину, ничтожна эта плата: слеза и вздох — за степь, за песнь вдали, за милый голос, за глаза собрата, за воздух жизнерадостной земли”.

Это не вульгарно понятый эпикуреизм. Это возвращение к себе, к тому времени, когда стремление ввысь и желание жить на земле существовали в гармоничном соседстве. Неужели было такое время? Было—не было, но нам-то всегда хочется в него вернуться.

Почему символ галутного еврея — некое худое, бледное, дрожащее, запуганное существо? Мы бы не выжили, если б были только тощими и дрожащими. Да где же они — еврейские богатыри? Почему-то мне: кажется, что русско-еврейские писатели старались (может быть, несознательно?) создать в литературе, разъясняющей еврея неевреям, такой образ своего соплеменника, который жалкостью своей вызывал бы к себе сочувствие. Таким “литературный” еврей и остался в восприятии неевреев и евреев, воспитанных на мысли, что литература, особенно русская, “правдиво отображает действительность”.

Вот вам юноша из провинциального Кишинева: “В дремучей скуке жизни бесполезной блюсти закон и ежедневный блуд, работать, есть и спать почти над бездной — вот праведный и мужественный труд. Жить полной волей, страстной и упрямой, в образе оловянных дней. Ходить упруго, весело и прямо навстречу верной гибели своей. Нет подвига достойнее и выше: так жить, чтоб ничего не отдавать ни за бессмертье, что порой предслышим, ни за прошедших жизней благодать”. Стихотворение называется “Подвиг”. Вот вам и запуганное, тщедушное существо!

Или еще, из двух рядом расположенных стихов Кнута: “я в центре возникающего мира”; “моим хотеньем, чувственным и грубым, рожден пленительный и сложный мир” и — “я был пылинкою в игре миросмешений, я еле был — в полунебытии...” Что это вам напоминает, любезный русскоязычный читатель? Да, вам это напоминает Державина: “я — царь, я — раб, я — червь, я — Бог”. Державин подражал Давиду-псалмопевцу, а у Довида Кнута это если не в крови, то в памяти несомненно. Он на этом,

знаете ли, вскормлен был в своем Кишиневе. Помните: “я, Довид-Ари бен Меир...”? Вот так вот.

И названия его стихов – Рождение мира, Борьба, Имя, Ковчег, Смирение, Братство – совсем не дань традиционной поэтической тематике. Довид Кнут – еврей, а космизм – в основе еврейского мироощущения. Доказательство последнему – в Танахе.

Итак, поэтическая идея Довида Кнута троична: мое еврейство; я – поэт; экзистенция еврея и поэта – бремя избранничества. С этим он пришел в русскую поэзию. Об этом он хотел сказать по-русски.

Как случилось, что он стал русским поэтом? И тогда, когда русская поэзия была на мощном свободном взлете, так жестоко прерванном? Первые сборники Кнута появляются в те годы, когда русские поэты покидали Россию, до мучительной боли убедившись, что “мировая революция стала мировой грудной жабой”. Они увезли с собой трогательно нежную любовь к поэту и к поэзии. Они видели залы, битком набитые пришедшими послушать стихи. Это было в революционные и послереволюционные годы; может быть, было потому, что в роковые неустойчивые времена люди ищут у поэтов то “голубиное” слово, которое укажет путь, утешит и обнадежит. Такой любви и страсти к стихам русские поэты не нашли на Западе: Запад перенес мировую войну и начал устраиваться, чем и был занят; Россия перенесла войну, революцию, гражданскую войну, об устройстве по-человечески удобной жизни и речи не было, Россия не понимала – что же будет дальше – и хотела хоть что-нибудь об этом услышать. В России ценили стихи и умели ценить волшебную работу поэта.

Несомненно, Кнут был близок эмигрантам своей любовью к русскому поэтическому слову. Он вошел в их среду, и, очень может быть, заимствовал у них ощущение удрученности жизнью и несбыточности надежд. Неприятие Города – тема, появляющаяся у Кнута в сборнике “Парижские ночи” – характерна и для русской поэзии и для западной (например, Бодлер и многие другие). Вероятно, не сбилось что-то и у самого Кнута, такое выясняется после тридцати лет. Настроения совпали. И в большинстве стихов последующих сборников он говорит об этом.

“В сердце – грубых обид неостывшая накипь”; “тоска по той невозможности, что была обещана мне”; “земля лежит в снегу, над ней воздели сучья деревья нищие”; “среди нещедрых рук и торопливых ног”; “Отойди от меня, человек, отойди –

я зеваю. Этой страшной ценой я за жалкую мудрость плачу. Видишь руку мою, что лежит на столе, как живая, разжимаю кулак и уже ничего не хочу. Отойди от меня, человек. Не пытайся помочь. Надо мною густеет бесплодная тяжкая ночь”.

В сборнике “Вторая книга стихов” есть стихи под названием “Как рассказать”: “Как рассказать, что той просторной ночью шел в пустоте — земной катился шар... кричала в ночь невидимая птица, и шла земля покорно, чуть звеня... И мне почудилось: ей плыть меж звезд, кружиться, чтоб в свет и тьму нести-кружить меня”. А в “Парижских ночах” есть стих “О чем сказать”: “О чем сказать: о сини безвоздушной, о скуке звезд, дрожащих надо мной, о песне ли мятежной, но тщедушной, о песне, усмирненной тишиной,... иль обо мне, бессонном подлежащем, к которому сказуемого нет?” Такое вот с ним произошло...

И еще вот: посмотрим названия его стихов в первых сборниках и в последующих. Я, Довид-Ари бен Меир, Мой час, Апофеоз, Я не умру, Благодарность, Предчувствие, Подвиг, Рождение мира, Борьба, За милый голос, Ковчег, Как рассказать, Братство, Испытание — это сначала. А потом — Ночь, Дождь, В пустыне, Без исхода, О чем сказать, Зима, Вечер, Холодно, Отойди, Голод, Нищета, Противоречия, Молчи, Пустота, Ничего не поймешь, Измена, Разлука, Одиночество...

Я совсем не хочу — упаси Боже! — сказать, что хорошего еврея испортила русская эмиграция. Наоборот, стихи Довида Кнута приобретают терпкость и пряность страданий, они делаются пронзительнее, тоньше, прозрачней, поэтичней: “в морозном сне, голубовато-снежном, в старинном танце, медленном и нежном...”; “Мы постепенно стали отличать поддельные слова от настоящих. Мы разучились плакать и кричать, мы полюбили гибнущих и падших. И стало все пронзительней, трудней, и стало все суровее и проще, слова — бедней, молчание — нежней”; “ничего не поймешь, ни о чем не расскажешь, все пройдет, пропадет без следа. Но вернешься домой, но вернешься — и ляжешь, и поймешь: не забыть никогда. Я не помню, о чем мы с тобой говорили, да и слов не ищю — не найду. Ни о чем не расскажешь... Пахло липой и пылью в бесприютном вокзальном саду”.

Мне кажется, что эту пронзительность и терпкость стихи Кнута обрели после того, как он встретился и сошелся с русскими поэтами — эмигрантами. И хотя в поэтике Кнута по-прежнему встречаются эпитеты “веселый” и “счастливый”, и про счастье он пи-

шет тоже, появляются они уже в другом контексте: “веселый ветер бедствий”, “дом неузнанного счастья”, “автомобиль счастливым перевернулся”; “черное безвыходное счастье”; “счастье, похожее на страх”.

Что вам сказать?.. Можно с восторгом предположить, что поэзия Кнута складывается с поэзией его современников и предшественников, кричавших о безысходности человеческого существования... Да я не уверен, что кричать об этом такая уж заслуга. Кроме того, вливаться в общий хор — не поэтическое дело, а Кнут был поэт. И то, что он видел, то, что чувствовал, он выразил по-своему: увидел своеобразно и сказал об этом не банально. И парижская литературная среда — в том числе и русские поэты-эмигранты — насущно необходима была ему, как всякому литератору. И не темы для своих стихов заимствовал Кнут, не поэтику менял под чьим-либо влиянием. Все это изменилось, мне кажется, в связи с какими-то внешними событиями его жизни. Может быть, болезнь — он очень много говорит о радости видеть, и в стихах часто повторяется “зрак”, “глаза”, “зрачок”, “зрячий”. Он много говорит об измене, об одиночестве, и не только поэтическом. Что-то произошло.

Он все хочет куда-то бежать, как-то изменить свою жизнь. Тоскует по себе, прежнему: “я пробую еще писать стихи”, а пишет “о жизни острожной, о смерти безбожной”, “он пишет всем — которым — этим — тем”.

“Раскололось наше счастье, размолось, томный ангел мой с лучистой головой, и темнеет самый светлый в мире голос, скорбно-чувственный горячий голос твой”.

Тут в конце стоит точка, а как хочется поставить восклицательный знак, а все равно знаки препинания никак не могут выразить бездну этого горя: “ра-а-сс-ка-ло-лассь на-аше сча-сс-тье, ра-а-з-ма-ло-ла-ссь” — безнадежность этого рыдания.

Очень похоже на “жестокий” русский романс, но в романсе — сколько в нем поэзии и искреннего, неспрятанного чувства!

Говорят, что в тридцатые годы Кнут был близок к Жаботинскому; думаю, что в идеологии Бейтара он обнаружил много романтической поэзии; был на “ахшаре” в Чивита-Веккиа. Тогда, наверно, и побывал впервые в Палестине.

Цикл “Прародина” печатался в русских заграничных изданиях с 1938 по 1948 год. Стихи эти описательны, образы и тропы традиционны... Есть в них надежда: “нет, не все тут окажется

ложью"; а рядом с "тысячелетний груз" в строчку поставлено — "и дребедень бессильной веры, непосильной злобы...". Все это вне главного, вне сути — отгорожено от сути: "и сквозь стеклянный неподвижный зной мне слышен Бог, склонившийся над Цфатом".

— Я боюсь за вас. Мне хочется оградить, защитить вас от этого страшного мира... — сказал однажды Блок М. Кузмину. Это было в России, в двадцатые годы. Во все времена хочется ограждать, защищать поэтов. Утверждают, правда, что поэт всегда должен находиться в гуще жизни. Если уж он должен, то как бы сделать, чтобы эта "гуща" поэтов не ломала?

В Израиль Кнут приехал умирать. Он расстался с друзьями, подарив им книгу — надгробный камень, и уехал.

Что делал Кнут в последние шесть лет жизни? Наверно, жил где-нибудь в Рамат-Гане, там и по сей день почему-то много русских евреев.

Тосковал по России? По Парижу? Россию он помнил очень интересно: писавший по-русски, он посвятил ей только "Кишиневские похороны", эти стихи заканчиваются так: "...особенный, еврейско-русский воздух... блажен, кто им когда-либо дышал". И еще один раз где-то упоминает Россию.

А в Париже остались друзья; Париж, Франция населены его воспоминаниями, прошлым; там погибла жена; там он боролся (хотя он совсем не борец; но сопротивление — тоже борьба), писал стихи. В Париже остался поэт Довид Кнут. А в Израиль приехал новый репатриант — однофамилец, что ли?

И приехал он сюда — доживать, потому что жизнь была прожита. Свое он отпел, отговорил; сказал, что мог и что хотел — больше ничего нет. Так случилось, что он должен умереть на шесть лет позже того, как на могиле поэта Довида Кнута был поставлен надгробный камень.

И если даже он еще что-то написал — найдется что-нибудь в его архивах? И есть ли архив? — нового он ничего не сказал, потому что — так уж получилось! — он все сказал до поселения в Израиле.

И ходил по Рамат-Гану худой старик (он умер 55 лет, а поселился в Израиле — ему было 49; но мы с вами видим его стариком), гулял по тенистым улицам, иногда улыбался. Заходил в лавочку за провизией, болтал, грустно улыбаясь, на идиш (иврита, небось, не знал), а с бóльшим удовольствием по-русски или

по-французски. Бродил темными улицами и что-то бормотал себе под нос.

И ничем-то не был он похож на поэта, хотя, может быть, был по-парижски элегантен. А так — ничем не отличался от окружающих его людей. Ничем. Он растворился. Стал невидим. Он вошел в свой народ и исчез в нем.

Может быть, он пытался писать стихи, пытался блаженствовать, лежа на солнце? Возможно, и женщина была рядом?..

Потом он огляделся, вздохнул — и умер.

III

Я никакой пейзажист, но мне кажется, приметы этого погожего иерусалимского дня здесь необходимы. Воздух был стеклянный, как хорошо вымытое и тщательно протертое оконное стекло; давно не было хамсина, и город отдыхал. По-апрельски буйно зеленела трава на просторном дворе университетского кампуса. Но хотя люди двигались спортивно-легко и улыбались охотно, казалось, радость в их сердцах быстро проходила расстояние, отведенное в человеческом сердце для радости и счастья, и стремительно приближалась к той границе, за которой начинаются печаль и грусть.

Я взял в университетской библиотеке две книжки. Андрей Седых — “Далекие, близкие” и “Старый Париж”. Первая книжка — мемуары, вторая — что-то вроде путеводителя по Парижу. Она написана в легкой журналистской, “зарисовочной” манере: описание улиц и зданий, попытка беллетристически воспроизвести события, здесь происходившие. Заметно, что книжка написана русским эмигрантом: автору особенно интересны места, связанные с революцией. Мне эта книжка оказалась полезной тем, что она написана в двадцатых годах, и в ней встречаются описания Парижа двадцатых годов. Это время, когда начинал Кнут, и место, где он долго жил.

Андрей Седых рассказывает, что по Парижу тогда можно было ходить ровным, спокойным шагом, любясь парижскими голубыми сумерками. “Осенний скучный день... печально ложится на лица молящихся” в маленькой старинной церкви Сен-Медар, которая “прилепилась к соседним домам в нескольких шагах от русской столовки. Группы русских часто приходят сюда”. К центру Латинского квартала можно пробраться по узенькой рю де ла

Монтань Сент-Женевьев... Внизу, в самом конце улицы Суффлто виднеются зеленеющие деревья Люксембургского сада... Веселой гурьбой спускаются студенты к бульвару Сен-Мишель... "Исчезают маленькие, узкие улочки... Иногда, по утрам, по улице Висконти проходит нищий музыкант, играющий на флейте старинный, давно всеми забытый мотив... Начаты работы по уничтожению рю де л'Отель де Вилль — остатка средневекового еврейского гетто... В октябре воды Сены темнеют, становятся холодными и прозрачными; вдоль пустых набережных, на каменных плитах, подгоняемые ветром, шуршат золотые сухие листья... сюда приходят старые букинисты, — долгими часами простаивают у ржавых ящиков, наполненных книгами в кожаных переплетах, медленно перелистывают страницы... На закате над городом поднимается легкий голубой туман и стелется вдоль маленьких узких улочек, ведущих к Сене. От домов тянет сыростью: дождь шел всю ночь. В темноте на Ке Конти кто-то зажигает газовые фонари; и протягивается алмазное ожерелье вдоль пустых гранитных набережных Сены".

Говорят, что если беременная женщина живет среди красоты, смотрит на прекрасные картины, часто любуется очаровательными пейзажами, то и ребенок у нее рождается красивый. Довид Кнут жил в терпком, как запах осени, Париже двадцатых годов; его приятелями были русские эмигранты, горечь их воспоминаний о России передавалась ему, — не отсюда ли горький и терпкий привкус его поздних стихов?

Читая другую книгу Андрея Седых, я смог узнать и про "русский" Париж. Вот имена в произвольном перечислении: Куприн, Алданов, Рахманинов, Бальмонт, Саша Черный, Тэффи, Бурцев, Ремизов, Милюков, Бунин, Сутин, Шагал, Аронсон, Поплавский, Эренбург, Евреинов, Цветаева, Зайцев, Адамович, Ходасевич, Сирин-Набоков...

Для нас, большинства читателей советских литературоведческих изысков, литературная и художественная жизнь дореволюционной интеллигенции закончилась к двадцатым годам: нам объясняли, что в эмиграции писатели разучивались писать, либо с огромным трудом исхитрялись сочинять незначительные произведения.

Несомненно, катаклизм — переживание нелегкое, но какую замечательную русскую литературу Зарубежья мы обнаружили! Сколько интересных книг и имен, известных и неизвестных!

А Бальмонт писал: “зарубежные русские или потопли в своей беде или занимаются политическим переливанием из пустого в порожнее, ...современные французы плоски, неинтересны, душевно бессодержательны”. Любой эмигрант, от древних и до нынешних, мог бы так написать — эмиграция есть явление вневременное и вненациональное.

Странные — и закономерные — события случались там: на гроб Шаляпина высыпали пригоршню русской земли, которую Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак) взял на русской стороне, когда переходил границу в Латгалии...

В последней главе мемуаров рассказывается о Довиде Кнуте. Каков он был, когда появился в “Хамелеоне” — кабачке на углу Кампань Премьер, “где за пиво брали всего несколько су и где можно было петь, танцевать, устраивать литературные вечера и чувствовать себя как дома?” Юноша с лицом оливкового цвета, с черными, как смоль, выщипанными волосами — настоящий цыганенок. А мы бы сказали — марокканский еврей.

С ним была “смуглая красавица с библейским лицом” — Сарра его стихов. И шли они втроем через “спящий, всегда немного загадочный ночной Париж, любовались гирляндами уличных фонарей”.

Оказывается, он часто печатался в русской прессе: “о стихах его было написано немало хвалебных рецензий”. Бедствовал, как мы и догадывались: “с утра до вечера развозил на трипортере, трехколесном велосипеде, какие-то товары и этим зарабатывал на пропитание. Потом стало трудно, не хватило сил, и он поступил в мастерскую, красил шелковые шарфы-пушуары”.

Андрей Седых рассказывает о Кнуте как об одном из послеволюционных эмигрантов и нигде не упоминает о том, когда Кнут покинул Россию. Если сведения Доната неверны и Кнут эмигрировал после революции, понятно, что он к семнадцати—двадцати годам мог научиться русскому языку и приобщиться к русскому поэтическому слову. Тогда почему он не оказался в компании Светлова, Голодного и других комсомольских поэтов еврейского происхождения? Видно, судьба его хранила: он прожил человеческую и поэтическую жизнь без кошмарного светловского вопроса: “мы уже пьем, как “они”, — чего же “они” еще от нас хотят?!”

“Последней любовью его была Ариадна Скрябина, дочь композитора, — молоденькая, хрупкая, экзальтированная женщина,

память о которой нужно бережно хранить она отдала жизнь за други своя... Ариадна не знала полумер, не умела останавливаться на полпути. Она полюбила Довида Кнута, полюбила евреев и сама перешла в еврейство. Как все прозелиты, в своей новой вере она была необычайно страстна, порой даже нетерпима. Однажды Кнут пришел с ней в редакцию "Последних новостей". Кто-то в шутку рассказал еврейский анекдот. Как разволновалась Ариадна! Слезы брызнули из ее глаз. Мы с Довидом долго старались ее успокоить, а она все не могла простить нам этот еврейский анекдот... Несколько лет спустя, во время германской оккупации, она пошла с мужем в Резистанс, где ей поручили переводить группы евреев в Швейцарию. Довид Кнут благополучно перевел свою группу. Ариадна попала в засаду, была схвачена милиционерами и на месте расстреляна".

В последний раз Андрей Седых увиделся с Кнутом в 1949 году: "Встречались несколько раз. Говорили об Ариадне, о страшных годах. Кнут принес свою новую книгу "Избранные стихи", в которой собрал все лучшее, что написал, словно предчувствовал, что это будет последняя его книга, прощание с жизнью".

Довид Кнут уезжал в Израиль. Он прощался с Парижем, несомненно, с грустью: Париж был любимым городом; и если уж Куприн говорил: "Уеду, и вот, когда-нибудь, в Москве, ночью, проснусь и вспомню этот бульвар, эти каштаны, любимый и проклятый Париж, и так заносит душа от тоски по этому городу!", — то старому парижанину Кнуту Париж был куда как ближе, родней, понятней. Но к грусти прибавилось удивление: "мы... с удивлением признались друг другу, что Париж стал чужим".

С предчувствием скорого конца, с ощущением завершеного пути, с грустным удивлением: родное, понятное и близкое стало чужим! — покидал Довид Кнут Европу, Францию, Париж...

С ним была женщина; "совсем молоденькая женщина, почти подросток, с бледным прозрачным лицом". Мы могли бы догадаться, что он "был из тех людей, которые абсолютно не выносят одиночества и страшатся безлюбия". В сущности, он остался таким же, каким был в молодости. И — "он очень торопился жить".

Говорили мне, что живут в Израиле родственники Довида Кнута. Они могут, наверно, рассказать подробности того, как "Кнут работал для театра "Габима", переводил, пытался писать на новом для него языке". Поведают мне, что "жил он в привычной нужде,

да другой жизни не знал и не хотел”. Если он не знал другой жизни, без привычной нужды, как можно знать, — хотел ли он ее?

Спотыкаясь о сосновые корневища, он спускался с песчаного пригорка по желтому откосу. Он улыбается мне, тебе, соснам, дню, всем нам в себе. Он полон грусти — беспечальной, беспечной грусти. Он мудро банален и очаровательно прост. Здравствуйте, Довид Кнут!

”Возвращается ветер на круги своя, подбирает листок эвкалипта”...

ДОВИД КНУТ

НИЧЕГО НЕ ПОЙМЕШЬ

Ничего не поймешь, ни о чем не расскажешь,
Все пройдет, пропадет без следа.
Но вернешься домой, но вернешься — и ляжешь,
И поймешь: не забыть никогда.

Я не помню, о чем мы с тобой говорили,
Да и слов не ищущу — не найду.
Ни о чем не расскажешь... Пахло липой и пылью
В бесприютном вокзальном саду.

Но как будто мне было предсказано это,
Будто были обещаны мне
Кем-то (кем — я не помню...) когда-то и где-то —
Этот вечер, и встреча, пятна зыбкого света,
Беспредельная ночь в вышине...

Будто было когда-то обещано это:
Ненасытные руки твои,
Ветер, запах волос, запах позднего лета,
Скорбный голос, любовною скорбью согретый,
Темный воздух последней любви.

Я НЕ УМРУ

Я не умру. И разве может быть,
Чтоб — без меня — в ликующем пространстве
Земля чертила огненную нить
Бессмысленного, радостного странствия.

Не может быть, чтоб — без меня — земля,
Катясь в мирах, цвела и отцветала,
Чтоб без меня шумели тополя,
Чтоб снег кружился, а меня — не стало!

Не может быть. Я утверждаю: нет.
Я буду жить, тугой, упрямолюбый,
И в страшный час, в опустошенном сне,
Я оттолкну руками крышку гроба.

Я оттолкну и крикну: не хочу!
Мне надо этой радости незрячей!
Мне с милою гулять — плечом к плечу!
Мне надо солнце словом обозначить!..

Нет, в душный ящик вам не уложить
Отвергнувшего тлен, судьбу и сроки.
Я жить хочу, и буду жить и жить,
И в пустоте копить пустые строки.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Исполнятся поставленные сроки —
Мы отлетим беспечною гурьбой
Туда, где счастья трудного уроки
Окажутся младенческой игрой.

Мы пролетим сквозь бездны и созвездья
В обещанный божественный приют

Принять за все достойное возмездье —
За нашу горечь, мужество и блуд.

Но знаю я: не хватит сил у сердца,
Уже не помнящего ни о чем,
Понять, что будет и без нас вертеться
Земной — убогий — драгоценный ком.

Там, в холодке сладчайшего эфира,
Следя за глыбой, тонущей вдали,
Мы обожжемся памятью о сиром,
Тяжеловесном счастье земли.

Мы вдруг поймем: кусок земного хлеба
И пыль земли, невзрачной и рябой,
Дороже нам сияющего неба,
Пустыни серебристо-голубой.

И благородство гордого пейзажа —
Пространств и звезд, горящих как заря,
Нам не заменит яблони, ни даже
Кривого городского фонаря.

И мы попросим набожно и страстно
О древней сладостной животной мгле,
О новой жизни, бедной и прекрасной,
На милой, на мучительной земле.

Мне думается: позови нас, Боже,
За семь небес, в простор блаженный свой,
Мы даже там — прости — вздохнем, быть может,
По той тщете, что мы зовем землей.

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ

Еве Киришнер

Я шел по берегу Тивериады
И в радости, божественно угрюмой

(Как будто сердце радо и не радо) ,
Бродил между камней Капернаума,
Где некогда... Послушай и подумай
В тени, в пыли оливкового сада.

Все тот же голос во вселенском баре,
Бессонный, мировой, неотвратимый,
О половом неуголимом жаре,
И те же (Всеми! За грош!! Неутомимо!!!)
Кинематографические хари
На стенах града — Иерусалима.

Что рассказать тебе про Палестину?
Что помню я? Безлюдную Седжеру,
Оранжевое облако хамсина,
Степенный голос астраханца-гера,
И узкую обиженную спину
Подстреленного мальчика-шомера.

Надменного верблюда над корытом,
Немых пейсатых цадиков из Цфата,
Сухое небо вечности несътой
Над детством мира, гибелью объятим.
И стертые бесчисленные плиты
Безумных мертвецов Иосафата.

И девушку, по имени Юдифь,
Что долго вслед рукой махала смуглой.

Я. Цигельман — писатель, журналист, автор повести "Похороны Мойше Дорфера", посвященной современному Биробиджану и опубликованной в журнале "Сион" (№ 17 за 1977 г.), ряда статей и рецензий в израильской русскоязычной прессе. В Израиле с 1973 г., живет в Иерусалиме.

ИСКУССТВО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН

ЯРМАРКА ИСКУССТВ

С 13 по 20 апреля в Тель-Авивских “Ганей-Атааруха” — Выставочных Садах — проходила вторая Тель-Авивская Международная ярмарка искусств. Это и в самом деле была ярмарка — в ней участвовали 40 израильских и иностранных галерей, продававших здесь и оригинальные работы, и литографии.

В залах “Ганей Атааруха” было представлено около 500 художников, поэтому бессмысленно и невозможно пытаться написать обо всех и обо всем. Каковы же главные впечатления?

Прежде всего бросается в глаза, что на ярмарке почти нет поп-арта, абстрактных работ, оп-арта, “установок”, минимализма — всех тех направлений, которые обычно представляют или еще недавно представляли современный авангардизм. Не стоит торопиться с выводом: в авангардистах ни на Западе, ни в Израиле пока недостатка нет, работы Дани Каравана, Менаше Кадишмана, Майкла Гросса регулярно появляются на крупнейших международных выставках. Быть может, все дело в коммерческом характере ярмарки? Галереи выставляют здесь работы, которые могут быть куплены, а вкусы публики всегда более консервативны, чем вкусы критиков и сотрудников музеев современного искусства. Те, как правило, более всего боятся не оценить новое направление и попасть в ретрограды.

Что же все-таки преобладает? Пожалуй, сюрреализм, фантастический реализм и примитивизм в самых различных проявлениях. В нашу странную эпоху, когда все “уже было”, многие художники все чаще и чаще стараются выдумать или сконструировать свой собственный мир, населенный фантастическими и в то же время старательно выписанными существами. Много оригинальных поисков и просто декоративных работ.

Французская галерея “Консюла дезар” представила десяток картин Бориса Ванзье. Этот художник работает в довольно “классическом” стиле, несколько напоминающем по тематике и цветовой гамме Тулуз-Лотрека. У него такие же обнаженные и полуобнаженные тела, грубоватые позы, резкие телесные тона. Но, в отличие от Тулуз-Лотрека, Ванзье подчеркнуто не эмоционален. Он не стремится передать зрителю свое отношение к изображаемым им людям, он словно стыдится показать это отношение, создавая дистанцию между собой и своим творением. Поэтому его картины, хоть и прекрасно “сделанные”, все же что-то недоговаривают, не сообщают какого-то послания. Впрочем, современные художники редко ставят себе такую задачу...

Интересны работы экстравагантного швейцарца Йорга Шульдхесса. Этот художник провел много лет в экзотических странствиях — Испания, Италия, Израиль, Пакистан, Индия, Судан, Япония, Филиппины, Австралия, Польша, Аргентина, Бразилия. Пройдя через множество религиозных увлечений, Шульдхесс, в конце концов, обратился в иудаизм. Однако в представленных на ярмарке работах пока что чувствуется более сильный интерес к буддизму. Это концептуальные работы, где человек слит с мирозданием; они полны религиозной символики и отличаются изяществом рисунка. И все же меня не покидало чувство недоумения. Серьезно ли это? Действительно ли Шульдхесс погружен в интеллектуальные и религиозные искания или же все это — лишь поиски коммерческого успеха, выбор наиболее модного направления? Ведь буддизм весьма популярен среди западных интеллектуалов, ищущих пути к Богу вне связи с церковью и ее установленным людьми догматизмом. Работы Шульдхесса меня не взволновали так, как волнует обычно эмоционально и интеллектуально насыщенная индийская средневековая живопись и скульптура. Впрочем, по двум-трем работам, конечно, рано судить.

Йоси Розенштейн (галерея "Тальма") — особая фигура в израильском художественном мире. Розенштейн — 28-летний раввин, художник-самоучка. Поскольку еврейская религия запрещает изображать людей, Розенштейн прибегает к особому художественному приему — его люди и животные словно вырезаны из дерева; лица им заменяют прямоугольные бруски. Мертвенные пейзажи с преобладанием холодных голубых и желтых тонов, полуживотные-полувещи и деревянные, хотя и запечатленные во вполне естественных движениях люди создают атмосферу, часто свойственную сюрреалистическим работам, хотя Розенштейн на первый взгляд только "иллюстрирует" библейские события, не привнося в них никаких фантастических элементов.

Но если картины таких сюрреалистов, как Дали, полны непрерывного ужаса перед жизнью, ужаса опустошенного сознания, то работы Розенштейна проникнуты Божественным присутствием, торжеством Божественного акта и одновременно человеческим страхом перед этим актом.

Давид Шарир (галерея "Сафрай") создает геометрические композиции с фигурками людей, диковинными зверями, деревьями и цветами. В его картинах чувствуется влияние примитивистов и знание традиционного еврейского орнаментализма. Это спокойный эстетичный и уравновешенный мир, в котором присутствует неизменная улыбка.

Полны юмора и небольшие офорты французского Ришара Билана (галерея "Гиларт"). Художник полностью отдается своему воображению, создавая причудливый и нежный мир. Тонкий рисунок сочетается с прекрасным чувством цвета. У Билана преобладают различные оттенки голубого, малинового, зеленого.

Из старейших израильских мастеров нельзя не упомянуть Анну Тихо (рисунки углем и пастель, галерея "Энгель"), которая всю жизнь рисует окрестности Иерусалима и пейзажи Иудеи, пустынные каменистые ландшафты, скудную растительность, горы. Издали ее работы кажутся абстрактными,

но вблизи видишь, как точны и страстны эти пейзажи, словно художница постигла душу пустыни.

Анне Тихо — уже за восемьдесят. Но она редкий пример художника, который всю жизнь продолжает развиваться и сейчас находится на вершине своего творчества. Я всегда думаю о том, как счастливы люди, не пережившие своего таланта. Я помню шоковое впечатление, которое произвели на меня в одном из парижских музеев поздние работы Клода Моне. Несколько залов были завешаны огромными полотнами — грязно-зеленой и лиловой кашей прудов, ряски, травы, деревьяев. Гениальный художник, утративший на старости лет талант и чувство вкуса и меры.

На ярмарке уже ощущалось присутствие художников из СССР. Были выставлены работы Нафтали Ракузина (галерея Иерусалимского театра), Мариса Бишофса, Ирены и Яна Райхваргер, Феликса Збарского (галерея "Дельсон-Рихтер") и многих других. Нафтали Ракузин работает тушью. Его офорты и рисунки посвящены Иерусалиму. Он всматривается в город, выхватывая дом, дверь, окно, стремясь передать сложную геометрию линий и игру света^{1/}. Марис Бишофс, известный сейчас как карикатурист "Едиот Ахронот", представил сюрреалистическую композицию, выдержанную в изысканных серых тонах. Ирена Райхваргер прославилась в Израиле своими куклами. Это забавные, трогательные и немного нелепые мужчины и женщины — настоящая Человеческая комедия. В последнее время художница все больше и больше стремится к мягкому гротеску, пожалуй, в духе замечательного французского скульптора Жана Ботеро. С Ботеро ее сближают не только тяга к гротескно преувеличенным и расплывшимся телам и лицам, но прежде всего добрый взгляд, обнимающий любовью обыденное, некрасивое, смешное.

До сих пор мы говорили об искусстве. Однако на ярмарке было много работ, строго говоря, к искусству не относящихся, хотя часто вполне профессиональных и даже приятных глазу. Такие работы на художественном жаргоне называются "китч" (подделка). Типичным "китчем" были, например, работы Копеля-Шварца (галерея "13 1/2"). Он делает сентиментальные картинки, на которых изображены носатые дяди и тети с цветочками, чайниками и гусями. Эти миниатюры написаны маслом на пергаменте, стоят дорого и прекрасно покупаются бруклинскими евреями, приехавшими в Израиль на пасху.

Другой пример профессионального и красивого "китча" — выставленные галереей "Шахаф Яффо" картины художников, работающих "под фотореализм".

Фото-реализм — течение, возникшее в США и несколько лет тому назад проникшее в Европу. Фото-реалисты фотографируют те объекты, которые они хотят изобразить, а затем переносят фотографию на холст, обычно с многократным увеличением. В результате создается интересное столкновение видения фотообъектива (сильно отличного от человеческого глаза) и живописной техники.

Но художники, продающиеся в "Шахаф Яффо", вряд ли были увлечены чисто художественным поиском. Подборка галереи преследует иную

1/ См. статью о Ракузине в № 25 "Время и мы".

цель — усладить богатого и неразборчивого покупателя. Вот картина англичанина Честера Броутона. Молодая обнаженная женщина, повернутая лицом к зрителю, поливает себя из душа, но вместо головки душа к шлангу прикреплен белый цветок, из которого и льется вода. На заднем плане — фиолетовые полосы интерьера и листья фикусов. Первое впечатление от картины — приятное, естественное удовольствие от вида красивого женского тела. Но чем больше всматриваешься — тем больше отталкивают мещанство этого полотна, его дешевая красивость. Достойное место для такой картины — в спальне у богатого подрядчика.

Если ярмарка не изобиловала большим количеством хороших подлинников, то на ней зато были представлены отличные литографии, гравюры, репродукции на шелке и других материалах, художественные постеры. На производстве и продаже репродукций специализируются сейчас многие издательства и галереи.

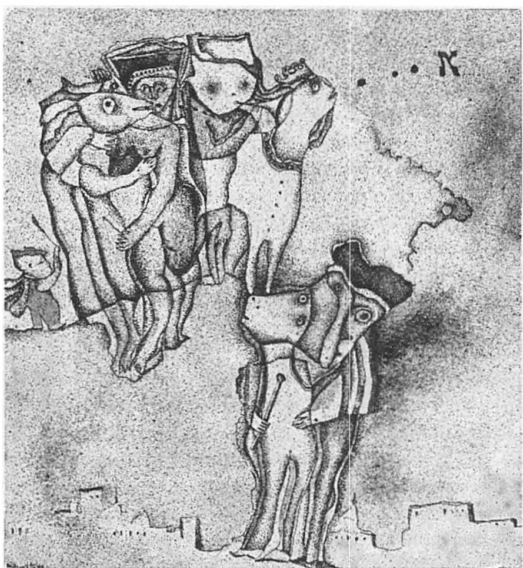
Особенно поражает своим размахом и качеством деятельность венского издательства "Евро-арт". Издательство провозгласило лозунг: "Искусство должно стать не капиталовложением, а удовольствием. Работы "Евро-арт" следует покупать, как книги, пластинки, цветы — для радости". "Евро-арт" выпускает ограниченным тиражом превосходно напечатанные работы Вазарели, Дюфи, Ники де Сен-фаль, Дали и т. д. Издательство наладило также технически совершенную отливку (малым тиражом) бронзовых статуэток. В продаже скульптуры Гогена, Эрнста Фукса (создатель Венской школы фантастического реализма), Дани Каравана и других.

Техника действительно приводит к демократизации искусства. Подлинникам больших мастеров лучше всего висеть в музеях; зато любой человек может теперь себе позволить купить прекрасно выполненные копии, которые неспециалист не отличит от оригинала. Поскольку тиражи таких репродукций невелики (две-три тысячи экземпляров) и распространяются они по всему миру, то нет никакой опасности, что они будут висеть чуть ли не в каждом доме, как незабвенные "Шоколадницы" или "Аленушки".

Естественным завершением ярмарки была международная экспозиция художественных постеров, на которой особенно выделялись рекламные плакаты выставок офортов Джеймса Энсора, графики Макса Эрнста, а также работ известного писателя и художника Генри Миллера, который, кстати, был представлен на ярмарке двумя американскими галереями.

И еще одна деталь. На стенде миланской галереи "Ченобио Визуалита" я вдруг увидела маленькую книжку стихов Маяковского, изданную в России в начале 20-х годов. Оказалось, что галерея воспроизвела оригинальное издание, иллюстрированное Эль-Лисицким. Стенд с Маяковским выразительно соседствовал с приплясывающими евреями Копеля-Шварца и одухотворенным миром Йоси Розенштейна в рамках своеобразного плюрализма, столь характерного для израильского общества.

Г. Келлерман — искусствовед, журналист; ряд ее статей опубликован в журнале "Время и мы" и др. изданиях. Живет в Иерусалиме.



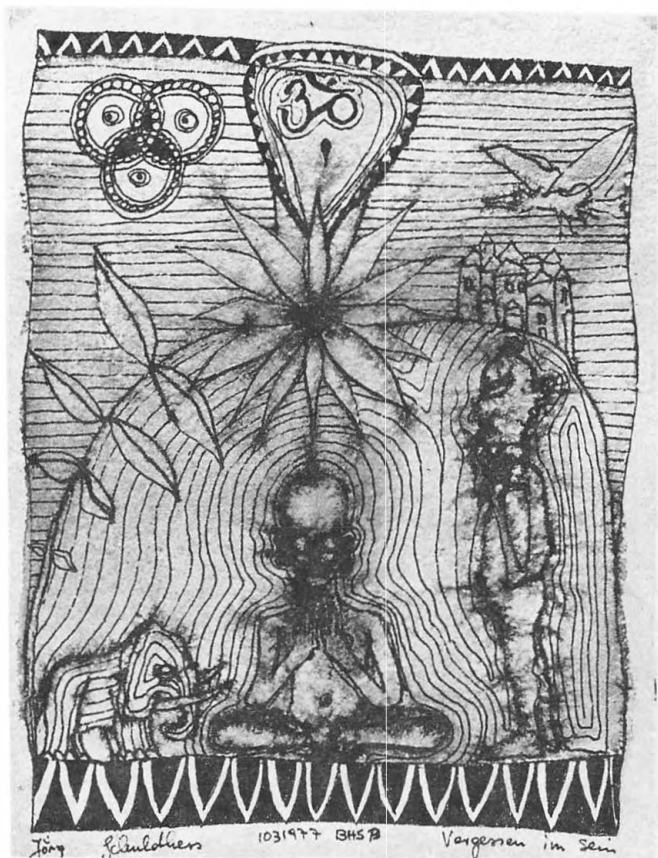
Ричард Билан. Л... любовь.



Борис Ванзь. Клетка. 100x100 см. Масло. 1977



Йоси Розенштейн. Исход. 30x21 см. (литография)



Йорг Шульдхесс. Рыба плачет на слонов. 24,7х23,8 см.



Честер Броутон. Гидрофил. 95x122, холст, масло.

СРЕДИ КНИГ

О ПОКОЛЕНИИ ПАЛЬМАХА

О чем же все-таки должен писать писатель — о производственных или о человеческих отношениях? Вопрос этот давно уже не существует, но вот "Библиотека Алия" вновь хочет заставить нас его обсуждать, издавая книгу Моше Шамира*. Роман написан еще в 1947 году, когда будущие зачинатели израильской литературы горячо отзывались на все, что происходило в "самой передовой стране мира", а в советской литературе в те времена пышно расцветал производственный роман, который всерьез обсуждал влияние поломанной тракторной шестеренки на судьбу молодых супругов. Писатели из лево-социалистического "Хашомер Хацаир" (к которому очень рано примкнул Шамир), кибуцники (а Шамир — с 1941 по 1947 год был членом кибуца), члены Пальмаха (Шамир вступил в Пальмах в 1947-м) подражали писателям страны "уже победившего" социализма и, можно предположить, описывали в своих повестях, романах и рассказах производственные проблемы кибуцов на манер колхозно-фабричных романов Ольги Зив и Семена Бабаевского. Тем более, что им это казалось осуществлением поэтически-сионистско-социалистического завета: вспахав землю, они садились и описывали, как именно они пахали. Многим удавалось отлично.

У некоторых все же не получалось: они все сбивались рассказать про любовь, про природу, про то, что людям иногда нелегко живется даже при построении социализма в одной отдельно взятой обетованной стране. К числу таких неудачников относится и Моше Шамир.

В его романе самыми важными оказываются не производственно-кибуцные проблемы, а человеческие ситуации: любовный треугольник, сложности первого чувства, человек и природа, человек и общество. Моше Шамир — благодаря своему таланту — не в состоянии остановиться только на проблемах зяблевой вспашки (как же ему все же посчастливилось, что он не писал о стране победившего социализма!). Его интересует психология героев, их суть; поэтому неизбежные производственные дела присутствуют в романе постольку, поскольку герои вынуждены этими делами заниматься. Но лишь для поддержания существования, не предполагая в них смысл жизни.

Безусловно, Шамир не был бы лево-социалистическим писателем (тогда!), если бы не ставил таких проблем, как взаимоотношения интеллигента и общества — с последующим осуждением интеллигента-индивидуалиста (в лучших традициях литературы-образца), не осуждал бы уход из кибуца (на манер осуждения бегства из колхозов). Но у него нет постылой советской необходимости скрывать от читателя ту правду о жизни, которую он

Моше Шамир. Он шел по полям. "Библиотека Алия", 1977.

знает, поэтому авторские обсуждения и осуждения вполне можно отбросить — как архаизм и скучную дань социалистической идеологии.

Моше Шамир — писатель из первого поколения писателей, сабров, которые захлебывались от восторга по поводу самих себя: первыми на вновь обретенной земле, первыми в возрожденном государстве они описывали красоту родины и всматривались в своих соотечественников. Понуждаемые идеологией, они хотели видеть в них только героев; но глаза самых талантливых из них видели правду, которая не всегда соответствует жанру героического эпоса.

Шамир рассказывает о земледельце-солдате Ури, любит его молодой силой, ловкостью, восхищенно называет его горным козлом. Ситуации, в которых Ури оказывается, весьма серьезны, сам же он весьма инфантилен, даже для своего возраста. Может быть, поэтому он и погибает нелепой смертью — от чужого неосторожного обращения с гранатой. Рядом с Ури — девушка из галута Мика, которая не может смириться с жизнью в киббце, не хочет быть ни винтиком в машине, ни мотыгой на поле; в ней больше человечности и обыкновенного человеческого противостояния жизни, чем в Ури, воспитанном в соответствии с догмами и уставами киббучно-социалистического общежития.

Рутка, жена Вилли Кахана, любит Авраама Горена. Все трое — симпатичные автору люди. Симпатичны они и читателю — не силой (хотя все трое сильны), а слабостями, тем, что и делает их живыми.

Герои романа много спорят: друг с другом, иногда — с собой; они сражаются с природой, с врагами; они строят основы будущего государства. Иногда их споры плоски, иногда интересны. Но и в том, и в другом случае любопытно и поучительно узнать, о чем думали и спорили в те времена.

Строгое, порой жестокое, почти спартанское отношение героев к долгу тоже небезынтересно, хотя нас, воспитанных на образах “железных комиссаров”, этим не удивишь. Все же это позволяет что-то понять в нынешних сорока-пятидесятилетних сабрах, которым когда-то пытались такое отношение к долгу привить.

Трогательны пейзажи Палестины. О том, что писатели Пальмаха культивировали любовь к Стране, много говорилось. Увидеть Израиль глазами влюбленного в него сабры — удивительно интересно.

И все же... После романа “Он шел по полям” Моше Шамир написал еще несколько романов, повестей, рассказов, пьес. Не следовало ли “Библиотеке Алия” перевести и опубликовать какое-нибудь другое, более зрелое произведение этого талантливого писателя? Такое, которое знакомило бы читателя не с первыми робкими шагами современной израильской литературы, а с ее сегодняшними лучшими образцами? А знакомство с историей предоставить произведениям соответствующего жанра? Уже не в первый раз “Библиотека Алия” представляет русскоязычному читателю современную израильскую литературу книгами слабыми или незрелыми, хотя, несомненно, написанными с благороднейшими намерениями. А между тем эта литература куда как глубже, сложнее, талантливее и ярче, чем “Они были первыми” Э. Смоли или “Они шли по полям” начинающего Моше Шамира...

Я. Ашкенази

ХОРОШАЯ ЛИТЕРАТУРА

...Йонес Рабинович поздно вставал, проводил дни на море, вечерами бражничал в писательском ресторанчике, коротал ночи со случайными возлюбленными. Тратил деньги, получаемые за работу, которую не выполнял. Вышвырнул из своей жизни кроткую, любящую женщину, потому что ему показалось, будто без нее ему будет лучше. Одним словом, начинающий писатель Йонес Рабинович жил небрежно, кое-как... Известно, что так жить легче и проще, чем жить хорошо: добросовестно делать свое дело, заслуженно получать за него вознаграждение, смирять свои порывы, если от них кому-нибудь горе, справляется со своими настроениями...

Образ жизни молодого героя романа и название романа "За счет покойного" ориентируют первое читательское восприятие на привычно-простой лад: "Да, были люди в наше время"... Тем более, что изображение литературно-художественной среды дается в традиционно-неуважительной манере; тем более, что образу молодого столичного "тунеядца" противопоставляется богатырь — действительно, богатырь! — предыдущих десятилетий, самоотверженно взваливавший себе на плечи самые трудные дела и заботы своего поколения.

А принять это однозначное решение невозможно — даже несмотря на лишнюю рисовку беспощадности в саморазоблачениях героя. Прежде всего возникает прочное ощущение того, что Йонес действительно живет хоть и безответственно, но — не безмятежно, не легко и не спокойно. И дело не в угрозе разорения и позора: издательство, заключившее с ним договор и аккуртно платившее ему, возбудило судебное дело, потому что он нарушил договор и не представил книгу. Йонес очень спокойно относится к грядущим финансовым и бытовым бедам. Измучен он другим — отсутствием контакта со своим героем, тем самым, о жизни и подвигах которого согласился написать книгу.

В создании Йонеса происходит наслоение, смешение самых противоречивых чувств к Абраму Давидову. Зависимость от него — сложная, морального характера зависимость, — вызывает ненависть. Ощущение человеческого, гражданского превосходства Давидова — злостью. Реальное представление о его тяжелом, не всегда благодарном труде, о поэтичности его натуры, о его бедах и горестях, — порождает любовь, преклонение, почти сыновнюю, почтительную нежность. Возможно, если бы Йонес был способен к компромиссу, если бы мог относиться к сверстнику более служебно, он справился бы с этим наваждением, отсекал бы ненужное, сгустил бы то, что хорошо укладывается в жанровую ткань, и все было бы довольны. Но он был настоящим художником, а в таких случаях навязывание героя извне — противопоказано.

"Да, я продал душу свою праведнику! Я не был больше свободен, я оказался в кабале. Я не мог отогнать от себя эту тень, тень Давидова, кото-

Ахарон Мегед, "За счет покойного", Библиотека "Алия", 1977.

рая цеплялась за мои пятки, куда бы я ни шел, становилась все длиннее и длиннее, не имея ни малейшего сходства с моими очертаниями” /229/.

Опытный и талантливый прозаик, Ахарон Мегед ведет себя с читателем хитро. Он представляет нам героя в каком-нибудь определенном (весьма определенном!) облике, а потом вынуждает нас делать собственные умозаключения, протестовать против того смысла образа, который был нам предложен, выносить свои собственные суждения и оправдания.

И чем ближе мы знакомимся с Йонесом, чем откровеннее он несогласен как автор романа о герое прошлых лет, тем больше сочувствия и уважения вызывают у нас его неудачи. Мы начинаем иначе смотреть и на другие его прегрешения. Да, он приносил горе и себе, и близким и рассказывает об этом откровенно; но эта откровенность и подлинная артистичность натуры Йонеса так располагают нас, что мы стремимся найти — если не оправдание, то хоть объяснение его жестокости.

И его бражничество, писательский “подвальчик”... Ведь это только со стороны кажется, что писатели, художники и артисты все свое время проводят в пустой болтовне и надменном остроловии. Почему-то редко кому приходит в голову, что писателям, как и всем другим труженикам, необходимо свое профессиональное общение, и, по существу, оно-то и происходит в том самом “подвальчике”, который поначалу представлен нам чуть ли не вертепом, хотя на самом деле ничего такого страшного в нем не случается. Обсуждаются новые книги, завязываются знакомства, иногда устраиваются забавные экзамены на знание литературы. Пьют? Да, пьют. Но все же так, что дело разумеют.

Роман А. Мегеда сложен по структуре и вместе с тем очень целен и гармоничен. В нем органично переплетаются различные временные напластования; действующие лица, эпизодические и проходящие сквозь все действие, противостоят друг другу и друг друга дополняют. Все это — сложно и многообразно как в жизни, отобрано и спрессовано — как в хорошей литературе.

М. Блинкова

СОВЕТСКИЕ ЕВРЕИ – В ИЗРАИЛЕ И НА ЗАПАДЕ

Когда-то Эфраим Севелла был известным активистом еврейского движения в СССР; в 1971 г. он участвовал в организации голодовки 24 евреев в Приемной Верховного Совета, добивавшихся виз в Израиль. Несколько месяцев спустя участники голодовки — и тысячи других — были выпущены на Запад. Прибыв в Иерусалим, Севелла возобновил свои занятия литературой. Его сборник гротескных рассказов о еврейской жизни в Литве (“Легенды Инвалидной улицы”) был опубликован по-английски три года назад; его роман “Правда только для посторонних” появился в 1976 г.

Его личная преданность делу советского еврейства делает еще более

Е. Севелла — Прощай, Израиль. “Гэйтуэй эдишенз”, 1977.

необходимым понять, какие сложные чувства скрываются за его последней и тревожно злой книгой "Прощай, Израиль". Она не представляет собой ни образец чистой прозы, ни сборник воспоминаний, ни рассказ о личных впечатлениях. Как ни странно, Севелла очень мало говорит об опыте собственной жизни в Израиле. Вместо этого он использует историйки собственного изготовления с целью убедить читателя, что советские евреи серьезно ошибались в оценке израильской действительности; тот факт, что такая ошибка могла произойти, является для него доказательством абсолютного краха всей затеи с еврейским государством.

Книга Севеллы изобилует резкими преувеличениями, неточностями и тенденциозно подобранными аргументами. В своей сердцевине, однако, она содержит правду: некоторые советские евреи разочаровались в Израиле. Для некоторых встреча с Израилем означала потрясение и разочарование, быть может, даже большие, чем для тех пионеров, которые отправились в Палестину на заре нашего столетия. Жизнь в Палестине никогда не была легкой, о чем свидетельствует количество покинувших страну, — включая, разумеется, и самих сабр. Но советские евреи оказались в еще более неблагоприятных условиях. Они почти ничего не знали о самой стране, ее экономической и политической системе, не знали ее языка и культуры. С другой стороны, — что, возможно, еще хуже, — некоторые аспекты израильской жизни могли показаться им, наоборот, слишком знакомыми, в особенности — сложная бюрократическая система и (до недавнего времени) господство политических партий, именующих себя "социалистическими".

Севелла рассказывает о тех иллюзиях, которые были у него и ему подобных в СССР. "Мы изобрели свой собственный Израиль, — заявляет он. — Он был воплощением всех тех надежд, которые оставались неосуществленными в СССР". Как вспоминает Севелла, движение за иммиграцию в Израиль "родилось как протест и отрицание советского образа жизни". Он утверждает, что большинство советских евреев стремились в Израиль не потому, что хотели жить как евреи, а скорее, потому, что хотели избавиться от национальной дискриминации, которая накладывалась на общую систему ограничений, присущую советскому строю.

К сожалению, многие западные евреи, равно как и израильское правительство, неправильно истолковали мотивы иммиграции своих советских собратьев, в особенности — советских еврейских профессионалов. Были допущены ошибки в методах абсорбции. Русские евреи, прибывшие из страны, где профессия является единственным источником духовного удовлетворения, не могли воспринять особенности трудовой системы Запада — например, тот факт, что вовсе не обязательно работать всю жизнь на одном месте. Зачастую им было трудно найти работу по профессии, и бывало так, что равнодушные бюрократы направляли их на места, не отвечавшие их квалификации. Кроме того, многие советские иммигранты, в том числе и сам Севелла, продолжают сохранять особенности мышления, характерные для советского воспитания: убеждение, что медицинская помощь, образование и работа, должны полностью обеспечиваться государством; недоверие к децентрализованной политической жизни Запада; отсутствие терпимости к людям с иными мнениями или иного культурного (религиозного) типа, отступающего от принятого стандарта.

Севелла, однако, не ограничивается констатацией трудностей привыкания к западному — и, в частности, к израильскому — образу жизни, и идет дальше, обвиняя еврейское государство в полной анархии и коррупции. "Нигде нет столь благоприятной атмосферы для мошенничества, как в Израиле", — говорит он. Бесчисленное множество партий, зависимость от зарубежных пожертвований, большое число автомобильных катастроф — все это, по его мнению, свидетельствует об обреченности израильской демократии. Израиль, не став "ферментом обновления еврейского народа", превратился в "фактор, ускоряющий процесс его дэзинтеграции". Сефардским общинам было бы лучше оставаться в своих Ираках и Сириях. "Израиль обречен, — заключает Севелла, — и он вряд ли просуществует больше, чем одно десятилетие".

В одном месте Севелла доходит до того, что заявляет: "Многие годы Израиль управлялся не правительством, а кучкой людей из Тель-Авива, таинственной и всемогущей организацией Гуш. Члены этой организации тасовали карты политической колоды, железной рукой назначали и сменяли министров, манипулировали "демократическим голосованием" в Кнессете". Эти нелепые обвинения напоминают то, что говорилось в сталинские времена о таинственной еврейской организации Джойнт, которая в сговоре с мировым империализмом стремится свергнуть советскую власть. И действительно, весь стиль обвинений Севеллы очень похож на стиль антисионистской кампании газеты "Правда" с ее придуманными "случаями из жизни", громоподобной риторикой и демагогической односторонностью, присущей людям, которые сами себя убедили в том, что только они знают Истину.

Трудно сказать, что так огорчило самого Севеллу. Хотя его книга "разоблачает" Израиль, в ней много нелюбви к Советскому Союзу и много печали там, где говорится о еврейском народе, который "никто не любит". Нет ничего удивительного в том, что советские люди испытывают потрясение, столкнувшись с западным образом жизни. История их мучительных поисков должна быть рассказана и услышана. Но как показывает книга Севеллы, сами они менее всего подготовлены к тому, чтобы рассказать об этом.

Д. Рубинштейн

ПИСЬМА

Уважаемый господин редактор!

Некоторое время назад в газете "Наша страна" была опубликована странная статья поэта Бориса Камянова, осуждающая книгу Эфраима Севелы "Остановите самолет — я слезу!". Мне кажется, что Борис Камянов обиделся на писателя за наше еврейское государство, которое выглядит в книге Севелы таким же непривлекательным, как Америка и Россия.

Мне понятно чувство поэта, его любовь к нашей родине и гордость за нее, но, я думаю, Эфраим Севела вовсе не дал повода для обиды.

Тысячи русских евреев сидят на чемоданах. Мечутся между Россией, Америкой и Израилем. Ищут лучшей жизни. Перед ними извечный вопрос: где она, лучшая жизнь? Это не такой уж праздный вопрос. Есть ли в мире та обетованная страна, где текут молочные реки в кисельных берегах?

Если бы Бог создал всех евреев одинаковыми, как спички, тогда еще можно было бы сказать, где каждый еврей может найти свое счастье. Но еврейский народ дал миру и Спинозу и Беню Крика, и Эйнштейна и начальника Беломорско-Балтийских лагерей НКВД Раппопорта, и Рудольфа Баршая и парикмахера Московского союза писателей Аркадия Рубинчика. Вряд ли представление о счастье Рудольфа Баршая и Аркадия Рубинчика совпадают. Если Рудольф Баршай нашел свое место в Израиле, то Аркадий Рубинчик здесь его не нашел. И я не знаю, можно ли его за это осудить. Скорее, можно пожалеть.

Герой сатирического повествования Эфраима Севелы парикмахер Рубинчик принадлежит к хорошо известному типу — искателя счастья. Но это уже не тот трогательный и забавный шолом-алеихемский искатель счастья из черты оседлости. Это московский еврей, лишенный всяких национальных корней, болтливый и развязный обыватель, атеист и циник, у которого нет ничего святого. Он предприимчив, изворотлив, нагл, не глуп — эдакий обрезанный Остап Бендер.

Малопривлекательного героя выбрал для своей книги Эфраим Севела, нечего и говорить. Но разве о героях и пророках писали Гоголь, Зоценко, Стерн?

Эфраим Севела, на мой взгляд, талантливый сатирик. Быть может, лучший сатирик, пишущий сейчас на русском языке. Он обладает, по справедливому отзыву известного американского писателя Ирвина Шоу, "поразительным даром высекать искры юмора из самых страшных и трагических событий".

Высокая литературная сатира, в отличие от фельетонного юмора, всегда имеет дело с трагическим. И в большинстве случаев использует отрицательных героев. Вспомним гоголевского "Ревизора", в котором нет ни одного положительного героя, но есть потрясающая трагедия русской действительности. Или героев Зоценко, убедительнейших свидетелей главного итога

революции семнадцатого года — победы и торжества самодовольного и невежественного обывателя.

Малосимпатичный герой Эфраима Севелы, этот наглый и развязный болтун, рассуждающий обо всем на свете, оказался весьма удачной, на мой взгляд, фигурой, чтобы показать трагедию той, немалой части русского еврейства, которая не сумела сделать выбор: куда ехать.

И Россия, и Америка, и Израиль изображены автором такими, какими их увидел Аркадий Рубинчик. А если он увидел и у нас немало плохого, так тем хуже для нас. Что же на это обижаться? Борис Камянов обижается, почему Аркадий Рубинчик не увидел у нас ничего хорошего. Да по той причине, что он ничего не понял — ни что такое Израиль, ни что такое евреи, ни что такое он сам, московский еврей Аркадий Рубинчик. И, ничего не поняв, он решил возвратиться обратно в Россию.

Напрасно Борис Камянов обвиняет писателя в том, что он “не поднялся” над своим героем. Писатель сурово осудил Аркадия Рубинчика. Он привел его прямо в папы КГБ. Не зря же длинный монолог Рубинчика, составляющий всю книгу, заканчивается трагическим воплем: “Сделайте мне одолжение... Остановите самолет — я слезу”.

Борис Камянов опасается, что читатель не поймет, как относится писатель к своему герою. Однако, настоящая литература никогда не является манной кашей для беззубого читателя. Серьезный писатель всегда уважает своего читателя и предполагает, что читатель сам, без авторской подсказки, определит, чем отличается, скажем, Смердяков от Алеши Карамазова.

Кстати, Севела и прямо высмеивает Аркадия Рубинчика. Эпиграфом к книге стоит брачное объявление: “Красивая, 23 года, говорит немножко на русском, грузинском и иврите, хочет познакомиться с подходящим молодым человеком — тугоухим или глухонемым, с целью замужества”.

Не в этом ли эпиграфе все отношение писателя к своему тугоухому и глухонемому, хотя и болтливому, герою?

Но дело, в конце концов, вовсе не в том, “отмежевался” ли автор от своего героя или нет. Значение этой талантливой книги Севелы, на мой взгляд, состоит в том, что, мастерски пользуясь средствами сатиры, писатель создал блестящую по форме книгу, посвященную трагедии ассимилированного русского еврейства, мечущегося по миру в поисках своего счастья.

ДАВИД ДАР

Д. Дар (р. 1910 г.) — известный писатель, руководитель литературного объединения молодых ленинградских неофициальных прозаиков и поэтов; автор ряда книг, опубликованных в СССР и на Западе. В Израиле с 1977 г. Живет в Иерусалиме.

TWENTY TWO

("Moscow-Jerusalem")

Journal of Jewish intellegentia from USSR in Israel

N 2 ("Bet")

June 1978

CONTENT

PROSE-POETRY:

Isaac Gindis. Chronicle of Chernopol (short novel)	3
Vladimir Glosman. Poetry	97
Marina Bergelson. Poetry.	100

DOCUMENTARY PROSE:

Aharon Amir. The Sword and the Violin (short novel)	103
---	-----

FOR AND AGAINST:

Hillel Halkin. Letters to an American Jewish Friend	126
Where Is Our Promised Land:	
Maya Kaganskaya. Returning to Myself	138
Nina Voronel. Everyone Has His Own Home.	148
Alexander Poliakov. World Without "Centre".	157

ISRAEL TODAY:

Avraham B. Jehoshua. On Israeli Left in a Raining Day	166
---	-----

RUSSIA AND JEWRY:

Victor Boguslavsky. Fathers and Children of Russia	
Aliyah	175
Alexander Voronel. The Future of Russian Aliyah	182

NATIONAL MOVEMENTS AND THE WORLD:

Valentin Turchin. On the Religious Character of Russian	
Dissidents	194
Vladimir Lazaris. An Ironical Song	198

THE FATE OF IDEAS:

Michael Agursky. The Suicide of Luis Mersjer Vega	209
---	-----

CONTEMPORARIES FROM YESTERDAY:

Yacob Zigelman. Shalom, Dovid Knut	219
--	-----

ART AND REALITY:

Galina Kellerman. The Artfair in Tel-Aviv	238
---	-----

AMONG THE BOOKS:

(on books of M. Shamir, A. Megged and E. Sevela)	247
--	-----

LETTERS:

David Dar. On the book of E. Sevela and an article of	
B. Kamjanov.	253

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
(август 1978) :

М. Шавельсон. Одиннадцатая заповедь. — Сатирический роман американского писателя. О том, как в Израиле нашли нефть и одиннадцатую заповедь Моисея и что из этого вышло.

А. Амир. Меч и скрипка (повесть, окончание). — Воспоминания известного израильского писателя и журналиста о людях и делах организации "Борцов за свободу Израиля" (Лехи)

В. Маркман. На краю географии (повесть). — Осужденный за сионистскую деятельность, В. Маркман был брошен советскими властями в уголовный лагерь особого режима. Правдиво и без дешевой "блатной романтики" он рассказывает о "жестоких обезьянах" в человеческом облике, населяющих советские уголовные лагеря.

Стихи Л. Аронсона, М. Генделева, Л. Владимировой, Г. Саггира, Р. Шервина.

Материалы симпозиума: "Современный советский антисемитизм. причины и перспективы"

Статья **И. Наделя (Орена)** "Праотец Авраам любит меня"

Статьи **И. Наделя (Орена)** "Праотец Авраам любит меня" и **З. Абрамова** "Избранничество и государственность", посвященные взаимоотношениям религии и общества в Израиле.

Интервью с украинским "сепаратистом" **Леонидом Плющом** "Украинский сепаратизм и марксизм".

"Израиль сегодня" — газета в журнале, редактор-составитель **Л. Словина** и другие материалы

Подписывайтесь на журнал
"ДВАДЦАТЬ ДВА" ("Москва-Иерусалим")

Фамилия	Прошу подписать меня на журнал "22" ("Москва-Иерусалим") на 1978 год.	
Имя	Чек на сумму 200 (двести) изр. лир номер банка.	
Адрес	прилагаю.	
Город	Дата	Подпись
Страна		

(Отрезной купон посылать по адресу: "22", п/я 23121, Тель-Авив, Израиль. Для подписчиков за границей подписная цена (с доставкой) — 24 доллара).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
д-р Рафаил Нудельман

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Богуславский, А. Воронель, И. Гольденберг,
Р. Нудельман (гл. редактор), Н. Рубинштейн,
Я. Цигельман (отв. секретарь).

Ответственный за выпуск:
Э. Сотникова

Корректор:
С. Бар-Ор

Оформление:
В. Богуславский

Адрес редакции:
п/я 23121, Тель-Авив

Издание
общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим"
под покровительством Израильского комитета ученых при
Общественном совете солидарности с евреями СССР.

Все права на опубликованные в журнале материалы сохраняют-
ся за фондом "Москва-Иерусалим" за исключением специаль-
но оговоренных случаев

Типография:
"Кахоль-Лаван", ул. Лаван, 30, Тель-Авив

"Москва Иерусалим"
1978

